

ЧИСТОТА

ЭНДРЮ МИЛЛЕР

ОТ АВТОРА «КИСЛОРОДА» И «ЖАЖДЫ БОЛИ».
КНИГА, КОТОРУЮ СРАВНИВАЮТ
С «ПАРФЮМЕРОМ» ПАТРИКА ЗЮСКИНДА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Чистота
Эндрю Д. Миллер

Аннотация
Эндрю Миллер. Чистота
Часть первая
  Глава 1
  Глава 2
  Глава 3
  Глава 4
  Глава 5
  Глава 6
  Глава 7
  Глава 8
  Глава 9
  Глава 10
  Глава 11
  Глава 12
  Глава 13
Часть вторая
  Глава 1
  Глава 2
  Глава 3
  Глава 4
  Глава 5

Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Часть третья
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Часть четвертая
Глава 1

Глава 2
Глава 3
От автора

Аннотация

Париж, 1786 год. Страна накануне революции. Воздух словно наэлектризован. Но в районе кладбища Невинных совсем иная атмосфера – тлена, разложения, гниения. Кладбище размывается подземными водами, нечистоты оказываются в подвалах жилых домов. Кажется, даже одежда и еда пропитаны трупным запахом, от которого невозможно избавиться. Жан-Батист Баратт получает задание от самого министра – очистить кладбище, перезахоронив останки тех, кто нашел на нем последний приют.

Баратт – инженер, но его учили строить мосты, а не раскапывать могилы. Однако он соглашается, потому что уверен, что миссия его – благородная: он поможет парижанам избавиться от скверны. Однако многие считают, что тревожить покой умерших – грех и Баратту придется за этот грех ответить.

Эндрю Миллер
Чистота

Памяти моего отца доктора Кита Миллера и моих друзей Патрика Уоррена и Джорджа Лаклана Брауна

Andrew Miller
Pure
Copyright © by Andrew Miller 2011
© Жутовская Н., перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

Часть первая

Придет время, когда солнце будет светить лишь на свободных людей, у коих нет иного хозяина, кроме собственного разума.

Маркиз де Кондорсе

Глава 1

Молодой человек, впрочем, не *очень* молодой, сидит в приемной где-то в Версальском дворце — в одном из крыльев. Он ждет. И ждет уже давно.

Камин в комнате не горит, хотя уже третья неделя октября и холодно, как в Сретение Господне. Ноги и спина закоченели от холода и трехдневного путешествия в такую погоду — сначала с кузеном Андре из Белема в Ножан, а затем в почтовой карете, забитой простолюдинами в зимних одеждах, с корзинами на коленях и тюками под ногами. Некоторые ехали с собаками, а один старик — с петухом за пазухой. Тридцать часов до Парижа, а точнее, до Рю-оз-Ур, где путешественники выбрались из кареты на булыжную мостовую, в конский навоз, и топтались у кучерской конторы, разминая затекшие ноги. Потом, уже сегодня, с утра пораньше, выйдя из комнаты, снятой на улице — как бишь ее? — и взгромоздившись на нанятую клячу, он отправился в Версаль. Этот день может стать самым важным днем в его жизни, но может и обернуться ничем.

Молодой человек в приемной не один. Напротив в узком кресле сидит человек лет сорока

— сюртук застегнут до подбородка, глаза закрыты, руки сложены на коленях, а на пальце большой, с виду старинный, перстень. Время от времени мужчина вздыхает, но более не издает ни звука.

Позади этого дремлющего человека, а также по обеим сторонам от него, вверх от самого паркета до покрытой паутиной потолочной лепки поднимаются зеркала. Их во дворце множество. Должно быть, живя здесь, невозможно не встретиться с самим собою раз сто на дню, ибо каждый здешний коридор — источник тщеславия и беспокойства. Зеркала впереди с затуманенной от пыли поверхностью (чей-то праздный палец набросал на одном округлый мужской член и рядом цветок, похожий на розу) источают зеленоватый свет, словно все здание утонуло, погрузившись в морскую пучину. Там, среди обломков кораблекрушения, — его собственная фигура в коричневом платье и лицо в рябом стекле, едва намеченное и лишенное черт и выражения. Бледный овал над согнутым телом в коричневом кафтане. Кафтан — подарок отца, скроенный самим Гонто, которого люди зовут искуснейшим портным в Белеме, хотя, по правде говоря, это единственный портной в городе. Белем — место, где добротный кафтан передается от отца к сыну

вместе с прочими ценными вещами: медной грелкой для постели, плугом, бороной и хомутом. Кафтан немного тесен в плечах, немного широк в подоле, немного тяжел в обшлагах, но сшит на совесть и по хорошему фасону.

Молодой человек трет себя по бедрам, коленям, потом тянется к лодыжке, чтобы почистить левый чулок. Он очень старался не запачкать чулки, но вышел из дому засветло, петлял по незнакомым улицам, да и фонари в такой час еще не горели, так что кто знает, куда он мог ступить. Краем большого пальца он скребет по ткани. Грязь? Будем надеяться. Лучше палец не нюхать и не знать, каково ее происхождение.

Появляется маленький песик. Коготки легонько цокают по паркету. Песик кидает на него быстрый взгляд больших полузакрытых глаз, потом подходит к вазе, высокой золоченой амфоре, выставленной или забытой в одном из зеркальных углов. Обнюхивает, поднимает заднюю лапку. Чей-то голос — кажется, пожилой женщины — ласково зовет собаку из коридора. Мимо открытой двери мелькает тень, шелест скользящих по полу шелковых юбок похож на шум неожиданно начавшегося дождя. Собака бросается за женщиной, а ручеек змейкой сте-

кает с вазы к пяткам спящего. Молодой человек наблюдает, как ручеек прокладывает себе путь по неровной поверхности паркета, даже собачья струйка подчиняется неизменным физическим законам…

Он все еще следит за струйкой (в этот день, который может стать самым важным днем в его жизни, а может обернуться и ничем), когда со щелчком, похожим на треск сломанного сургуча, которым запечатывают заразные дома, открывается дверь министерского кабинета. Слуга или секретарь, угловатый и желтоглазый, делает ему знак, слегка подняв подбородок. Молодой человек встает. Тот, что постарше, уже открыл глаза. Они не перемолвились ни словом, не знают имен друг друга, просто в одно октябрьское утро провели вместе три часа в промозглой приемной. Человек постарше улыбается. Это самое отстраненное и самое утонченное выражение лица на свете, улыбка, подобная прекрасному цветку обширного и бесполезного опыта. Молодой человек кланяется тому, другому, и быстро проскальзывает в полуоткрытую дверь кабинета, опасаясь, что та может вновь захлопнуться перед ним неожиданно и навсегда.

Глава 2

— Святой Августин, — говорит министр, держа двумя пальцами недоеденное миндальное печенье, — утверждает, что почести, оказываемые мертвым, предназначаются главным образом для успокоения живых. Важна лишь молитва. А где именно погребено тело, вовсе не существенно.

Он вновь принимается за печенье, макает его в рюмку с белым вином, обсасывает. Несколько крошек падает на стопки бумаг на огромном письменном столе. Слуга, стоящий за креслом своего господина, по-хозяйски глядит на крошки, но не пытается их убрать.

— Он был африканцем, — говорит министр, — наш святой Августин. Должно быть, видел львов и слонов. А вы видели слона?

— Нет, милорд.

— Здесь есть один. Где-то. Большой печальный зверь, питается бургундским. Подарок сиамского короля. Когда его привезли, еще при дедушке Его Величества, все дворцовые собаки целый месяц прятались. Потом привыкли, начали на него лаять, кидаться. Если бы слона не убрали от них, они бы его насмерть затравили. Пятидесяти

собак хватило бы.

Он смотрит через стол на молодого человека, на мгновение замолкает, будто слон и собаки — персонажи некоей притчи.

— Так о чем бишь я? — спрашивает он.

— О святом Августине, — подсказывает молодой человек.

Министр кивает.

— Хоронить в церкви начали в Средневековье, дабы усопший был ближе к святым мощам, конечно. Когда же в церквях уже не осталось места, стали хоронить на церковном дворе. Гонорий Августодунский называет кладбище святой опочивальней, лоном церкви, *ecclesiae gremium*[1]. Когда, по-вашему, они стали превосходить нас числом?

— Кто, милорд?

— Покойники.

— Не знаю, милорд.

— Быстро. Думаю, что быстро.

Министр доедает печенье. Слуга передает ему салфетку. Тот вытирает пальцы, надевает очки в круглой оправе и принимается читать бумагу из стопки, что лежит перед ним. В кабинете

---

[1] Примечания: 1

Лоно церкви (*лат.*).

теплее, чем в приемной, но ненамного. Трещит небольшой огонь, и время от времени в комнату вырывается перышко дыма. Кроме письменного стола, в кабинете есть еще кое-какая мебель. Небольшой портрет короля. Картина, судя по всему, изображающая последние минуты кабаньей охоты. Столик с графином и рюмками. У камина тяжелый фарфоровый ночной горшок. Зонтик из промасленного шелка, прислоненный к стене под окном. А в окне ничего, кроме серого и рваного небесного брюха.

— Лестенгуа, — произносит министр, глядя в бумагу. — Вы Жан-Мари Лестенгуа.

— Нет, милорд.

— Нет? — Министр вновь глядит на пачку бумаг и вынимает другой листок. — Тогда, значит, Баратт. Жан-Батист Баратт?

— Да, милорд.

— Древнего рода?

— Семья моего отца живет в Белеме уже несколько поколений.

— Ваш отец перчаточник?

— Главный перчаточник, милорд. И у нас есть земля. Чуть больше четырех гектаров.

— Четырех?

Министр позволяет себе улыбнуться. Пудра с

его парика чуть припорошила шелк на плечах. Если его лицо чуть вытянуть вперед, думает Жан-Батист, оно уподобится острию топорища.

— Граф С. утверждает, что вы трудолюбивы, прилежны и чистоплотны. И что ваша мать протестантка.

— Только мать, милорд. Мой батюшка…

Министр делает ему знак замолчать.

— Меня не интересует, как молятся ваши родители. Никто не предлагает вам пост королевского капеллана. — Он снова смотрит в бумагу. — Проходили обучение у братьев ораторианцев в Ножане, а впоследствии благодаря щедрости графа смогли поступить в Королевскую школу мостов и дорог.

— Да, милорд, поступил. Я имел честь быть учеником мэтра Перроне.

— Чьим учеником?

— Великого Перроне, милорд.

— Вы сведущи в геометрии, алгебре. Гидравлике. Тут говорится, что вы построили мост.

— Небольшой мост, милорд. В поместье графа.

— В качестве украшения?

— В каком-то смысле… и эта сторона тоже присутствовала.

— И у вас есть опыт горных работ?

— Почти два года я провел на угольных шахтах Валансьена. Там у графа есть свой интерес.

— У графа во многих местах есть интерес, Баратт. Не получится наряжать жену в бриллианты, если не имеешь нигде интереса.

Похоже, министр изволил пошутить, и в ответ следовало бы произнести что-нибудь остроумное, но в то же время уважительное, однако Жан-Батист не думает ни о жене графа с ее бриллиантами, ни о его любовнице с ее бриллиантами. Он думает о шахтах Валансьена. Об особом роде нищеты — беспросветной, закутанной в пелену дыма, не знающей милости природы.

— Да и к вам тоже он имеет интерес, не так ли?

— Да, милорд.

— Ваш отец шил графу перчатки?

— Да, милорд.

— Может, он и мне сошьет парочку?

— Мой отец умер, милорд.

— Ах, вот как?

— Тому уже несколько лет.

— Отчего же он умер?

— От болезни, милорд. Он долго болел.

— Тогда не сомневаюсь, что вы хотите почтить его память.

— Хочу, милорд.

— И вы готовы послужить?

— Да, милорд.

— У меня кое-что для вас есть, Баратт. Дело, ведомое с необходимым умением, с необходимой рассудительностью, обеспечит вам неуклонное продвижение по службе. И позволит заработать имя.

— Благодарю вашу светлость за доверие.

— Покамест не будем говорить о доверии. Вы знаете кладбище Невинных?

— Кладбище?

— То, что у рынка Ле-Аль.

— Я слышал о нем, милорд.

— Оно пожирает тела умерших парижан с незапамятных времен. С глубокой древности, когда город едва распространился за пределы своих островов. Тогда это, вероятно, было еще терпимо. Так, кусок земли, вокруг которого почти ничего не было. Но город рос. И окружил кладбище. Потом построили церковь. Следом стену вокруг погоста. А за стеной — дома, лавки, таверны. Все то, что нужно живым. Кладбище меж тем стало знаменитым, прославленным, стало местом паломничества. Матушка-церковь получала немалые барыши за похороны. Поболь-

ше — за погребение в самой церкви, поменьше — за погребение в галереях. А вот похороны в общей могиле не стоили ничего. Нельзя же в самом деле требовать у человека плату за то, что его останки сложили поверх прочих, как слой бекона. Мне рассказывали, что во время одной эпидемии чумы на кладбище Невинных меньше чем за месяц похоронили пятьдесят тысяч покойников. Погребения шли без конца — труп на труп, телеги с мертвецами ждали своей очереди на Рю-Сен-Дени. Хоронили даже ночью, при свете факелов. Труп на труп. Невозможно и подсчитать. Целые легионы ложились в клочок земли не больше картофельного поля. Но, похоже, это никого не волновало. Никто не протестовал, не выражал возмущения. Возможно, происходящее даже казалось естественным. Но позднее, наверное, в прошлом поколении парижан, к нам пошли жалобы. Для некоторых, живущих вблизи кладбища, соседство стало весьма неприятным. Начала портиться еда. Свечи гасли, словно потушенные невидимыми пальцами. Люди, по утрам сходившие со ступенек крыльца на улицу, вдруг падали без чувств. Урон был также нанесен морали, особенно среди юношества. Молодые люди и дамы, до этого времени отли-

чавшиеся незапятнанной репутацией… Была создана комиссия, дабы расследовать такое положение дел. Множество господ-специалистов написали множество слов по этому поводу. Были высказаны рекомендации, начерчены планы создания новых, не столь вредоносных кладбищ, которые будут вынесены за черту города. Но эти рекомендации не были приняты в расчет, планы оказались свернуты и отложены. Усопших продолжали привозить к воротам кладбища Невинных. Для них кое-как находилось место. Так бы и продолжалось, Баратт. Тут сомневаться не приходится. И продолжалось бы до Второго пришествия, если бы пять лет назад не прошли на редкость сильные весенние ливни. Подземная стена, отделяющая кладбище от подвала дома на одной из прилегающих улиц, не выдержала. И в подвал вывалилось все содержимое общей могилы. Можете себе представить волнение тех, кто проживал над этим подвалом, их соседей, соседей их соседей, всех тех, кто, ложась вечером спать, не мог выбросить из головы мысль о кладбище, напирающем, точно прожорливое море, на стены домов. Кладбище уже не желало оставаться при своих мертвецах. Вы могли похоронить отца, а меньше чем через месяц уже и не знать, куда

девалось тело. Сам король был обеспокоен. Был издан указ о закрытии кладбища Невинных. И кладбища, и церкви. Без промедления. Ворота следовало запереть на замок. С тех пор, несмотря на просьбы Его Светлости епископа, все остается без изменений. Запертые ворота, пустота, тишина. Что вы об этом думаете?

— О чем именно, милорд?

— Можно ли просто оставить все как есть?

— Трудно сказать, милорд. Вероятно, нет.

— Оттуда идет зловоние.

— Да, милорд.

— Иногда мне кажется, что я чувствую его даже здесь.

— Да, милорд.

— Кладбище отравляет город. Если долго ничего не предпринимать, оно отравит не только местных торговцев, но и самого короля. Короля и его министров.

— Да, милорд.

— Его нужно убрать.

— Убрать?

— Уничтожить. И церковь, и кладбище. Нужно, чтобы это место перестало распространять заразу. Огнем, серой, чем хотите, только избавьте нас от него.

— А как же… обитатели, милорд?

— Какие обитатели?

— Покойники.

— Ликвидировать. Все до последней косточки. Здесь требуется человек, не страшащийся некоторых неприятных ситуаций. Который не побоится тявканья попов. Тот, кто не склонен к суевериям.

— Суевериям, милорд?

— Вы же не думаете, что такой погост, как кладбище Невинных, не оброс легендами? Говорят, там появляется существо, рожденное от волка еще в те дни — следовало бы сказать «ночи», — когда волки зимой приходили в город. Вы испугались бы такого существа, Баратт?

— Только если бы я в него верил, милорд.

— Вы, без сомнения, скептик. Ученик Вольтера. Насколько мне известно, он обращается именно к молодым людям вашего класса.

— Я… конечно, слышал…

— Да, безусловно. Здесь его тоже читают. И гораздо больше, чем вы можете вообразить. Когда речь заходит об остром уме, мы истинные демократы. Да и человек с такой кучей денег, как у Вольтера, едва ли так уж бесповоротно дурен.

— Да, милорд.

— Так значит, вы не шарахаетесь от призра-

ков?

— Нет, милорд.

— Работа будет одновременно и щекотливой, и грубой. Вы сможете действовать от нашего имени. Получите деньги. А докладывать будете через моего агента месье Лафосса.

Министр смотрит через плечо Жан-Батиста. Тот оборачивается. На табурете за дверью сидит человек. Жан-Батист успевает заметить лишь длинные, тонкие пальцы, длинные, обтянутые черным конечности. И, конечно, глаза. Два черных гвоздя, вбитые в череп.

— Лафоссу будете рассказывать обо всем. У него есть свои конторы в Париже. И он будет посещать вас на работе.

— Да, милорд.

— Информацию о природе вашей миссии держите при себе как можно дольше. Человеческие пристрастия непредсказуемы. Они могут распространяться даже на такое место, как кладбище Невинных.

— Когда мне следует приступить, милорд?

Но министр вдруг перестает его слышать. Потерял интерес. Он переворачивает страницы и тянется рукой к небольшой рюмке, которую слуга, обойдя стол, вкладывает в его раскрытую

ладонь.

Лафосс поднимается с табурета. Из глубин своего одеяния он извлекает листок сложенной и запечатанной бумаги, а потом кошелек. Передает их Жан-Батисту. Тот кланяется Лафоссу, потом отвешивает более глубокий поклон министру, отступает назад, к двери, и, повернувшись, выходит. Того человека, который ждал вместе с ним, уже нет. Был ли он тоже инженером? Тем Жан-Мари Лестенгуа, чье имя назвал министр? А если бы желтоглазый слуга взглянул на того человека первым, не ему ли теперь поручили бы уничтожение кладбища?

Жан-Батист берет свой редингот, висящий на спинке стула. На полу собачий ручеек, истратив первоначальный импульс, впитывается древесиной паркета.

Глава 3

Минуя пару коридоров и крыло здания, Жан-Батист понимает, что движется по кругу. Он проходит мимо окон, таких огромных, что через них можно провести лошадь или даже слона. Спускается по винтовым лестницам, вдоль которых висят гигантские аллегорические гобелены, дрожащие на осенних сквозняках и наверняка искалечившие зрение не одной дюжине мастериц, что идеально ровными стежками выткали на них в мельчайших деталях цветы у подножия Парнаса, полевые французские цветы: маки, васильки, живокость, ромашки…

Дворец похож на игру, но он устал в нее играть. В некоторых коридорах темно, как в сумерки, другие освещены расходящимися ветвями тающих свечей. В этих последних он наталкивается на суетливые группки слуг, однако когда пытается спросить дорогу, его либо не замечают, либо указывают в четырех разных направлениях. Один парень кричит ему вслед: «Идите, куда нос укажет!» Но нос указывает ему лишь то, что дерьмо властей предержащих мало чем отличается от дерьма бедняков.

И везде, в каждом коридоре, двери. Следует ли открыть какую-нибудь из них? Может, именно так и находят выход из Версальского дворца? Хотя двери здесь, как и всё прочее, подвластны законам этикета. В какие-то положено стучаться, а в какие-то легонько скрестись. Кузен Андре объяснил это ему, пока они ехали в Ножан. Кузен Андре, правовед, который, хоть и младше его на три года, уже обладает светской изворотливостью, завидными познаниями в области законов придворной жизни.

Жан-Батист останавливается перед одной из дверей, той, что почему-то кажется ему более внушающей надежду, чем соседние. К тому же не чувствует ли он прохладный ветерок, что тянет из-под нее по ногам? Он проверяет, нет ли на древесине следов от ногтей, и, не найдя таковых, тихонько стучит. Никто не отвечает. Повернув ручку, Жан-Батист заходит. За небольшим круглым столиком сидят двое и играют в карты. У них большие голубые глаза и серебряные кафтаны. Мужчины говорят, что они поляки, что они во дворце уже несколько месяцев и почти позабыли, зачем приехали.

— Вы знаете мадам М.? — спрашивает один.

— Боюсь, что нет.

Поляки вздыхают, и каждый переворачивает карту. В глубине комнаты на шелковой обивке оттоманки две кошки проверяют остроту своих когтей. Жан-Батист с поклоном извиняется за беспокойство. А не угодно ли ему остаться и немного перекинуться в карты? Пикет, как ничто другое, позволяет скоротать время. Жан-Батист признается, что пытается найти выход.

Выход? Они смотрят на него и смеются.

Снова оказавшись в коридоре, он останавливается при виде женщины со взбитыми лиловыми волосами, которую в горизонтальном положении проносят через дверь. Ее голова оборачивается, черные глаза внимательно смотрят на него. У таких дорогу не спрашивают. По винтовой черной лестнице, каменной и узкой, Жан-Батист спускается на этаж ниже. Здесь на скамьях отдыхают солдаты, молоденькие ребята в синей военной форме дремлют, свернувшись, на столах, под столами и на диванчиках — везде, где нашлось место. Дюжина девушек бегут прямо на него, почти ничего не видя перед собой из-за охапок грязного белья в руках. Чтобы не оказаться сбитым с ног, он отступает (без стука и царапанья) в ближайшую дверь и оказывается в просторном помещении — большом, уходящем вдаль зале,

где в огромных терракотовых горшках стоят миниатюрные деревца, наверное, целая сотня. Хотя он и северянин, истинный северянин, он уже знает со времен службы у графа С., что это лимоны. Их покрыли соломой и мешковиной в преддверии наступающей зимы. В воздухе витает легкий аромат, нежно-зеленый свет льется сквозь ряды арочных окон. Жан-Батист открывает одно и, взобравшись на бочку с водой, выпрыгивает наружу. Позади, во дворце, бесчисленные часы отбивают еще один час. Он вынимает свои. Это, как и костюм, подарок, только на этот раз от мэтра Перроне — по случаю окончания учебы. На крышке изображено масонское всевидящее око, хотя Жан-Батист не масон и неизвестно, масон ли сам мэтр Перроне. Когда стрелки указывают ровно два, часы начинают слегка вибрировать на ладони. Захлопнув крышку, он кладет их в карман.

Впереди, между подстриженными боскетами, слишком высокими, чтобы можно было взглянуть поверх них, бежит дорожка из светлого гравия. Он идет по ней, ибо больше идти некуда. Проходит мимо фонтана, в его чаше уже нет воды, зато полно палой листвы. Жан-Батист замерз и неожиданно чувствует усталость. Натягивает

редингот. Дорожка раздваивается. Теперь куда? Между дорожек стоит небольшая увитая зеленью беседка с полукруглой скамьей, а над скамьей каменный амур, покрытый пятнышками лишайника, целится стрелой в того, кто сядет под ним. Жан-Батист садится. Снимает печать с бумаги, которую дал Лафосс. Там записан адрес дома, где ему надлежит снять жилье. Развязывает кошелек и высыпает на ладонь несколько тяжелых монет. Сто ливров? Или чуть больше. Он рад — чувствует облегчение, — ибо уже несколько месяцев живет на остатки своих скудных сбережений, задолжав матери и кузену Андре. В то же время он понимает, что эта сумма не свидетельствует об особом расположении министра. Ясно, что все просчитано точно. Это плата человеку, которым он теперь стал — подрядчику, государственному наемному работнику, разрушителю кладбищ…

Кладбище! Он все еще не вполне опомнился. Кладбище в центре Парижа! Этот жуткий погост! Бог знает, чего он ожидал по дороге сюда, работу над каким проектом предполагал получить — может, надеялся что-то построить в самом дворце, — но такое даже в страшном сне не приснится! Можно ли было отказаться? Это не приходило ему в голову, такого ответа для него

просто не существовало. А что до того, каким образом выкапывание костей соответствует его положению, а также *достоинству*, присущему выпускнику Королевской школы мостов и дорог, ему придется научиться думать об этом поручении в более… абстрактном смысле. В конце концов, он человек, имеющий идеи и идеалы. Не столь уж невозможно воспринимать такую работу как дело важное и достойное. Осуществляемое для общего блага. То, что одобрили бы и авторы Энциклопедии.

К скамье слетелось около дюжины воробьев, распушивших на холоде свои перышки. Он смотрит, как они, мохнатые, прыгают по камням. В одном из карманов редингота — достаточно поместительном, чтобы отправить туда всех этих воробьев, — осталось немного хлеба, который он ел на завтрак в потемках, сидя верхом. Он кусает хлеб, жует, потом отрывает корочку и крошит ее большим и указательным пальцами. Склевывая крошки, птички словно танцуют у него под ногами.

Глава 4

На Рю-де-ля-Ленжери, на стуле, поставленном справа от окна в гостиной второго этажа, осторожно покусывая нижнюю губку, Эмили Моннар — которую все зовут Зигеттой — наблюдает, как на Рю-Сен-Дени, Рю-о-Фэр и на рынок Ле-Аль опускаются сумерки. Рынок, конечно, уже давно закрылся, съедобные отбросы унесены теми, кто ими обычно питается. То, что осталось, — мусор, состоящий из грязной соломы, рыбьих внутренностей, кроваво-красных перьев, зеленых листочков, срезанных с цветов, которых привозят с юга страны, — унесет ночной ветер или завтра на рассвете рассеют метла и струи воды. Эту картину девушка наблюдает всю жизнь, и она ей никогда не надоедает: рынок и — прямо напротив окна — старая церковь кладбища Невинных и само кладбище, правда, уже несколько лет на кладбище ничего не происходит, лишь пономарь с внучкой иногда проходят к воротам, или, еще реже, появляется старый настоятель в синих очках, про которого, кажется, все просто забыли. Как ей не хватает прошлого! Медленно бредущих процессий, которые разворачивались

перед церковными дверями, исполненных скорбью людей, склоненных и прижавшихся плечами друг к другу, погребального звона, качающегося гроба, бормотания молитв и наконец — апофеоза — момента, когда упокоившегося мужчину, женщину или дитя опускают в землю, словно давая ей положенную пищу. А когда все уходили и на кладбище вновь становилось тихо, *она* была на своем месте, настороже, ее лицо виднелось у окна, будто она чья-то сестра или ангел.

Вздыхая, Зигетта вновь смотрит на улицу, на Рю-о-Фэр, видит, как мадам Деспру, жена булочника, идет мимо итальянского фонтана и останавливается поговорить с вдовой Ари. А там, у рыночного креста, маячит пьянчужка Мерда. Вот и Бубон, корзинщик, который живет один в задних комнатах собственной лавки на Рю-Сен-Дени. А там, в конце Рю-де-ля-Фромажери, появляется та женщина в красном плаще. Мерда ей что-то крикнул? Ему, должно быть, приятно оскорбить существо ниже его самого, но женщина не останавливается и не оборачивается. Она давно привыкла к таким, как Мерда. Какая же она высокая! И как прямо держится — просто невероятно! Теперь какой-то мужчина обращается к ней, хотя предпочитает делать это на расстоянии.

Кто он? Не может быть, неужели Арман! (Или следует сказать: очень может быть, что это Арман!) Но вот они расходятся и оба исчезают из виду. Когда станет темно, некоторые из тех мужчин, кто при свете дня дразнят и оскорбляют женщину, побегут за ней следом и договорятся о встрече, о свидании в какой-нибудь съемной комнате. Ведь обычно это так делается? А уж когда они окажутся в комнате одни… Ах, она представляла себе, чем они там занимаются, видела в мельчайших подробностях и даже в одиночестве своей освещенной камином спальни ужасно краснела от этих картин, от греховных помыслов, в которых следовало бы исповедаться отцу Пупару в церкви Святого Евстафия, что она и сделала бы, если бы отец Пупар не был так похож на ошпаренную свинью. Почему в Париже нет красивых священников? Кому охота исповедоваться уродам?

— Что-то интересное видела на улице, дорогуша? — Мать, держа свечу в пухлой руке, остановилась у нее за спиной.

— Да нет, пожалуй.

— Нет?

Мадам Моннар останавливается позади дочери, гладит волосы девушки, рассеянно накручивая на палец их приятную густую массу. На Рю-о-Фэр

фонарщик приставляет лестницу к фонарному столбу напротив церкви. Они молча наблюдают за ним — как он аккуратно поднимается, просовывает руку с вощеным фитилем в стеклянный фонарь, как тут же расцветает желтый цветок, и фонарщик быстро спускается вниз. Когда мадам и месье Моннар поселились в этом доме, на улице совсем не было фонарей, а на Рю-Сен-Дени их было очень мало. Тогда Париж был темнее, но все привыкли так жить, давно приспособились.

— Боюсь я, — говорит мадам, — что наш новый жилец потерялся. Он ведь из деревни приехал, очень сомневаюсь, что он найдет дорогу, когда вокруг столько улиц.

— Он может кого-нибудь спросить, — говорит Зигетта. — По-французски-то он, наверное, разговаривает.

— Конечно, разговаривает, — неуверенно отвечает мадам.

— Мне кажется, он очень маленький и очень волосатый.

Мать смеется, прикрыв рукой рот и мелкие коричневые зубы.

— Что за нелепость! — говорит она.

— А ест он, — продолжает Зигетта, которая с детства была подвержена такого рода странностям,

иногда забавным, иногда тревожащим, — одни яблоки и свиные ножки. И руки вытирает о бороду. Вот так.

Она показывает, как, водя скрюченными пальцами под своим округлым розовым подбородком, но тут, грохоча деревянными сабо, входит служанка.

— Ты никого не видела, Мари? — спрашивает мадам.

— Нет, — отвечает та, с мрачным видом остановившись в дверях. Ее молодое и крепкое тело напряглось, словно в ожидании какого-нибудь обвинения.

— Твой отец уверял, что сегодня вернется рано, — говорит мадам, обращаясь к дочери. — Будет крайне неприятно, если нам придется принимать постояльца одним. Месье Моннар не присылал никаких весточек, Мари?

Девушка мотает головой. Она прислуживает в этом доме уже полтора года. Ее отец был кожевником в парижском предместье Сент-Антуан, но она его не помнит, потому что он умер от тифа, когда она была еще совсем маленькой. Как и все в доме, она страдает от ночных кошмаров.

Сумерки уступают место вечерней темноте. Мадам Моннар зажигает больше свечей. Осто-

рожно ворошит огонь. Они топят дровами, а дрова нынче дороги. Полешко не толще и не длиннее человеческой руки стоит двенадцать су, а чтобы весь день поддерживать огонь, таких надо штук двадцать. Она садится, берет «Журнал для современных дам», который они с Зигеттой с большим удовольствием читали вчера, и снова принимается рассматривать изображения благородных дикарей — властителей своих дикарских королевств, — чьи лица фантастически разрисованы от глаз до подбородка синей татуировкой, кругами и завитушками, похожими на планы регулярных парков. Только представить себе, что их постоялец явится с таким же лицом! Это будет настоящий фурор! Еще лучше, чем фортепьяно (а какой был триумф, когда инструмент подняли на специальном подъемном блоке, точно корову из карьера, а потом протащили через окно — все соседи сбежались смотреть!). Жаль, что его оказалось невозможно настроить. Бедный учитель музыки Зигетты чуть не разрыдался, хотя следует признать, что сеньор Банколари относится к тем господам, что всегда готовы пролить слезу.

На первом этаже хлопает входная дверь. Сквозняк, пробравшийся наверх, колышет пламя свечей в гостиной, и через несколько мгновений

появляется месье Моннар. На нем все еще кожаный передник, который он носит в лавке, — кожа потемнела от времени и носки, хотя почему месье Моннару так уж нужно облачаться в этот передник, когда у него не меньше трех умелых подмастерьев, которые и выполняют всю работу по полировке и заточке, мадам Моннар никак не может взять в толк, ну никак. Однако мужу положено быть хозяином в собственном доме.

Они желают друг другу доброго вечера. Месье Моннар здоровается с дочерью, которая теперь, сидя на табурете у пианино, подбирает ноты — может, это часть какой-то известной ей мелодии, а может, и нет. Сняв парик, месье Моннар ожесточенно чешет голову.

— Наш гость так и не появлялся? — спрашивает он.

— Зигетта, — говорит мадам Моннар, — рассказывает о нем невероятные вещи. Она считает, что раз он из Нормандии, то не умеет говорить по-французски.

— В Бретани, — отвечает месье Моннар, — говорят на совершенно непонятном языке. Считается, что люди научились ему от чаек.

— А зачем он вообще приехал? — спрашивает Зигетта. — Чего ему дома не сиделось?

— Полагаю, — отвечает отец, — хочет сделать карьеру и разбогатеть. Разве не за этим едут в Париж?

Мари спрашивает, не пора ли подавать суп. Месье тут же интересуется, какой суп сегодня на ужин.

— Кости, — отвечает Мари.

— Она хочет сказать, из костей теленка, что мы ели во вторник, — объясняет мадам Моннар. — Но к ним для вкуса мы добавили много всякой всячины.

— Например, свиные ножки, — говорит Зигетта, отчего ее мать заливисто хохочет.

Глава 5

Жан-Батист появляется между супом и жарким, приготовленным из остатков той же телятины. Он вовсе не собирался приезжать так поздно, тем более в темноте. Багаж, большой, скрепленный ребрами сундук (одно ребро сломалось, когда сундук спускали с крыши почтовой кареты) они внесли вместе — он и немой парень громадного роста, какой-то родственник хозяев, в доме которых, неподалеку от кучерской конторы, он переночевал накануне.

— Мы уж боялись, что вы заблудились! — приветствует гостя месье Моннар, стоя на площадке первого пролета лестницы. — Совсем заблудились.

— Я был в Версале, месье, а потом лошадь захромала…

— В Версале! — повторяет месье Моннар, глядя на поднимающегося к нему молодого человека, а затем провожает его в почти теплую комнату наверху. — Месье Бабетт был сегодня в Версале.

— Баратт, месье.

— А?

— Я Баратт. Так меня зовут, месье. Баратт.

Его сажают напротив Зигетты. Возникает спор, следует ли отнести жаркое назад на кухню и подождать, пока вновь прибывший съест суп. Достаточно ли суп горячий? И вообще, любит ли месье Баратт суп?

— Ну, как там сегодня в Версале? — спрашивает месье Моннар, будто сам тоже частенько наведывается во дворец.

— А?

Жан-Батист подносит ко рту ложку прохладного супа и понимает, как ужасно он голоден. Будь он сейчас один, то выпил бы суп прямо из тарелки и сразу же нашел бы местечко, куда завалиться спать. Но ему следует заставить себя понравиться хозяевам. Ведь они будут составлять самый близкий круг его общения, по крайней мере в ближайшее время. И ему не хочется, чтобы его приняли за скучного грубияна, неотесанного провинциала. Не хочется, чтобы его сочли таким, каким он сам в минуты слабости считает себя. Он поднимает взгляд от тарелки. Какой большой и красный рот у этой девушки! Должно быть, ее губы блестят так ярко от жира в супе.

— Версаль, — говорит он, повернувшись к ее отцу, — это самое странное место, какое мне доводилось видеть.

— Очень хороший ответ, — говорит мадам Моннар, выразительно кивнув, и просит Мари налить гостю вина. — Подбрось-ка еще полено, Мари. Не припомню, чтобы в октябре было так холодно.

Выясняется, что Моннары любят поговорить — но поговорить не так, как в его родном Белеме, где говорят продуманно и неторопливо. Еще они любят поесть — суп, жаркое, жареную камбалу, салат из свеклы, сыр, маленькие пирожные. Все, насколько он может судить, приготовлено как полагается, но имеет не сразу ощутимый странный и неприятный привкус, которому, как ему кажется, не место в еде.

После ужина они сидят у камина. В холодное время года эта комната служит одновременно и гостиной, и столовой, что удобно, хотя наличие пианино заставляет двигаться кружным путем, если надо пересечь комнату. Месье Моннар, гримасничая, снимает напряжение с мышц лица. Женская половина семейства притворяется, что шьет. Кто-то скребется в дверь. В комнату впускают кота, по размеру он такой же, как та собака, что поливала вазу у министерского кабинета, черный котище с оторванным полумесяцем уха. Зовут его Рагу. Никто не помнит, почему и кто его так назвал. Кот направляется прямо к Жан-Бати-

сту и обнюхивает его подошвы.

— Что это ты задумал, проказник? — говорит мадам Моннар, не без усилий затаскивая животное к себе на колени. — Я не отвечаю за его нравственность, — продолжает она с веселым смехом и добавляет: — Рагу и Зигетта — неразлучные друзья.

Жан-Батист бросает взгляд на девушку. Ему кажется, что она смотрит на кота с некоторой неприязнью.

— Маленькие любители сыра, — говорит месье Моннар, — долго в этом доме не задерживаются.

— А тех, кто не достается Рагу, — вставляет мадам Моннар, — мой муж ловит этими своими небольшими приспособлениями.

— Приспособлениями? — переспрашивает Жан-Батист, у которого это слово всегда вызывает особый интерес.

— Я их мастерю и продаю в лавке, — начинает рассказ месье Моннар. — Клетка, пружина и маленькая дверца… — Он взмахивает рукой. — И зверек в западне. Потом остается только бросить мышеловку в ведро с водой.

— Мари перерезает им горло, — сообщает Зигетта.

— Что ты! Ничего подобного, — говорит ее мать,

а затем обращается к гостю: — У моего мужа свое собственное предприятие на Рю-де-Труа-Мор.

— Продаете мышеловки, месье? — спрашивает Жан-Батист.

— Ножи и клинки, месье, от самых обычных до особых, с украшением. Отделка, заточка, полировка. Мы весьма знамениты качеством работы. Отец Пурпар из церкви Святого Евстафия режет мясо моим ножом.

— Когда становится холодно, — говорит Зигетта, — сюда забираются крысы. Прямо в дом.

— И к нам в дом тоже, — отвечает Жан-Батист. — В самые морозные ночи.

— В Нормандии? — спрашивает мадам Моннар. Похоже, ее поразило, что крысы нашли дорогу даже в такую глушь.

— Вы, должно быть, скучаете, — говорит Зигетта.

— По дому? — На мгновение в его усталом сознании мелькают вороны, словно черные лохмотья, поднимающиеся в сумерки с полей, одинокий шпиль деревенской церкви. — Да нет, меня вполне устраивают те места, куда меня приводит работа.

— Очень по-мужски, — говорит мадам Моннар, перебирая кошачью шерсть.

— А что за работа у вас здесь? — спрашивает Зигетта.

Она кажется такой хорошенькой, когда произносит эти слова, такой цветущей красоткой в своем кремовом платье, что ему хочется честно рассказать ей, зачем он сюда явился. Интересно, что сказал им Лафосс, какую историю сочинил, если они вообще говорили на эту тему.

— Я здесь, — произносит он, чувствуя, что все трое теперь слушают его очень внимательно, — чтобы провести обследование кладбища Невинных.

— Кладбища Невинных? — переспрашивает мадам Моннар после паузы, в течение которой не слышно ничего, кроме мурлыканья кота и потрескивания дров.

— Я инженер, — говорит он. — Вам разве не сказали?

— Кто бы стал нам говорить? — отвечает месье Моннар.

— Тот, кто договаривался с вами о комнате.

— Нам сообщили только, что господину из Нормандии требуется жилье.

— С питанием, — добавляет жена.

— Вот именно, — подтверждает месье Моннар, — с завтраком и ужином.

— У нас уже жил музыкант, — говорит Зигетта.

— Довольно своеобразный господин, — подхватывает месье Моннар.

— Рыжий, — добавляет мадам.

Зигетта открывает рот, словно хочет сказать что-то еще, но через такт, через четверть ноты сомнений, его закрывает.

— Значит, у вас, — благодушно улыбаясь, говорит мадам, — очень полезное призвание. Следует вас поздравить.

— Моим наставником, — отвечает Жан-Батист, — в Школе мостов был мэтр Перроне. Это величайший инженер Франции.

Над головой кота мадам Моннар аплодирует Жан-Батисту кончиками пальцев.

— А вы когда-нибудь строили мосты? — спрашивает Зигетта.

— Один. В Нормандии.

— И через что был этот мост?

— Через уголок озера.

— По-моему, у озер не бывает углов, — говорит Зигетта.

— Вам нужно бы сказать Мари, — перебивает ее мадам Моннар, — что вы предпочитаете по утрам: кофе или шоколад.

— Музыканту нравился шоколад, — говорит

Зигетта.

— Мари будет приносить вам чашечку в комнату, если пожелаете, — продолжает мадам. — И воду для туалета. Только назовите время.

— Он еще не видел свою комнату, — говорит Зигетта.

— И правда, — спохватывается мать, — еще не видел.

— Тогда я помогу вам поднять по лестнице сундук, — предлагает месье Моннар, вставая. — Уж больно он тяжел, даже для Мари.

Комната Жан-Батиста в глубине дома, на этаже под чердаком. Двое мужчин, пыхтя, тащат сундук из передней через четыре пролета лестницы. Впереди идет Мари со свечой.

— Надеюсь, вы найдете здесь все необходимое, — говорит месье Моннар.

— Да, — отвечает Жан-Батист, переводя взгляд от узкой кровати к столу и стулу, а потом к трехногой подставке с полированным жестяным тазом, узкому камину и окну над кроватью, закрытому ставнями.

— Комната Зигетты по ту сторону коридора, а я и мадам Моннар спим в комнате под вами. Мари, естественно, на чердаке. Ваш предшественник обычно просил ее снимать сабо, когда она ходила

наверху. Чрезмерная чувствительность к шуму.

— Вы хотите, месье, чтобы я заплатил вперед?

— С вашей стороны это очень деловой подход. Сколь приятно наблюдать такие манеры в молодом человеке. Итак, посмотрим. Получается, шесть ливров в неделю. Свечи и дрова сюда не входят.

Слегка отвернувшись от хозяина, Жан-Батист высыпает несколько монет из кошелька на стол, выбирает пол-луидора.

— За две недели, — говорит он.

Месье Моннар берет монету, проверяет на прочность и засовывает в карман жилета.

— Добро пожаловать, — говорит он с видом человека, только что продавшего набор хороших ножей священнику. — Не забудьте сказать Мари обо всем, что вам требуется.

На пару секунд жилец и служанка встречаются взглядами, потом от принесенной свечи она зажигает огарок на столе.

— Если вы спуститесь со свечой утром вниз, — говорит она, — можете оставить ее на полке у входной двери. Там есть кремень и кресало.

— Вам и выходить-то отсюда не потребуется, — говорит месье Моннар, кивая в сторону окна, скрытого за ставнями, — чтобы производить свое

обследование.

— Я могу увидеть кладбище прямо отсюда?

— Так вы еще не успели прогуляться по кварталу?

— Нет, месье.

— Ну, тогда при свете дня вам все станет ясно.

В некоторой суматохе, состоящей из поклонов и улыбок, мужчины прощаются. Месье Моннар и Мари выходят из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Совершенно неожиданно Жан-Батист остается один в чужом доме, в городе, где он почти никого не знает. Он тянется к ставням за кроватью, раскрывает их, поворачивая на жестких петлях, но, увидев лишь себя самого и пламя свечи в оконном стекле, снова наклоняется вперед, поворачивает овальную ручку и чуть толкает окно. Теперь нет ничего между ним и ночным небом, ничего между ним и кладбищенской церковью, ибо нет сомнения, что эта темная громада, еле различимая в восточной части неба, и есть церковь. А ниже ее та чернота, что пролегает до улицы, — это, по всей вероятности, кладбище. Что же еще? Если он перелезет через кровать и выпрыгнет из окна, то окажется как раз там, в том самом месте, которое отравляет Париж! И уж точно отравляет Рю-де-ля-Ленжери.

Вонь, которая вползает в открытое окно, он уже ощущал в дыхании всех Моннаров, во вкусе их пищи. Придется к ней привыкнуть, привыкнуть как можно быстрее, или уносить отсюда ноги, сесть в почтовую карету, служить графу С., просить у него еще один мост…

Жан-Батист закрывает окно, задвигает ставни. Скоро догорит свеча на столе. Он расстегивает ремни на сундуке, роется в нем, вытаскивает книгу графа де Бюффона «Естественная история животных. Том второй», извлекает длинную медную линейку, маленькую коробочку с письменными принадлежностями и другую коробочку розового дерева с парой медных разметочных циркулей. В шерстяную рубаху завернута гравюра моста Риальто с картины Каналетто. Он ищет гвоздь в стене, находит один над пустым камином и, повесив картину, некоторое время стоит и разглядывает ее.

Кладет часы на стол рядом с Бюффоном, прячет кошелек под подушку, вешает парик на спинку стула и раздевается до рубахи и чулок — и то и другое оставлено, чтобы не замерзнуть. Воды нигде не видно, вымыться нечем. Он залезает под одеяло, в голове мелькает не слишком приятная мысль о рыжем музыканте, который спал здесь

до него, потом он задувает оплывающую свечу и лежит в полной темноте, так что глазам, неспособным что-либо различить, представляются странные фигуры, странные видения. Он закрывает глаза — та же тьма! — и через мгновение начинает тихо бормотать. Это не молитва, а катехизис, помогающий ему осознать самого себя.

— Кто ты? Я Жан-Батист Баратт. Откуда ты? Из Белема, это в Нормандии. Каково твое ремесло? Я инженер, учился в Школе мостов. Во что ты веруешь? В силу разума…

Эта привычка появилась у него после смерти отца, и поначалу в ней было что-то вызывающее, что-то почти торжествующее. Он был живой. Молодой и живой. *Ecce homo!*[2] Но позднее, когда он начал работать на шахтах Валансьена, вопросы стали больше походить на обычные вопросы, сама их простота порождала замешательство, мгновенное головокружение, и обычай задавать их стал ему крайне необходим. Конечно, это следует прекратить. Звучит по-детски. Из-за этого катехизиса он и сам чувствует неловкость, почти греховность своего поведения. Но покамест, сегодня вечером, в этом месте…

---

[2] Примечания: 2
Се человек! (*лат.*)

— Кто ты? Я Жан-Батист Баратт. Откуда ты? Из Белема…

Кто-то или что-то скребется в дверь. Он прислушивается, затаив дыхание. Кот с сомнительной нравственностью? Разрешал ли его предшественник этому созданию спать у себя в ногах? У Жан-Батиста возражений не имеется, он будет даже рад компании, но как только он садится, царапанье прекращается. Под дверью мелькает неяркий свет. Потом — тишина.

Глава 6

Сквозь высокие окна тонкими серыми веревочками в церковь кладбища Невинных проникает свет парижского утра, но он почти не тревожит постоянно царящий в здании сумрак. Черные или почти черные колонны взмывают вверх, словно остатки окаменелого леса, и их верхушки теряются там, в пологе теней. В боковых капеллах, где уже пять лет не зажигались свечи, скопились вороха тьмы. Святые, мадонны, младенцы-спасители, большие второсортные картины с изображением сцен мученичества, голубки, садящиеся на аккуратно причесанные головы, чем-то похожие на итальянские, запертые ларцы с реликвиями — костяшками пальцев или щепками Святого креста — все это как будто и не существовало вовсе, столь тщательно оно теперь спрятано.

Орган (три мануала, сорок регистров), немецкий и очень старый, стоит у северного нефа, на той стороне церкви, которая тянется вдоль Рю-о-Фэр и дальше по Рю-Сен-Дени. Дверь на хоры — высотой около трети обычной двери — открыта, и из нее, предваряемая покашливанием

и покрякиванием, высовывается чья-то голова. Человек замирает, в точности как собака, пребывающая в неуверенности перед пересечением неизвестного открытого места, потом исчезает на хорах, а через несколько мгновений вместо головы показываются две босые ноги, большой, обтянутый кюлотами зад, затем все туловище, и наконец снова взъерошенная голова.

Лестницы нет — кто-то пустил ее на дрова, — и человек скользит вниз, выдавливаясь из двери, пока носки его ног не касаются самодельной ступеньки из молитвенников, потрепанных Библий и житий святых (он уже не раз вяло шутил в разговорах с друзьями, что имеет обычай подниматься по божественной лестнице к небесной музыке). Опустившись на плиты нефа — ноги человека встают на могилы барона такого-то, жены барона и их нескольких упокоившихся детей, — он отряхивается, сплевывает черным в платок и, надев кафтан, усаживается за мануалы. Разминает пальцы, так, что трещат суставы, и какая-то бледная птица, испуганно вспорхнув, летит под потолок. Даже при таком освещении волосы человека имеют легкий медный оттенок. Он выдвигает регистры. Труба, терция, крумгорн,

регаль. На пюпитре — *Livre de Musique*[3] Николя Жиго, а рядом сборник кантат Клерамбо, но чтобы видеть ноты, человеку нужны свечи, а ему не хочется тратить на них время. Свеча у него в голове, этого света вполне достаточно, и он начинает играть по памяти трио-сонаты Куперена. Спина и шея органиста немного откинуты назад, словно перед ним не орган, а запряженная шестерней карета, и сам он мчится по центру рынка Ле-Аль, а из-под колес летят врассыпную гуси, капуста и старухи.

Звука нет. Ничего, кроме глухого щелканья клавиш и постукивания педалей. Нет воздуха, хотя для Куперена нужно нечто большее, чем воздух, — старый орган с такой работой уже не справляется. Для других пьес, меньше зависящих от изогнутого металла и старой кожи, органист иногда нанимает рыночного носильщика, чтобы раздувал мехи, или того крупного немого парня, который вечно слоняется вокруг Рю-Сен-Дени. *Тогда* церковь почти сходит с ума, медные орлы, разорванные в клочья знамена, миллионы костей в подземном склепе — все это на несколько минут вырывается из небытия к некоему подобию жиз-

[3] Примечания: 3
Книга нот (*фр.*).

ни. Такова его работа — никакого другого повода играть у него нет: прихожане здесь больше не бывают, мессу не служат, никто не венчается, и, уж конечно, никого не хоронят. Но пока он играет и пока настоятелю, этому старому, изможденному солдату Христа, разрешено бродить здесь, церковь сохраняет интерес к этому месту, интерес, который, как часто бывает, она готова обменять на какие-нибудь существенные привилегии.

Органист перепрыгивает через октавы, яростно модулируя, его очень бледные пальцы бегают по мануалам, преследуя купереновского оленя, и вдруг он слышит — не может быть! — как открывается дверь с северной стороны. Настоятель, если он вообще покидает церковь, входит и выходит через другие двери, но раз это не отец Кольбер, то кто?

Развернувшись на скамье, музыкант смотрит в конец нефа, туда, где в дверях, открытых на Рю-о-Фэр, стоит человек. Человек, да, молодой человек, но органист, который знает большинство окрестных лиц, его не узнает.

— Вам нужна помощь, месье?

Вошедший останавливается на полдороге. Вертит головой, пытаясь определить, откуда доносится голос.

— Видите трубы органа? Идите туда. Скоро и меня увидите… еще немного… еще… вот! Существо из плоти и крови, как и вы сами. Я Арман де Сен-Меар. Органист церкви кладбища Невинных.

— Органист? Здесь?

— Здесь есть орган. Есть и органист. Что тут удивительного?

— Я не хотел вас…

— А вы, месье? С кем имею честь говорить?

— Баратт.

— Баратт?

— Инженер.

— Ах, так вы пришли отремонтировать орган!

— Отремонтировать?

— Он прихрамывает, в музыкальном смысле. Я делаю, что могу, но…

— Сожалею, месье… Но я не знаком с органами.

— Не знакомы? Но это единственный механизм, который у нас имеется. Я бы решил, что вы ошиблись дверью, если бы не видел в вашей руке ключ. Вас прислал епископ?

— Епископ? Нет.

— Тогда кто?

После некоторого колебания Жан-Батист негромко произносит имя министра.

— Так значит, они для нас что-то придумали, —

говорит органист.

— Я здесь, чтобы провести…

— Ш-ш-ш!

Высоко над ними, на узком проходе трифория, слышен шум шаркающих ног. Органист затаскивает Жан-Батиста за колонну. Оба ждут. Через минуту звук смолкает.

— Это отец Кольбер, — шепчет органист. — Едва ли он милостиво отнесется к инженеру, посланному министром. Честно говоря, он вообще ни к кому не относится милостиво.

— Настоятель?

— Старый, но крепкий, как вол. Был миссионером в Китае еще до нашего с вами рождения. Я слышал, что его там даже пытали. Повредили глаза. Теперь ему больно смотреть на свет. И он носит цветные очки. Через них кое-что видит. Нрав у него суровый…

Кивнув, Жан-Батист глядит на рыжие волосы собеседника и спрашивает:

— Это вы жили в доме Моннаров?

— Моннаров? А откуда вам это известно, месье?

— Они до сих пор вас вспоминают.

— Так теперь там живете вы? В маленькой комнате над кладбищем?

— Да.

— Снимаете?

— Да.

— Ну-ну. Ха! Я бы сказал, что теперь там наверняка холодина.

— Так и есть.

— Вот вам совет. Когда ляжете в кровать, взгляните на потолок. Вы заметите маленькую… Ой-ой, осторожно, мой друг. Вам нехорошо?

Прислушиваясь к своему колотящемуся сердцу, Жан-Батист понимает, что, когда вошел в церковь, он все время пытался не дышать. Он позволяет органисту довести себя до органной скамьи, слышит, как тот голосом, словно отраженным от дальней стены церкви, рассказывает ему, будто вначале и сам ощущал то же самое и мог входить в церковь, только приложив к лицу кусок ткани, смоченный одеколоном.

— Я изумлялся, как люди могут жить даже на расстоянии полдня пути от этого места. Однако видите, живут же. Как пчелы в улье. К этому привыкаешь. Старайтесь дышать ртом. Вкус подавить легче, чем запах.

— Мне надобно найти Монетти, — говорит Жан-Батист.

— Могильщика? Так у вас и вправду на уме

что-то серьезное. Не беспокойтесь. Монетти найти легче всех в Париже. Давайте-ка выйдем на воздух. Можете купить нам обоим по рюмочке чего-нибудь подкрепляющего.

Опираясь на руку органиста — без этого и впрямь не получается, — Жан-Батист возвращается к двери в северной стене. Нельзя сказать, что он во всем винит церковь. Ночь была неспокойная, весь дом ходил ходуном, будто дул шквальный ветер, хотя никакого ветра на самом деле не было. Ему казалось, что кто-то скребется в дверь и даже в какой-то немыслимый час скребется в окно. А потом, ранним утром, он видит, что Лафосс уже стоит в гостиной Моннаров с ключами от церкви в руках. И *это лицо* не сулит ему никакого утешения…

Когда они выходят на улицу, закрыв и заперев церковную дверь, когда Жан-Батист может вновь доверять своим ногам и рассчитывать на свои силы, они поворачивают налево, к Рю-де-ля-Ленжери, а оттуда идут прямо на рынок. Через каждые десять шагов с органистом кто-нибудь здоровается, обычно женщина. При каждой встрече женские глаза пробегают по лицу молодого человека, идущего рядом с органистом, судя по всему, его нового товарища.

— Вон там, — говорит органист, показывая рукой, — можно поесть вкусно и дешево. А там, на углу, вам починят одежду и при этом ничего не украдут. А вот это цирюльник Годе. Прекрасно бреет. Все знают. Ну а это Рю-де-ля-Фромажери, куда вы идете, чтобы вдохнуть иной запах, отличный от аромата могил. Вперед! Будем дышать полной грудью.

Они оказываются на одном конце необычной, похожей на закупоренную жилу улицы, скорее переулка, чем улицы, и скорее канавы, чем переулка. Верхние этажи домов клонятся друг к другу, а между ними видна лишь узкая полоска белесого неба. По обеим сторонам в каждом втором доме открыта лавка, и в каждой лавке продают сыр. Иногда яйца, иногда молоко и масло, но сыр — всегда. Сыр выставлен в окнах, выложен на столы и тачки, горами возвышается на соломе, висит на веревках или плавает в бадьях с соленой водой. Сыры, такие огромные, что для них требуется нож, которым можно зарезать быка, сыры, которые черпают резными деревянными ложками. Красные, зеленые, серые, розовые или чистейшего белого цвета. Жан-Батист не имеет ни малейшего представления, каково большинство из них на вкус и откуда их привезли, но один вид

он узнает мгновенно, и его сердце подпрыгивает от радости, словно ему встретилось знакомое лицо с родной стороны. Пон-л'Эвек! Нормандские луга! Нормандский воздух!

— Хотите попробовать? — спрашивает девушка, но внимание Жан-Батиста привлекла соседняя лавка, где женщина в красном плаще покупает небольшую головку козьего сыра, корка которого вываляна в пепле.

— А *это*, — говорит органист, наклоняясь ближе к Жан-Батисту, — Австриячка. Ее так зовут по причине сходства с нашей дражайшей королевой. И тут дело не только в светлых волосах. Эй, Элоиза! Познакомься с моим другом, чье имя я, к несчастью, позабыл и который приехал бог знает откуда, чтобы перевернуть всю нашу жизнь!

Женщина отсчитывает за сыр мелкие монетки. Поднимает глаза — сначала на Армана, потом на Жан-Батиста. Он покраснел? Ему кажется, что, наверное, сумел нахмуриться. Потом она отводит взгляд, берет свою покупку и уходит, пробираясь через толпу.

— Местные женщины, — говорит Арман, — ее презирают, отчасти потому, что их мужья могут купить ее на час, но главным образом потому, что она чужая, не такая, как все. Если бы она

жила в Пале-Рояль, никто бы и бровью не повел. Полагаю, вы видели Пале-Рояль?

— Я о нем слышал. Но никогда…

— Какой же вы интересный объект для штудий, приятель! Прямо как один из персов у Монтескье. Напишу о вас в газете. В еженедельной колонке.

Арман широкими шагами идет вперед и, пока они проходят под контрфорсами церкви Святого Евстафия, громким и веселым голосом читает импровизированную лекцию об истории дворца Пале-Рояль — как сначала он был садом кардинала Ришелье, как герцог Орлеанский передал его своему сыну, как тот разместил там множество кофеен, театров и магазинов, как в нем всегда полно народу, как невыразимо он элегантен и какой это большой — самый большой — бордель в Европе…

Органист все еще описывает Пале-Рояль, когда тот вырастает перед ними, и они оказываются у одного из нескольких ведущих во дворец проездов, не шире Рю-де-ля-Фромажери, и через этот проезд они пробираются сквозь толпу в украшенный аркадами внутренний двор, в центре которого среди взрывов хохота как раз заканчивается представление театра марионеток. Издали Жан-Батисту кажется, что кукол заставляют со-

вокупляться. Приглядевшись, он видит, что так и есть.

— Полицейские патрули сюда не заглядывают, — поясняет органист. — Герцог делает им небольшие подарочки, и они находят себе другое занятие. Непристойные кукольные представления — это еще цветочки.

Кто все эти люди? Разве нет у них своего ремесла, собственного дела? Их движения, одежда, весь окрестный шум говорят о карнавале, хотя не видно никакого центрального действа, не ощущается его организованность. Похоже, все происходит спонтанно — самовыражение длящегося мгновения.

— Пойдемте, — зовет органист, дергая Жан-Батиста за локоть и ведя его по направлению к дверям кафе, что открыто посередине одной из галерей. — Попытаем счастья здесь.

Внутри кафе все бурлит, так же как и снаружи, но органист со знанием дела подает знак одному из официантов, и их вскоре провожают к небольшому столику с парой обшарпанных плетеных стульев. Он заказывает кофе, чашку свежих сливок и две рюмки коньяку. Посетители — исключительно мужчины, в основном молодые. Разговаривают громко. То и дело кто-нибудь

читает вслух статью из газеты или стучит в окно, чтобы привлечь внимание проходящего мимо знакомого, иногда женщины, над которой ему вздумалось посмеяться. Официанты — невысокие, сосредоточенные люди — ловко движутся, петляя по узким проходам за спинками стульев. Кто-то кричит, делая заказ, который принимают едва заметным кивком. Две собаки бросаются друг на друга, но хозяева ударами загоняют их под стол. Жан-Батист снимает плащ (что довольно трудно в столь многолюдном месте). За последние недели это самое теплое помещение, где ему довелось быть. Жаркое, прокуренное, немного влажное. Когда приносят коньяк, он пьет его, просто чтобы утолить жажду.

— Полегчало? — спрашивает органист. Его рюмка тоже пуста. Он заказывает еще две. — Можете называть меня Арман, — говорит он. — Хотя это ваше дело.

Теперь, когда они сидят друг напротив друга и когда ему действительно стало лучше, Жан-Батист может рассмотреть этого Армана, тем более что органист все время беспокойно глядит мимо сотрапезника на лица других посетителей кафе. Парик он не носит, волосы не пудрит: пудра все равно почти не изменит цвет таких волос.

Его костюм — кажущийся дорогим скорее на расстоянии, чем вблизи, — скроен по фасону, с которым Жан-Батист не знаком. Полосатые кюлоты сидят в обтяжку. Камзол наполовину меньше его собственного, а кафтан с такими широкими отворотами, что их концы почти выходят за плечи. Шейный платок зеленого муслина просто огромен. Когда органист пьет, ему приходится следить, чтобы платок не попал в рот, в его полные лиловатые губы.

— Не ожидали найти в церкви органиста? — говорит Арман, встретившись взглядом с Жан-Батистом. — А я там главный по музыкальной части.

— И давно?

— Полтора года.

— Так значит, вас назначили, когда церковь уже была закрыта.

— Разве можно закрыть церковь, как булочную?

— Если получено такое распоряжение, полагаю, что можно.

— Полагаете? Что ж, вы, несомненно, правы. Мой предшественник стал пить, отчего и скончался. Осмелюсь предположить, что его эта ситуация… выбила из колеи.

— А вас нет?

— Должности, как вы, вероятно, и сами знаете, никогда не даются легко.

— Но ведь там не для кого играть.

Арман пожимает плечами и подносит ко рту вторую рюмку коньяку.

— Есть я, отец Кольбер, Бог. А теперь еще вы. Вполне достойная аудитория.

Жан-Батист усмехается. Хотя он нервничает из-за того, что сидит в кафе и пьет коньяк вместо того, чтобы проводить обследование кладбища, нервничает из-за того, что едва может дышать внутри церкви, он рад, что познакомился с этим огненно-рыжим музыкантом. Кроме того, он может что-нибудь узнать у того по существу дела. Доверенная ему работа будет состоять не просто в выкапывании и вывозе костей. Это он уже понял. С живыми ему придется сражаться не меньше, чем с мертвыми.

— Если я буду держаться епископа, — говорит Арман, — то в один прекрасный день получу кое-что получше. Например, место в церкви Святого Евстафия.

— Даже там, — говорит Жан-Батист, — вас будет преследовать этот запах.

— С кладбища? Как я уже сказал, к нему привыкаешь. То есть к нему привыкнуть невозможно,

но в конце концов учишься его переносить. Человек приспосабливается. А что бы вы могли сказать о Моннарах?

— Что они… люди уважаемые?

— О, да. Очень уважаемые. А что еще?

— Что любят разговаривать?

— Единственный способ заставить их замолчать — это ввести налог на слова. Нашим властям стоило бы об этом призадуматься. И все-таки. Не стесняйтесь. Что еще?

— Запах изо рта?

— Точно! И, наверное, вы заметили, что у меня не намного приятнее. Нет, вежливость здесь ни к чему. Он появляется у всех, кто долгое время находится рядом с кладбищем.

— И мне следует ожидать того же?

— А вы намереваетесь задержаться надолго?

— Еще не знаю, сколько времени мне потребуется.

— Не хотите говорить о своей работе.

— Уверен, что вам это неинтересно.

— Неинтересно? Подозреваю, что мне было бы очень даже интересно, хотя я не собираюсь на вас давить. Поговорим о чем-нибудь другом. Например, о Зигетте Монар. Вы ее хорошо рассмотрели?

— За столом я сидел напротив.

— И она не произвела на вас впечатления? Это одна из самых хорошеньких девушек в квартале.

— Готов признать, что она хорошенькая.

— Ах, готовы признать? Как высокопарно! Может, у вас на родине осталась одна красотка? Хотя я не знаю, где ваша родина.

— В Белеме. В Нормандии.

— Значит, в Белеме. Хотя нет, вижу, что не осталась. Тогда глядите в оба, друг мой. Если вы у них задержитесь, они наверняка попытаются вас на ней женить.

— На Зигетте?

— А почему бы и нет? Молодой инженер. Доверенное лицо министра.

— Я никогда не претендовал на то, чтобы быть его доверенным лицом.

За соседним столиком мужчина с сетью серебристых шрамов на шее отрывает взгляд от доски, на которой играет в трик-трак, и глядит на молодого человека, потом вновь медленно возвращается к игре.

— А вас? Вас пытались на ней женить?

— Музыканты — менее завидные женихи. Люди вроде Моннаров ставят музыканта немногим выше актера.

— Ее отец продает ножи. Разве он может позволить себе смотреть сверху вниз на музыканта?

— Смотреть на людей сверху вниз очень просто. А на ваш вопрос отвечу «да», меня рассматривали в качестве жениха.

— А вам она нравилась?

— Как любая привлекательная женщина. Но с Зигеттой нужно быть осторожным.

— Почему?

Собрав остатки сливок из чашки, Арман облизывает палец и вытирает губы.

— Зигетта выросла в этом доме. И живет там всю жизнь. Дыша этим воздухом. Дело тут не только в запахе изо рта. А вот малышка Мари…

— Служанка?

— Я, конечно, не имею в виду женитьбу.

— Вы? И Мари?

— Бедные девушки из предместья Сент-Антуан мыслят свободно. Ее голова, возможно, пуста, как Гроб Господень, но сама она гораздо современнее, чем Моннары. Пожалуй, даже современнее, чем вы. Только не обижайтесь. К тому же я уже почти решил вас осовременить. Эта счастливая мысль только что пришла мне в голову.

— А если мне думается, что я не нуждаюсь в вашем руководстве?

— В руководстве церковного органиста? Именно такой взгляд на вещи нам следует искоренить, если хотим сохранить вас для будущего. Для партии будущего.

— Существует такая партия?

— Они не проводят собрания в условленном месте, не собирают деньги по подписке, однако эта партия существует так же точно, как вы и я. Партия будущего. Партия прошлого. Быть может, у вас останется не так много времени, чтобы решить, на чьей вы стороне. Думаю, нам следует начать с вашего костюма. У вас есть какая-то особая предрасположенность к коричневому цвету?

— Вам чем-то не угодил мой костюм?

— Ничем, если вы принадлежите к партии прошлого. Я познакомлю вас с Шарве. Он знает, что нужно с вами сделать. Шарве — человек современный.

— Кто он, этот Шарве? Писатель?

— Портной.

Раздосадованный, заинтригованный, подвыпивший Жан-Батист, как ему кажется, изображает на своем лице презрение, но органист уже вновь занялся изучением физиономий завсегдатаев кафе. Потом он говорит:

— Надеюсь, вы не откажетесь заплатить. А те-

перь давайте найдем местечко, чтобы пообедать. Для зарождающейся дружбы нет ничего хуже, чем коньяк на голодный желудок.

* * *

В галереях и во внутреннем дворе — толкотня, крики, поднимаемые в знак приветствия шляпы, вскинутые брови. Неустанная погоня за чем-то, да за чем угодно, идет своим чередом, и нет ни намека на то, что эта суета сбавит темп. Так *это* зовется «современностью»? А эти люди? Они в партии будущего или в партии прошлого? И всегда ли человек знает, к какой партии принадлежит? Можно ли знать наверное? Или же, думает инженер, это похоже на религию его матери: одним суждено спастись, другим — быть обреченным на адские муки, но ни в том, ни в другом случае не наблюдается никаких точных знамений?

Они пробираются сквозь толпу (иногда отклоняясь в сторону, иногда останавливаясь и даже немного отступая), и вот Арман вновь тянет Жан-Батиста за рукав и ведет через портал салона под номером семь. В вестибюле туго затянутая в корсет женщина сидит за столом на высоком табурете, а перед ней нет ничего, кроме жестянки

и колокольчика.

— Вы должны дать ей четыре су, — говорит Арман.

Жан-Батист выкладывает четыре су. Она звонит в колокольчик. Появляется человек в парике с розоватым отливом и отодвигает портьеру розового цвета. Он явно хорошо знаком с Арманом. Они кланяются друг другу с придворной пышностью, хотя это явное ёрничанье.

— Сегодня только Зулима, — говорит Арман.

— Как вам будет угодно, — отвечает человек.

— Этот господин, — продолжает Арман, указывая на Жан-Батиста большим пальцем, — приехал откуда-то из Нормандии. Однажды он станет величайшим инженером Франции.

— Ну, конечно, — мурлычет человек.

Он ведет их по освещенному мягким светом коридору. По обеим сторонам тяжелые портьеры, вероятно, скрывают ведущие в комнаты двери, но последняя портьера закрыта не слишком плотно, и Жан-Батист, замедлив шаг, на мгновение видит человека, часть человека, голую руку и голую ногу, привязанные к колесу, лицо, заросшее бородой, и один большой безумный глаз. На кого он похож? На Дамьена? Того Дамьена, которого полдня убивали на Гревской площади

за то, что царапнул короля перочинным ножом? Вздергивали его на дыбу, кастрировали, лили расплавленный свинец в раны, стегали лошадей, чтобы вырвать его конечности из суставов, но лошадям это никак не удавалось — бедные невинные животные, — пока палач не разрезал мышцы умирающего. Тысячи людей, как сообщалось, смотрели на казнь из окон зданий вокруг площади.

Провожатый ждет их в конце коридора. Наклонившись, Жан-Батист проходит под его поднятой рукой.

— Зулима, — начинает тот свою речь заученным голосом, словно механическая кукла, — была персидской принцессой, которая умерла, подобно Клеопатре, от укуса змеи. Ей было всего семнадцать лет, и на ее долю выпала несчастная любовь. Ее чистота… — отдернута еще одна портьера, более изысканная, — а также искусство персидских священников идеально сохраняют тело девушки вот уже более двух столетий.

Девушка лежит на помосте, который напоминает отчасти катафалк, отчасти кушетку. Две свечи зажжены в ногах и еще две в головах. Тело завернуто в саван, в покрывало из какой-то прозрачной материи, тюля или органзы — кто знает?

Это созревшее тело невесты. Само совершенство. Молодые люди становятся по обеим сторонам и смотрят. Пожилой провожатый, склонив голову, точно в молитве, ждет в изножье.

— Она вам кого-нибудь напоминает? — шепотом спрашивает Арман.

— Никого, — отвечает Жан-Батист, но догадывается, кого органист имеет в виду.

В этом восковом лице и пышной фигуре и в самом деле есть несомненное сходство с Зигеттой Моннар.

Из Пале-Рояль они отправляются обедать в таверну неподалеку от Биржи. Их усаживают за общий стол и подают обед за десять су — бульон с гренками и вареную говядину. В очаге в конце залы весело потрескивает огонь. Они пьют красное вино, не плохое и не хорошее. Пьют и разговаривают, а их щеки розовеют все больше. Арман без всякого стыда или стеснения признается, что был подброшен в коляске к Госпиталю найденышей. Там благодаря своему таланту он был замечен работниками заведения, которые, в свою очередь, обратили на мальчика внимание тех благотворителей, коих специально посылают искать среди паршивых, бритых детей, живущих и умирающих в госпитальных палатах, того

единственного, кого стоит спасать.

— В таком месте не бывает детских иллюзий. Там не заблуждаются по поводу сущности этого мира. К семи годам мы все были циничны, как аббаты.

Оба соглашаются, что утрата иллюзий — это необходимое качество для тех, кто готовит себя к великим свершениям. После третьей бутылки признаются друг другу, что тщеславны, чертовски тщеславны, и надеются, что благодаря удаче и трудолюбию умрут знаменитыми.

— И богатыми, — добавляет Арман, выковыривая из зубов кусочек говядины. — Я не собираюсь умирать знаменитым одной лишь своею бедностью.

Жан-Батист рассказывает о своем бывшем покровителе графе С., о двух годах, проведенных в Школе мостов, о мэтре Перроне, о мостах, которые он мечтает построить, конструкциях, легких, как сама мысль, переброшенных через Сену, Орн, Луару…

Вино и неожиданной глубины одиночество вызывают в нем болтливость, которую он сам не одобрил бы в трезвом состоянии и которой не доверял бы, столкнувшись с нею в беседе с другим человеком. Он чуть было не рассказал Арману,

что ему предстоит делать в Париже, ибо на Армана, несомненно, это произведет впечатление: органист увидит то, что он сам (в рубиновом свете красного вина таверны) хотел бы увидеть, ибо уничтожить кладбище Невинных — значит стереть с лица земли, причем *на самом деле*, а не в качестве фигуры речи, тлетворное влияние прошлого! И тогда не придется ли Арману признать, что он, Жан-Батист Баратт, инженер, безо всяких оговорок принадлежит к партии будущего, даже к ее авангарду? А может, Арман встревожится? Ужаснется? Придет в ярость? Каковы все-таки отношения Армана Сен-Меара с епископом? И что известно Его Светлости о планах министра?

Выйдя из таверны, они справляют малую нужду на стену здания и, застегнувшись, отправляются в путешествие, на которое приходится остаток дня. Они всё говорят, всё что-то бормочут о политике, о Париже, о неизменном достоинстве крестьянства (*Но уж я-то знаю крестьян*, хочет сказать Жан-Батист, *у меня среди них не одна дюжина родичей*), но по-настоящему ни тот, ни другой уже не слушает собеседника. Жан-Батиста вновь затаскивают в какой-то дом — он тут же чувствует опьянение гораздо сильнее, чем на улице, — и представляют человеку, похожему

на изысканно одетую обезьяну, который, как выясняется, и есть портной Шарве.

Магазин, если этому месту можно дать столь скромное название, уставлен элегантной мебелью, увешан писанными маслом картинами и даже отдаленно не напоминает то полное резких запахов ателье, в котором отец Жан-Батиста шил перчатки. Здесь нет никаких явных признаков *работы*, кроме разве что стола у окна, где двое молодых людей с сонным видом режут какою-то ткань, переливающуюся и трепещущую, словно ключевая вода.

Шарве времени не теряет. Несколько слов от Армана, пожатие плечами от Жан-Батиста — вот все, что ему нужно, чтобы взяться за дело. Он ходит кругами вокруг инженера, трогает его кафтан, вытягивает материал, отходит на шаг назад, чтобы лучше определить длину ног, легкую округлость плеч, тонкую талию. Пожалуй, приятно оказаться предметом такого внимательного профессионального обследования. Жан-Батист даже не замечает, как Арман выскальзывает из комнаты. В этот день все происходит по каким-то собственным странным законам. Инженер уже давно не пытается им сопротивляться. Придется ему поразмыслить об этом позже.

— Полагаю, месье, — говорит Шарве, — полагаю, мы сможем сделать с вами нечто весьма интересное. Ваша фигура, если позволите так выразиться, как раз подходит для новых стилей. Вы отнюдь не один из тех дородных господ, кого мне приходится скорее маскировать, чем одевать. А вот вас, месье, мы можем одеть. Да. Во что-то, что будет вторить естественным движениям тела. Во что-то чуть менее официальное, хотя, конечно, по-своему абсолютно корректное… Мы должны сочинить историю, месье. Сочинить ее прекрасным и понятным языком. Я одену вас не для 1785-го, а для 1795 года. Седрик! Принеси господину бокал лафита. И бутылку тоже. А теперь, месье, окажите мне честь и проследуйте за мной…

Через два часа Жан-Батист видит себя — нет, кого-то другого — в большом идеально отполированном овальном зеркале. На нем шелковый кафтан фисташкового цвета с шелковой подкладкой в зеленую и шафрановую полоску. Короткий камзол, доходящий до верхней части бедра, тоже фисташковый, со скромной вышивкой золотой нитью. Обшлага кафтана небольшие, воротник высокий. Шейный платок — тоже шафранового цвета — почти такой же огромный, как у Армана. Довольно долго Шарве и Седрик, вытаскивая за-

жатые между губами булавки, кроили, сшивали, вертели его с той свободой, которая предоставлена людям их профессии, а также камердинерам, докторам и палачам. Они почти закончили. Осторожно отходят назад, чтобы их отражение не попало в зеркало. Глядят, как он глядит на себя. Уже слишком поздно, прекрасно понимает Жан-Батист, отказываться от костюма или даже критиковать его. Это значило бы отречься не только от Шарве, но и от самого будущего. Невозможно! Он возьмет костюм и заплатит любую назначенную Шарве цену. Цена оказывается изрядной. Жан-Батист краснеет. Таких денег у него при себе нет. Портной разводит руками. Конечно, конечно. Завтра вполне устроит. Но есть кое-что еще. Молодой господин относится к молодым господам с *интеллектуальными* устремлениями? Ага! Он так и думал, просто не хотел показаться навязчивым.

Портной скользит к отполированному до блеска секретеру орехового дерева и, вынув из ящика небольшой портрет в рамке, протягивает его Жан-Батисту.

— Вольтер, — произносит он, с улыбкой глядя на картину так, словно один на один он мог бы адресовать ей самые ласковые слова. — Видите,

что на нем надето? Халат? Его называют шлафрок. Интеллектуальные господа без него едва ли могут обходиться. У меня есть один из красного тика. Я бы не стал говорить об этом другим моим клиентам — они бы не поняли. Но в вашем случае…

— Да, — говорит Жан-Батист.

— Да?

— Беру.

— И, месье, вы не должны скрывать свои естественные волосы. Лет через пять парики канут в Лету. А пока у меня есть для вас превосходный парик из натуральных волос с шелковым мешочком для косы, можно взять в прокат на неделю…

— И его тоже, — говорит Жан-Батист.

— Могу ли я оставить ваш старый костюм в залог, месье? У меня есть заведение поменьше на Рю-дю-Бак, обслуживающее моих… гм… более консервативных клиентов. Что, если я продам его для вас там?

— Как хотите.

— Это как *вы* хотите, месье.

— Тогда да. — Жан-Батист пожимает плечами. — Да.

Выбравшись из магазина Шарве, инженер пересекает площадь Побед, сворачивает по Рю-

де-ля-Фейяд в сторону рынка и дома Моннаров. Дует ветер. Он сыплет пылью ему в лицо и заставляет чихать. Новый костюм не такой теплый, как старый. И тем более не подарок покойного отца. Жан-Батист прижимает к груди пакет со шлафроком. С каждым шагом вонь от кладбища ощущается все сильнее, но, несмотря на это, несколько раз он останавливается в нерешительности, вглядывается в даль, смотрит назад через плечо, пытается сориентироваться по воротам, столбу, голому дереву, каменному желобу. Видел ли он их раньше? Наконец он оказывается в конце Рю-де-ля-Фромажери. Лавочки закрыты, тележки стоят, опираясь на ручки, на булыжниках мокрая грязь. На углу улицы на коленях стоит нищий, больше никого. Нищий поднимает глаза, скидывает капюшон, чтобы продемонстрировать свои болячки, но у Жан-Батиста нет мелочи в насквозь продуваемых новых карманах. Оба бормочут (один извинения, другой проклятия).

Жан-Батист ужинает с Моннарами. Интересно, они заметили, что он выпил, что он пил целый день? А вдруг они так заворожены его нарядом, что не обратили внимания? Шелк фисташкового цвета может, видать, вызвать состояние, близкое к потрясению. Женщинам хочется его потрогать,

но они никак не решатся. Месье Моннар явно озадачен. Он задумчиво подергивает мочки ушей, словно доит два маленьких вымена.

Все сидят за столом. У Жан-Батиста нет никакого аппетита. Он выпивает несколько рюмок вина месье Моннара, но после лафита у Шавре это вино по вкусу больше напоминает воду — что и неудивительно.

После ужина мадам приглашает его остаться и послушать, как Зигетта играет на пианино.

— Как они его сюда затаскивали, месье! У меня чуть кровь носом не пошла только от одного этого зрелища! А на улице собралась такая толпа! Все закричали «ура», когда инструмент пропихнули через окно. Я сказала мужу: «Можно подумать, они явились смотреть на *повешенье*!»

Он остается, купаясь в своем бледно-зеленом свете, а Зигетта пытается продраться сквозь ноты мелодии, которую он никак не узнает. Настроен ли инструмент? Могут ли такие звуки издаваться намеренно? На ней лимонное шерстяное платье с низким вырезом, и она следит за движениями своих рук, сосредоточенно выпятив нижнюю губу. Один белокурый завиток, спускающийся ей на лоб, всякий раз подпрыгивает, как пружина, когда она поднимает голову, чтобы прочесть но-

ты. Он вспоминает Зулиму, умершую двести лет назад, и ее соски, похожие на косточки персика. Музыка прекращается. Он аплодирует вместе со всеми. Его просят послушать еще одну пьеску, потом еще. Сияющая мадам Моннар кивает ему. Перед началом четвертой пьесы он неуклюже поднимается, говорит, что неважно себя чувствует, и просит простить.

— Надеюсь, ничего серьезного? — спрашивает мадам.

Он уверяет, что ничего.

У него в комнате так же холодно, как и накануне, то есть на один-два градуса холоднее, чем на улице. Дров так и нет. Нужно будет поговорить с Мари, когда она пойдет к себе на чердак, попросить, чтобы она сделала необходимые распоряжения, хотя, судя по ее виду, она, скорее всего, даже не подумает. Следствие ее свободомыслия? Он не уверен — хотя эта мысль сразу же вызывает смущение, — нужна ли ему эта современность, если в результате у него пусты и камин, и умывальник.

Развернув сверток, Жан-Батист раскладывает шлафрок на кровати, потом снимает фисташковый кафтан, аккуратно его складывает и натягивает шлафрок. Он широченный. Жан-Ба-

тист закутывается в него с ног до головы. «Можно завернуть таких двоих», — думает он. К шлафроку прилагается шапочка — подарок от месье Шарве — феска, сшитая из такой же красной ткани. Он снимает парик, надевает феску. Из зеркала в темном помещении, освещенном одной лишь свечкой, на него смотрит римский сенатор. Или, может, мальчишка, который тайно пробрался в родительскую комнату и напялил отцовский халат. Хотя такого одеяния у его отца отродясь не бывало. Отец этот наряд не одобрил бы и уж точно бы не обрадовался, увидев в нем своего старшего сына. Вероятнее всего, он бы посмеялся или разгневался.

Жан-Батист отворачивается от своего отражения в зеркале и переводит взгляд на гравюру с мостом Риальто, что висит на гвозде над каминной полкой. Если он собирается носить такой халат, то надо, чтобы вместе с ним он усвоил и высокие мысли. Недостаточно просто *изображать* философа. Он должен читать, работать, размышлять. Он поднимает полы шлафрока, как это делают женщины, ступая по грязной улице, — а он не раз это видел, садится за стол и, придвинув ближе свечку, открывает второй том «Естественной истории» Бюффона. Бледно-желтая соломин-

ка служит ему закладкой. Нахмурившись, он замирает над страницей. Классификация рыб. Хорошо. Отлично. Он справляется с целым абзацем, прежде чем слова начинают уплывать от него черными переливающимися косяками, оставляя за собой лишь образы прошедшего дня, постыдной и непростительной траты времени и денег. Он видит внутреннее убранство кладбищенской церкви, Армана, превратившегося в увеличенного в размерах чертенка и взгромоздившегося на органную скамью, видит себя, спрятавшегося вместе с органистом от настоятеля, видит женщину, Австриячку, которая покупает маленький кусочек сыра и глядит на них обоих, на мгновение остановив свой взгляд *прямо на нем*, эту женщину, всем чужую, которой все сторонятся. Потом Пале-Рояль, кукол, трущихся бедрами друг о друга, восковую принцессу. И улыбающегося Шарве, у которого во рту полно блестящих булавок…

Заложив страницу соломинкой, он закрывает книгу, вертит в руках медный циркуль. Один Господь ведает, куда запропастилась Мари. Придется поговорить с ней завтра. Больше ждать он не намерен.

Он снимает башмаки и фисташковые кюлоты. Он удивлен и слегка смущен, обнаружив, что у

него эрекция. Довольно странный эффект после пьянства. Экое, оказывается, было возбуждающе чувственное вино! Он щупает свою мужскую плоть сквозь ткань рубашки. Может, жизнь тела и есть истинная жизнь? А его сознание — не более чем причудливо мерцающий свет, подобный огням святого Эльма, которые матросы видят на концах мачт посреди Атлантики? Он переваривает эту мысль (в которую вовсе не верит), держа свой член, как перо, которым можно было бы ее записать, но вдруг его заставляет вздрогнуть шорох в коридоре, медленное царапанье когтей о дерево — звук, к которому он уже начал привыкать. Он ждет. Вот опять. Он подходит к двери. Открывает. На него своими загадочными желтыми глазами снизу вверх смотрит Рагу, глазами, которые, кажется, сами обладают свойством светиться в темноте, подобно некоторым цветам. Наклонившись, он гладит животное по голове, чешет ему рваное ухо.

— Очень хорошо, друг мой. Только не вонзи мне в горло свои когти посреди ночи.

Тут он замолкает, услышав какое-то движение в другом конце неосвещенного коридора. Присматривается. Это Зигетта Моннар. Она в ночной рубашке, ее волосы расчесаны и, распущенные,

свободно лежат на плечах.

— Кот, — говорит он.

— Рагу, — говорит она.

— Да.

Выпрямиться он не может, ибо все еще возбужден. Даже при столь тусклом освещении это невозможно скрыть.

— Должно быть, уже поздно, — говорит он.

— Надеюсь, вам у нас нравится, — говорит она.

— Уверен, мне здесь будет хорошо.

— Вы уже начали работать?

— Сделал кое-какие… приготовления.

Она кивает.

— Тогда доброй ночи, месье.

— Доброй ночи, мадемуазель.

Девушка поворачивается и проскальзывает в свою комнату. Жан-Батист стоит, чешет спину и смотрит на нелепую марионетку, наконец-то склонившуюся в поклоне у него между бедер. В изножье кровати Рагу вылизывает свои лапы. Жан-Батист убирает шлафрок и, сложив его, вешает на спинку стула. Задувает свечу, забирается в сыроватое пространство под одеялом. Потом…

— Кто ты? Я Жан-Батист Баратт. Откуда ты? Из Белема, это в Нормандии. Каково твое ремесло? Я инженер, учился в Школе мостов…

В некоторые ночи это звучит убедительнее, чем в другие.

Глава 7

По кладбищу Невинных идет девушка. В одной руке она несет курицу на веревке, обвязанной вокруг птичьих ног, в другой — плетеную корзину, где полно овощей, а еще лежит буханка черного хлеба и несколько фруктов. Как всегда, она была на рынке одной из первых. Ее легкая фигурка, густые золотисто-каштановые волосы хорошо знакомы служанкам, основным утренним покупательницам. У какой бы лавки ни остановилась девушка, продавцы никогда не посмеют ее обсчитать. И никогда ей не надо мять или щупать товар, нюхать его или надрезать, как это делают помощницы кухарок своими обветренными пальцами или костлявые матроны экономных хозяйств, живущие на грани бедности. Девушку обслуживают быстро, с уважением. Возможно, лоточники еще справятся о здоровье ее деда, поговорят о его деревенеющих суставах, но никто не станет задерживать эту покупательницу больше положенного. Не то чтобы ее не любят. Разве в Жанне есть что-то, что можно не любить? Но она рождена по ту сторону кладбищенской стены, в том месте, о котором сейчас, в последней

четверти восемнадцатого столетия, многим не хотелось бы вспоминать. Она милая, симпатичная и воспитанная. Но еще это юная вестница смерти с золотисто-каштановыми волосами.

Утро холодное и удивительно ясное. Вот движется тень девушки, вот курица плавно скользит по подмерзшей траве рядом с нею, а сама девушка идет по тропинке — тропинке, протоптанной лишь ее ногами — от двери, что выходит на Рю-о-Фэр, до домика пономаря у церкви. Земля, по которой она ступает, местами неровная, в небольших углублениях, там, где осела чья-то могила, трава полегла. Невнимательный посетитель, тот, что не знает, куда идти, мог бы провалиться в одну из таких ям, провалиться по пояс или по плечи и даже полностью сгинуть. Но только не Жанна.

Она останавливается у креста проповедника, столпа из камня и железа, где некогда человек с безумным взором научился говорить с толпой. У его подножия растет кустик лунника с круглыми плоскими стручками, сияющими на солнце, словно монеты. Наклонившись, она срывает несколько стручков, отщипывает засохшие стебли и кладет стручки в свою корзину. Больше здесь почти ничего не растет. Земля изнемогла от работы. Правда, ее дед, вот уже пятьдесят лет

служащий в церкви пономарем, рассказывал, что, когда он впервые оказался в этом месте, кладбище весной напоминало цветущий луг, а во времена его предшественника и пастор, и местные жители пасли здесь скот и косили на сено траву.

Она поднимает курицу. Поворачивает ее головой вниз, и та сразу же вновь впадает в оцепенение. Девушка идет по тропинке, держась самой кромки громадной церковной тени. Замешкавшись, прислушивается к городу за стеной, Парижу, к его утренним хлопотам, слышит гогот гусей в рыночных клетях, голос продавщицы креветок, нараспев зазывающей покупателей, младенцев, плачущих в доме кормилицы на Рюде-ля-Ферроннери…

Еще маленькой — ей было девять, когда здесь погребли последнего усопшего, — она знала и звуки кладбища. «Тук-тук» каменщика, размеренные удары лопаты, колокольный звон. Теперь вокруг тишина — ибо какой шум могут производить девушка и старик? — если, конечно, ее не нарушит какой-нибудь непрошеный гость из тех, что забираются сюда ночью, перемахнув через стену. Два года назад зимой на рассвете произошла дуэль в углу той части кладбища, что выходит на

Рю-де-ля-Ленжери. Из дома они с дедушкой ясно слышали звуки — отрывистое звяканье оружия и крики, положившие конец поединку. Дедушка подождал, пока совсем рассвело, и только тогда вышел. От дуэлянтов остались лишь примятая трава и оторванный кусок рубахи. Весь в крови.

А еще сюда приходят любовники: она видела почти все, чем они занимаются. Как раз в этом августе под подернутой дымкой желтой луной она наблюдала за юношей — судя по фигуре, одним из носильщиков — и девушкой, хорошенькой, как королева эльфов, и не старше ее самой. Когда парень делал это с девушкой, та мяукала, точно кошка. И они делали это не один, а три или четыре раза, прервавшись лишь, чтобы посмотреть на луну и выпить вина из бутылки, которую принесли с собою и которую она отыскала на следующий день. Бутылка стояла, прислоненная к могиле Пейронов, послужившей парочке постелью. В ней оставалось чуть-чуть вина, и Жанна, сделав глоток, почувствовала, как капли покатились по горлу. Потом она спрятала бутылку в ямку под надгробием.

Иногда — редко — она видит старого настоятеля в очках, похожего на большую бескрылую летучую мышь, что появляется лишь в сумерках.

А иногда — рыжего музыканта, который выходит облегчиться, а когда встречает ее, всегда машет рукой. Жанне хотелось бы поближе посмотреть на его руки. Должно быть, они особенные, ведь только особенные пальцы могут производить такие звуки, такую музыку, которая раз или два в месяц просачивается сквозь черные стены церкви и заставляет ее сердце учащенно биться.

Перед домом она подставляет лицо осеннему солнцу, чтобы оно поделилось с ней своим теплом, потом, возрожденная и обласканная его прикосновением, входит внутрь. Дедушка на кухне. Приподняв, она протягивает ему курицу, чтобы он мог пощупать перья. Дед одобрительно мычит в ответ, затем указывает подбородком на комнату рядом с кухней, кабинет пономаря, побеленный, с узким арочным окном, где на провисших полках выстроилось в ряд невесть сколько церковных книг, покрытых пылью, мышиным пометом, невероятными разводами от сырости, похожими на мраморные прожилки. У письменного стола стоит человек, а перед ним лежит открытая книга. Он смотрит в нее внимательно, переворачивает страницу, прижимает к лицу какой-то лоскут, закрывает глаза и глубоко вдыхает, потом убирает лоскут в карман. Пальто

его расстегнуто, и под ним она видит часть костюма, зеленого, точно сердцевина кустика салата.

Курица кудахчет. Человек оборачивается к кухне. Кивает девушке. И когда она ничего не отвечает, называет себя.

— Просматриваю записи, — поясняет он.

— Вижу, — отвечает она.

Снова кивнув, он возвращается к книге.

— Мы можем предложить вам вина, месье, — говорит она, — и есть немного кофе.

Он снова прикладывает к лицу лоскут и трясет головой. Лоскут смочен духами, запах которых кажется ей оскорбительно резким. Дедушка выносит курицу во двор.

— Вы чужестранец? — спрашивает она.

— Я из Нормандии, — отвечает он.

Он проводит пальцем по аккуратно выведенной чернилами колонке фамилий. Осенью 1610 года один за другим упокоились несколько членов семейства Фласелей. Семеро меньше чем за месяц.

— Я так и подумала, — говорит она.

— Почему?

— Я вас раньше не видела.

— Разве ты знаешь всех в Париже?

— В нашем квартале, — уточняет она.

— А знаешь семейство Фласелей?

— Нет, — отвечает она, — Фласелей здесь нет.

— Когда-то были, — говорит он.

Закрыв том, он подходит к ней. Со двора доносится бешеное кудахтанье, которое вдруг резко обрывается.

— Ты Жанна? — спрашивает он.

— Да, — отвечает она, улыбнувшись напевности его голоса.

— Твой дедушка сказал, что ты покажешь мне кладбище. Что ты знаешь, где находятся рвы.

— Рвы?

— Общие могилы.

— Да везде, — говорит она.

— Но ты можешь их показать?

Она пожимает плечами.

— Если хотите.

В дом входит старик с куриной головой в одной руке и слабо дергающимся туловищем в другой. Капли крови, словно зерна, падают на каменный пол кухни.

Они начинают с южной части кладбища, с галереи из почерневших камней, примыкающей к Рю-де-ля-Ферроннери, точнее, с арочных проходов галереи, некоторые из них перекрыты ржавыми воротами в человеческий рост, а неко-

торые открыты. Над арками — сразу заметные любому посетителю кладбища — расположены склепы, там, за железными решетками, виднеются кости, кое-где ставшие такими же черными, как и окружающие их камни.

Минуту поколебавшись, Жан-Батист ступает под своды одной из арок. На камнях под ногами надпись. Наклонившись, он проводит кончиком пальца по буквам. Анри такой-то, погиб, и его сын тоже, любимому такому-то, супруга такого-то, усопший, благочестивый, быстротечная, милосердный, плоть, вечность, тысяча четыреста какой-то год.

Выпрямившись, он делает несколько шагов по галерее. Свет падает как-то странно — кое-что можно различить отчетливо, а кое-что неразличимо вовсе. Виден каменный цветочный узор и каменная женщина, закрывающая лицо каменной вуалью. Узкие ступеньки, вероятно, ведут наверх, к склепам. Его башмак ударяется о кусок кладки, и за этим звуком немедленно слышится, как совсем рядом кто-то живой, но невидимый, быстро удирает прочь. Повернувшись, Жан-Батист спешит назад, на открытое место.

У него с собою блокнот и льняная рулетка. Делая замеры, он просит Жанну держать один

конец ленты, затем, макая перо со стальным наконечником в переносную чернильницу, что-то записывает и вычерчивает в блокноте. У него много вопросов. Жанна отвечает на все, а он царапает ее ответы на бумаге. Иногда он закрывает глаза и достает свой лоскут. Спрашивает, умеет ли она читать.

— Немного, — отвечает девушка и указывает на выбитую в камне надпись. — *Hic jacet*[4]. — произносит она. — А там *Hic requiescat*[5]. А там *Hic est sepulture*[6].

Он кивает, едва заметно улыбаясь.

— Да вы и *сами* умеете читать, — говорит она.

— Я инженер, — отвечает он. — Знаешь, кто это такой?

— Что-то вроде священника?

— Тот, кто возводит конструкции. Строения.

— Например, стену?

— Например, мост.

Он спрашивает, где самые последние общие могилы. Она подводит его. Инженер смотрит под

---

[4] Примечания: 4
Здесь лежит (*лат.*).

[5] Примечания: 5
Здесь покоится (*лат.*).

[6] Примечания: 6
Здесь могила (*лат.*).

ноги, потом вокруг. Нет ничего, что явно отличало бы этот участок земли от соседних.

— Ты уверена?

— Да.

— И они были закрыты для погребений, запечатаны пять лет назад?

— Да.

— Но ты тогда была еще ребенком.

— Да.

— И все помнишь?

— Да.

Они идут дальше. (Ему нужно все время двигаться.) Ров за рвом.

— А эта могила? Она старше предыдущей?

— Да.

— А эта?

— Еще старше.

Он чертит карту. Девушка наблюдает, как он делает линию тоньше или толще, изменив наклон пера. Цифры, короткие слова. Как красиво!

— Что это? — спрашивает она, указывая на завиток, один из нескольких, нарисованных на бумаге, и по форме похожий на половинку черепа.

— Вопросительный знак, — объясняет он. — Его ставят, когда в чем-то сомневаются.

У нее вытягивается лицо.

— Так значит, вы мне не поверили, — говорит она.

Он отвечает, что поверил, однако то, что находится под землей, скрыто от человека. А то, что скрыто, не может быть познано до конца.

— Вами — не может.

В ее ответе нет вызова. Кажется, некоторое время он размышляет над ее словами, потом захлопывает блокнот, закрывает крышку чернильницы, вытирает кончик пера.

— На сегодня хватит, — говорит он. И по дороге назад, к дому пономаря, спрашивает: — Тебе не хотелось бы отсюда уехать? Жить где-нибудь в другом месте?

— Я не знаю других мест, — отвечает девушка. — И кто тогда будет за ними присматривать?

— За ними?

Она поводит рукой вокруг.

— За покойниками, — говорит она.

Оставив девушку и старого пономаря, Жан-Батист входит в церковь. Жанна показала ему дверь, через которую можно войти, не ту, большую, через которую некогда вносили усопших в сопровождении скорбящих родных, а маленькую, сбоку, с такой низкой притолокой, что ему

пришлось нагнуться. Несколько шагов — и он во внутреннем притворе, черном, как преисподняя, затем через вторую дверь он проникает и в саму церковь. Он стоит в конце южного нефа. Впереди над алтарем видна часть окна-розетки. Нет никаких звуков и никаких других признаков, которые свидетельствовали бы, что он здесь не один. Он начинает обход — справа налево, — идет позади скамей, мимо уснувших колонн, пересекает центральную часть церкви, идет мимо огромной огороженной решеткой гробницы, на которой мужчина при оружии и в доспехах лежит рядом со своей отлитой из металла женой, их тонкие руки сложены в молитве. Он пробирается к северной стене, подходит к органу. Сегодня он не встретит здесь Армана Сен-Меара. От чего испытывает некоторое огорчение, но и облегчение тоже. Было бы приятно, если бы органист выразил восторг по поводу его нового костюма. Но их встреча могла бы также стать прелюдией к очередному бесполезному дню с шатанием по тавернам и пьянству.

Присев на органную скамью, Жан-Батист пробегает пальцами по клавиатуре. Справа и слева — ряды регистров, их набалдашники искусно выточены из дерева, а некоторые как будто даже

из слоновой кости. Он выдвигает один, наклоняется, пытаясь прочесть, что там написано, но шрифт изысканно-готический и, судя по всему, являет собою некое сокращение, похожее на те, что употребляют для обозначения химических соединений. Он задвигает его назад. Этот инструмент — единственная вещь в церкви, которая ему интересна, которая ему нравится. Можно ли его спасти? Разобрать, запаковать, вывезти и вновь собрать?

Он встает со скамьи, делает шаг в сторону нефа и среди каменной кладки и надгробных плит, плотных и зыбких теней пытается разглядеть дверь, выходящую на Рю-о-Фэр, как вдруг из какой-то непроницаемой тьмы наверху его почти сбивает с ног летящий вниз голос:

— Ты! Кто ты такой?

Ужасно быть застигнутым врасплох, когда тебя видят, а ты — нет. Жан-Батист вглядывается в вышину, морщась, словно ожидая хлопанья кожистых крыл.

– Ты не музыкант! Я знаю его шаги. Кто ты?

Эхо. Его черные стайки мечутся под сводами церкви. Невозможно определить источник звука.

– Отвечай, мерзавец!

Тут Жан-Батист видит дверь, с третьей попытки вставляет ключ в замочную скважину, понимает, что это ключ от дома Моннаров, вставляет другой, поворачивает, открывает дверь…

– *Кто ты? Кто?*

Теперь он уже на улице, на Рю-о-Фэр. Здесь нет всепожирающего огня. Нет ни отвратительных выродков Иеронима Босха, ни бледнотелых женщин, совокупляющихся с чертями, ни выброшенных на берег китов, изрыгающих истерзанные души. У итальянского фонтана с полдюжины прачек стирают белье, вокруг них поблескивает мокрая земля. Две прачки переводят на него взгляд, наверное, удивившись, что кто-то выходит из церкви, кто-то, кого они никогда раньше не видели, но вскоре они возвращаются к своей работе, погрузив замерзшие руки в холодную воду. Белье ведь не станет стираться само.

Глава 8

Он сидит в своей комнате, завернувшись в алый шлафрок и глядя сквозь незакрытое окно на церковь. Солнце заходит за горизонт, но камни храма почти не отражают закатный свет. Окна лишь ненадолго оживают синевато-багровым всполохом, что представляется скорее свидетельством некоего смертоубийства, вершимого *внутри* церкви, чем отблеском чего-то далекого и благодатного — красного солнца конца октября. Наконец свет вспыхивает в последний раз, угасает, и весь фасад окунается во тьму.

Он встает со стула посмотреть, не теплится ли огонек первой вечерней свечи в домике пономаря, но там покамест ничего не видно. Может, подобно нормандским крестьянам и их скотине, они укладываются спать сразу же, как только темнота становится помехой в работе.

Однако не глуповата ли девица? Скорее всего, нет. И все-таки можно ли полагаться на ее описания того, что должно обнаружиться под неровной травкой, когда они начнут копать? Вероятно, иного выхода нет, ибо других доступных сведений не имеется. Воспоминания престарелого пономаря,

церковные книги, послужившие обедом для не одного поколения мышей…

Повернув стул, он садится лицом к столу. Возится с трутницей, зажигает свечу и придвигает ее поближе к блокноту с утренними записями. Изучает сделанные чертежи, проводит пальцем по цифрам и пытается представить все это как чисто инженерную задачу, одну из тех, что на ходу бросал студиозам мэтр Перроне, торопясь к себе в кабинет. Столько-то квадратных метров почвы, столько-то возов с… останками. Столько-то людей, столько-то часов. Расчеты. Уравнение. Вуаля! Конечно, нужно не забыть учесть непредвиденные случайности. Перроне всегда на этом настаивал: ослабить веревочку, дать ей чуток провиснуть ради той толики неизвестного, что может спутать все карты. Наивный практик обычно забывает это сделать, а потом оказывается слишком поздно.

Из конца блокнота Жан-Батист аккуратно вырывает чистый лист, открывает чернильницу и, окунув перо, принимается писать:

«Милорд!

Я обследовал внутренние помещения церкви и кладбище и не вижу причин откладывать дело, порученное мне вашей светлостью. Потребуется

нанять по крайней мере тридцать здоровых мужчин для работы на кладбище и столько же для работы в церкви, причем хотя бы часть из них должна иметь опыт сноса зданий. Вдобавок мне необходимы лошади, телеги и изрядный запас крепежного леса.

Что касается кладбища, помимо необходимости убрать останки из склепов и общих могил, я бы рекомендовал срыть весь поверхностный слой земли на глубину двух метров и вывезти его за город в какую-нибудь глухую местность или даже на побережье, а там выбросить в море.

Могу ли я просить вас, чтобы было приготовлено место, пригодное для приема человеческого материала? И что в самой церкви, кроме священных предметов, реликвий и т. п., надлежит сохранить? К примеру, там есть орган немецкого производства, который, если Ваша Светлость пожелает, можно разобрать так, чтобы он остался в целости и сохранности.

Ваш покорный слуга, милорд,

Ж.-Б. Баратт, инженер».

Нет песка, чтобы посыпать на мокрые чернила. Поэтому он на них дует, вытирает кончик пера. Снизу доносится унылый звук гонга, зовущего к ужину. Еще одна трапеза в соседстве с

покойниками. Он скидывает шлафрок, тянется за фисташковым кафтаном, но прежде чем сойти вниз, на миг задерживается у окна со свечой в руке. Это, конечно, всего лишь фантазия, какой-то эксцентричный порыв, из тех, чему не стоит искать объяснений, но все же он проводит свечой по воздуху из стороны в сторону, словно посылает сигнал. Кто или что может таиться там, в темном поле, и наблюдать за ним? Жанна? Арман? Настоятель? Какой-нибудь страж с пустыми глазницами из миллиона упокоенных мертвецов? Или некая будущая ипостась его самого, стоящая в грядущих временах и глядящая на мерцающий свет высоко в окне? Какие причудливые мысли иногда рождаются даже в такой голове, как у него! Не следует их поощрять. Иначе дело кончится тем, что он поверит в зверя, о котором рассказывал министр, в кладбищенского полуволка-полусобаку.

* * *

Звезды над Парижем похожи на кусочки стеклянного шара, брошенного в небо. Температура падает. Часа через два первые морозные узоры расцветут на траве плацев, парков, королевских садов и кладбищ. Уличные фонари тускнеют. В

эти последние полчаса они горят дымно-оранжевым светом, освещая лишь самих себя.

В предместьях, где живут богачи, ночная стража выкрикивает, который пошел час. В трущобах бедняков грубые фигуры жмутся друг к другу, пытаясь согреться.

В чулане под крышей дома Моннаров, не зажигая света, стоит на коленях служанка Мари. Она отвернула ковер и приложила глаз к круглой дырочке, образовавшейся в том месте доски, где когда-то был сучок, прямо над комнатой жильца, над его постелью. Точно так же она наблюдала и за музыкантом. Но дыру все-таки проделала не она. Она лишь обнаружила ее, наткнувшись пальцем ноги, через неделю после того, как ее взяли сюда работать.

Воздух из комнаты жильца поднимается теплой, слегка задымленной струей, от которой ей щиплет глаз. Сегодня жилец развел огонь, и камин все еще не потух, так что ей достаточно света, чтобы разглядеть лежащую под одеялом фигуру, бледный рот, мягкие контуры его закрытых глаз. На столе у кровати открытая книга, латунный измерительный прибор. Письменные принадлежности.

Ей особенно интересен момент, тот самый

момент, когда они засыпают. Она тоже своего рода коллекционер, и если более удачливые и состоятельные девушки собирают наперстки и красивые пуговицы, то ей приходится собирать то, что не стоит ни гроша. Конечно, надо проявлять осторожность. Чтобы дырочка в полу ее не выдала. И чтобы жильцы, подняв взор к потолку, не обнаружили над собою лакричный блеск человеческого глаза.

Этот, новичок, сероглазый чужестранец, лежит на спине, его тело чуть-чуть повернуто на левый бок, левая рука вытянулась вниз и в сторону поверх одеяла. Ладонь раскрыта, пальцы немного согнуты. Неужели они дрожат или это только кажется из-за тлеющих угольков? Она вытирает глаз, смотрит снова. И ей представляется, что через открытую ладонь он освобождается от самого себя, словно его сознание мотком черной шерсти падает с руки на пол и катится куда-то, разматываясь, разматываясь…

Через десять тихих улочек на восток, в квартире на четвертом этаже дома на Рю-дез-Экуф, Арман Сен-Меар лежит, растянувшись на большой кровати рядом с крупной женщиной, своей домохозяйкой и любовницей Лизой Саже, вдовой и матерью двоих выживших детей и еще двоих,

которые упокоились в земле, не дожив до своего пятого года. Толком не проснувшись, женщина соскальзывает с кровати, приседает над ведром, справляет малую нужду, подтирается тряпкой и вновь забирается в кровать. Когда она опять оказывается рядом, органист сонной рукой гладит ее по бедру, исполняя медленное арпеджио на ее жарком теле, а потом, устроившись поудобнее, замирает.

К западу — к западу от кладбища и смолкнувшего рынка и довольно близко от церкви Святого Евстафия, так что, когда звонят колокола, нормальная человеческая речь становится неразличимой, — Элоиза Годар, Австриячка, сидит, одетая, на краю постели и читает «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга фон Гете.

Эта книга, как и другие в ее собрании, была частичной платой от месье Исбо, приятного господина ученого вида, владельца двух больших книжных лавок у реки. Каждый первый вторник месяца она выбирает из ящиков книгу, он же в это время сидит на табурете позади нее, спустив до лодыжек свои кюлоты. Выбрав, она оборачивается, и тут ей надо сделать вид, что она кипит от возмущения, и устроить господину нагоняй, используя самые изощренные ругательства, по-

сле чего он просит у нее прощения, натягивает кюлоты и несколькими аккуратными движениями заворачивает ей книгу.

Австриячка научилась читать благодаря своим родителям, хозяевам постоялого двора на тракте Орлеан — Париж. Предполагалось, что девушка должна уметь хорошо обслуживать постояльцев, и поэтому одному кюре было поручено преподать ей грамоту. Тот же, наклоняясь вместе с нею над букварем, увлеченно исследовал, что у нее под юбками. Позже с ней точно так же обращались и некоторые другие более постоянные и щедрые клиенты, нередко прямо на глазах у отца и матери, которые, казалось, относили такое поведение к вполне допустимым издержкам работы и предпочитали не обращать внимания на слезы и безмолвно-молящие взгляды дочери, пока в конце концов она не научилась ничего от них не ждать и скрывать от родителей, как и от всего мира, любые проявления того, что чувствует.

Свечи — ее главная роскошь. Она читает только ночью, в ночной тиши и в одиночестве. И тогда сгорают две, а иногда даже три свечи кряду. Она не может выйти утром с покрасневшими глазами. Когда на дворе холодно, она сидит дома в плаще, чтобы не замерзнуть. Бедный Вертер

влюблен. («Я увижу ее!» — восклицаю я утром, просыпаясь и весело приветствуя яркое солнце».) Неужели все плохо кончится? Исбо не захотел говорить, только улыбнулся, словно удивляясь тому, что такой женщине, как она, могут нравиться любовные истории. Конечно, она вовсе не мечтательная невинная девушка. Она знает, что такое мужчины, знает, каков мир на самом деле. Но что бы девушке ни пришлось пережить самой, ей трудно отказаться от любви. Трудно перестать думать о ней, как об отчем доме, который когда-нибудь обретешь. Больше чем трудно.

Послюнив палец, она переворачивает страницу.

В ризнице церкви кладбища Невинных не спит и отец Кольбер. У него есть некое подобие кровати, маленькая лежанка на колесиках, из тех, что обычно задвигаются под другую кровать, побольше, на ней матрац из тряпок, но священник по большей части спит, сидя в деревянном кресле, и его большая голова перекатывается на груди. Во сне он пускает слюну, и когда просыпается, весь перед его черного облачения оказывается влажным. Но это ничего не значит. На него некому смотреть, да если бы и было, отца Кольбера это не волнует. На столе горит небольшая лампадка,

фитиль, погруженный в масло, маленький огонек (кажущийся синим сквозь очки), который когда-то мерцал в капелле Святого Себастьяна. Ночью в этом городе появляется дьявол со своими прислужниками, и отец Кольбер не желает встретиться с ними в кромешной темноте, которая наступит, погаси он лампу. Он уже сжился с мыслью, что встретит их, что не может не встретить. Возможно даже, сегодня утром он спугнул одного из их лазутчиков, прокравшегося к органу. Разве вся церковь не почувствовала что-то неладное? Разве он не слышал, как упокоившиеся в крипте испустили негромкий испуганный стон? Что до помощи, до того, чтобы кто-то разделил с ним сторожевое бремя, то на это надеяться не приходится (говорят, у епископа есть любовница и даже дети). Он одинок на своем посту, так же одинок, как в те дни, что провел в пыли провинции Хунань и где однажды утром его выволокли на площадь, и среди собравшейся толпы он явственно различил глаза сатаны — и с тех пор никогда больше не мог видеть ясно…

Он следит за дверями, за той, что выходит на улицу, и за той, что ведет в апсиду за алтарем. Ему видны лишь их очертания, но он почувствует, если кто-то попытается войти, попытается их

открыть.

Постель Жанны — в которой девушка крепко спит, — постлана на кровати, стоящей в изножье тяжелой резной кровати деда. В день ее четырнадцатилетия он принес наверх новую кровать и сказал, что она теперь слишком взрослая, почти женщина, и, чтобы соблюдать приличия, не должна делить постель ни с каким другим мужчиной, кроме мужа. Жанна не выдержала и заплакала, сотрясаясь от горя, ибо она спала рядом с дедом с младенчества, с того дня, когда между двумя воскресеньями умерли от лихорадки ее родители и две сестры. Оказавшись в постели одна, она сразу же вспомнила почти забытое ощущение той потери и много ночей ждала, что дед смягчится. Но этого не произошло, и она привыкла к новому порядку, к своему новому положению взрослой.

Нынче ей снится кладбище, как ковром, покрытое цветами — белыми, розовыми, желтыми и темно-красными. Приятный сон, предвестник чего-то хорошего, и она улыбается, а в это время над ней, над треснутыми, прокопченными дочерна балками, такими же старыми, как и церковь, кот Рагу сидит у теплого дымохода, задумчиво намывая облизанной передней лапой свое драное ухо.

Что-то привлекает его внимание на кладбище, под арками склепов в южной части. Замерев, он пристально смотрит туда, а потом всем телом прижимается к черепице.

Глава 9

— Министр, — говорит месье Лафосс, — принимает ваши предложения. Вы можете получить необходимых вам людей. А также лошадей и крепежный лес. В этом кошельке — распишитесь в его получении здесь и здесь — пять сотен ливров. А это векселя. Их можно обналичить в доме золотых дел мастера Келлермана на Рю-Сент-Оноре. Вы будете обязаны представить нам отчет по каждому израсходованному су. Уверяю вас, министр не сочтет ваш поступок забавным, если, к примеру, обнаружит, что вы потратили пятьдесят ливров на новый кафтан.

Жан-Батист краснеет. Собирается защищаться, но не может сразу сообразить, что может послужить ему оправданием. Что он напился и захотел стать современным? Чтобы в нем *признали* человека современного?

— Касательно же вашего вопроса о том, что следует сохранить в церкви, ответ тот же, что и раньше. Ничего.

— А старый настоятель?

— Вам никто не поручал уничтожать настоятеля.

— Я хочу сказать: не будет ли он протестовать?

— С чего вдруг? Это же не его церковь.

— Но он не отнесется к этому благосклонно…

— Вы не можете справиться со старым настоятелем?

— Могу… конечно.

— Тогда здесь трудностей не предвидится.

— Есть еще музыкант. Церковный органист.

— А он тут при чем?

— Когда церкви не будет, он потеряет место.

— Надо полагать.

— Мне говорили, что он очень искусен. Быть может, министр…

— Вы просите министра озаботиться судьбой церковного органиста? Так вы скоро станете просить и за пономаря.

— Я как раз думал…

— Похоже, Баратт, вы не совсем понимаете, зачем вас сюда вызвали. Начинайте свою работу как можно скорее. И не забивайте голову всякими пустяками. Если не начнете работу к Новому году, вам найдут замену, найдут кого-то более расторопного. Вам ясно?

— Абсолютно ясно, месье. Могу ли я рассказывать о цели моего пребывания здесь? Мое присутствие вызывает подозрения и сплетни.

— Сплетни объяснениями не остановишь.

— А как быть с останками?

— Костями? Вскоре вам будут даны инструкции.

На секунду в беседе наступает неприятная пауза. Маленькие глазки Лафосса оглядывают комнату и ненадолго останавливаются на пианино. Созерцание инструмента, похоже, доставляет Лафоссу тайное удовольствие.

— Вам по вкусу ваше нынешнее жилье? — спрашивает он.

Глава 10

Трудно ли найти тридцать рабочих? В нынешние времена нетрудно. А тридцать хороших рабочих, которые смогут выполнить нужную ему работу?

Он уже решил, где будет искать: на шахтах Валансьена. Там, в ведомостях о выписанном скудном жалованье, перечислены люди, привыкшие к труду, который других убил бы за месяц.

Он пишет Лекёру. Лекёр служит — или служил — одним из управляющих на шахтах северного угольного пласта. Когда Жан-Батист там работал, оба, отрезанные от общества, почти полностью сокрытые в этом сыром и глухом углу Северной Франции, с взвинченными от дыма, шума механизмов и нередко вырывающейся наружу дикой жестокости нервами, заключили своеобразный союз, сдружились, хотя с отъездом Жан-Батиста отношения полностью прекратились.

В те годы они завели обычай, особенно во время первой бесконечной зимы, сочинять утопии, в которых все, что их угнетало — оскорбляло слух, взгляд и молодые сердца, — преображалось в прекрасные фантазии. Любимым творением,

самым желанным и описанным со всеми подробностями, была Валансиана. В Валансиане ради блага и совершенствования каждого человека соединялись экономика и нравственность, добродетель и трудолюбие. Там на площадях стояли небольшие аккуратные домики для проживания семей и спальные корпуса для одиночек, были разбиты парки с чистым воздухом, где могли играть дети, как это делают все прочие дети, играть и расти, быть может, не такими несчастными, как их отцы. В Валенсиане ни одного ребенка младше двенадцати лет не послали бы в шахту. И ни одного младше десяти не заставляли бы наверху возить тележки с углем или работать с бремсбергом и тому подобным. Там открылись бы школы, в которых преподавали бы добрые и образованные люди — такие как Жан-Батист и Лекёр. Церквей бы не было (вечер самого ожесточенного спора), однако на открытых площадках стояли бы статуи подходящих античных богов — Афины, Аполлона, Прометея, но только не Диониса и Афродиты. Кроме того, по настоянию Лекёра было решено, что в Валансиане не будет мест, где мужчины могли бы собираться и пить. Эти фантазии были больше чем игра. Молодые люди даже обсуждали возможность представить свою

утопию в виде книги и, по крайней мере, один вечер по-настоящему мечтали, как, скромные, но уверенные в себе, они будут прохаживаться по столичным салонам.

Интересно, Лекёр все еще на шахтах? Заинтересует ли его кладбище Невинных? Письмо уходит в Лилль с дневной почтой 7 ноября 1785 года.

Когда Жан-Батист спрашивает, где достать лошадей, его ненавязчиво, но твердо направляют к молодому офицеру, с которым он встречается в трактире недалеко от Севрской мануфактуры, что по дороге в Версаль. Молодой чиновник, судя по всему, должен обеспечить все. Не только лошадей.

В своем голубом кафтане и в кремовых чулках (какие у него длиннющие ноги!) молодой человек по имени Луи Горацио Буайе-Дюбуассон, кажется, чувствует себя весьма уверенно. Мимоходом упоминает отца, поместье в Бургундии. Похоже, он знает о работе Жан-Батиста гораздо больше, чем тот успел ему рассказать. Связан ли он с министром? С Лафоссом? Что это? Четко организованная круговая порука, благодаря которой государственные средства переправляются обратно государству или по крайней мере его отдельным представителям? Они договариваются

еще раз встретиться через неделю, чтобы Жан-Батист посмотрел образцы предлагаемых лошадей. Они раскланиваются, и хотя инженер не доверяет военному, напоминающему молодого графа С., он не может хоть немного не помечтать, как было бы хорошо стать таким офицером, чтобы жизнь была для него чем-то вроде удобной рубашки и чтобы в хорошую погоду он мог отправиться к лесам и рекам фамильного поместья в Бургундии.

Погода, впрочем, не улучшается. За парижские трубы цепляются тучи. С востока дует ветер. К середине дня в доме становится слишком темно, чтобы с удобством предаться чтению.

Каждый день Жан-Батист заставляет себя ходить на кладбище, заходить внутрь его ограды, иногда один, иногда в компании девушки, которая говорит о мертвецах у них под ногами как о собственной огромной семье. Она даже делает вид, что может определить, кому принадлежат кости, валяющиеся на земле, — вот челюсть мадам Шарко, а вот бедренная кость месье Мерикура, некогда замерзшего насмерть коваля.

Что до Жан-Батиста, то он предпочитает не знать, что у костей есть хозяева, имена. Если он начнет видеть в них бывших людей, ковалей, матерей, возможно, бывших инженеров, как же

он осмелится воткнуть в землю лопату и на веки вечные отделить ступню от лодыжки, голову от положенной ей шеи?

Вечера в семействе Моннаров на Рю-де-ля-Ленжери оказались не столь безрадостными, как ему представлялось вначале. С месье Моннаром он осторожно и туманно рассуждает о политике. О налогах, о нехватке товаров, о национальных финансах. Месье, что неудивительно, либералом не назовешь. Он пренебрежительно отзывается о Вольтере и Руссо, об их оторванных от жизни идеях, о салонах, о возмутительном духе. Похоже, месье Моннар сторонник порядка, который при необходимости следует устанавливать твердой рукой. Еще хозяин рассуждает о торговле, о делах и о благоприличии владельцев магазинов. В ответ Жан-Батист ограничивается общими замечаниями о желательности реформ, комментариями, против которых возражал бы лишь самый консервативный аристократ. Жизнь должна становиться лучше и справедливее, но как достичь этого на практике, кроме как путем интеллектуального воздействия на все большее число людей, он не знает. А кто-нибудь из присутствующих знает? Однажды вечером он почти готов рассказать о своей старой утопии, Валанси-

ане, но прикусывает язык. Едва ли такой человек, как Моннар, читающий только газеты, способен его понять, да и в любом случае воспоминания Жан-Батиста о ночах, проведенных у чуть теплого очага, который топили углем в комнате Лекёра, не лишено определенной неловкости. Тогда он был моложе и разговорчивее, головы двух приятелей склонялись друг к другу среди теней, и все их мечтания казались удивительно насущными…

С мадам Моннар он обсуждает переменчивость погоды. Не дует ли ветер сегодня несколько сильнее? Когда было холоднее — утром или днем? Каково мнение месье Баратта о вероятности снегопада? Нравится ли ему снег? И *всякий* ли снег?

И, наконец, есть еще Зигетта. Беседы с Зигеттой — иногда за столом, иногда на деревянной скамье у камина или же у окна, выходящего на кладбище, — требуют бóльших усилий. Он пытается говорить о музыке, но она знает о ней еще меньше, чем он, никогда не слышала ни о Клерамбо, ни хоть об одном композиторе из династии Куперенов. Тема театра тоже безнадежна — оба почти профаны, а что касается книг, то совершенно очевидно, что она относится к ним так же, как и ее родители. Он спрашивает Зигетту о ее жизни, но,

похоже, ей скучно говорить на эту тему. Она задает вопрос о его работе, но здесь уже он вынужден напускать туману. Он задумывается, не влюблена ли она, не в него, конечно, вообще в кого-нибудь. Задумывается, желает ли он ее. Толком не может понять. Его интерес к ней, кажется, не сильнее того, что он испытывает к маленькой служанке с волосатыми руками, которая ставит на стол тарелки с ужином. Касательно *женитьбы*… решился бы он? Дочка — очень хорошенькая дочка — зажиточного торговца, многие сочли бы такой брак удачным, выгодным для обеих сторон. Он проводит небольшие мысленные эксперименты, иногда прямо во время разговора, представляя себе их обоих вдвоем в комнате, наемный экипаж, кровать с балдахином, ее дыхание, ставшее свежим благодаря уничтожению кладбища, мешок с папашиными деньгами в запертом сундуке под кроватью… Такие мысли нельзя назвать неприятными, но все же образы эти тонкие, как паутинка. И исчезают так же быстро, как и возникают.

Что касается моннаровской еды, то она все так же поразительно невкусна. Даже яблочный пирог напоминает ему бледно-серебристые грибочки, что растут в самых сырых углах подвала, однако он неизменно съедает все до последней крошки.

Такое отношение к еде было отчасти выработано у него тяжелой отцовской рукой еще в раннем детстве, закрепившись позже с помощью палок и наказаний братьев-ораторианцев в Ножане, а отчасти после пяти недель пребывания в доме Моннаров он просто привык так есть, привык ко всему. Когда ужин закончен, Жан-Батист удаляется в свою комнату, к своему шлафроку и к страничке-другой Бюффона. Затем ложится в постель, задувает свечу, произносит свой катехизис. Он не задается вопросом, счастлив он или несчастлив. Этот вопрос отложен. На нёбе образовались две язвочки, которые он трогает кончиком языка, лежа в темноте. Пахнет ли *у него* изо рта? И если да, узнает ли он сам об этом? Но в голову не приходит, у кого он мог бы спросить.

* * *

Пятнадцатого он вновь встречается с Луи Горацио Буайе-Дюбуассоном. На дворе сумерки. Они расположились в поле за таверной, в которой виделись ранее. Лошади — всего их пять — стоят под легким дождичком. Их держат в поводу двое солдат, и каждый в своей неловко сидящей форме похож скорее на ребенка, чем на солдата.

Жан-Батист прохаживается вокруг лошадей, а

потом просит, чтобы их провели вокруг него. Вот отец умел выбирать лошадей. Быть может, эта способность передалась по наследству сыну, но сейчас, стоя под моросящим дождем, Жан-Батист чувствует, что он всего лишь подражает отцовской повадке, едва заметным движениям его глаз и рта, по коим можно было судить о принятом решении.

— За хромых и больных я платить не стану.

— Естественно, — отвечает офицер. — Кто же станет?

— И вы будете держать их в конюшне, пока они не понадобятся?

— Они будут вас ждать.

Оставив молодых солдатиков под дождем, Жан-Батист и Буайе-Дюбуассон ретируются в таверну, чтобы заключить сделку. Просят отдельную комнату, которую им сразу же предоставляют. Жан-Батист оставляет задаток в сто ливров. Требует расписку. Офицер удивленно вскидывает бровь, но потом улыбается, словно вспомнив, с кем имеет дало, каков социальный статус покупателя. Выпив бокал безвкусного вина, они выходят туда, где в поле сбились в кучу лошади и мальчики-солдаты, превратившиеся в какое-то невероятное многоголовое существо, окутанное

пеленой дождя.

Приходят два письма. Мари передает их Жан-Батисту на лестнице. Лицо служанки может принимать не так много разных выражений, но все они впечатляют и даже способны выбить из колеи.

Поблагодарив, он уносит письма к себе. В углу первого письма черный отпечаток измазанного в саже пальца. Жан-Батист ломает печать. Письмо от Лекёра. Если судить по кляксам и почерку, кажется, что письмо писали второпях, чуть ли не верхом на коне, местами его невозможно разобрать, но общий смысл совершенно ясен. Как рад Лекёр получить весточку от своего старого друга! Жизнь на шахтах такая же отвратительная, как и раньше, только теперь ее уже не скрашивает компания умного собеседника. Новые управляющие — а никто не выдерживает здесь больше года — имеют лишь самое поверхностное образование, да и то связанное с промышленностью. Что до шахтеров и их ужасных жен, то они продолжают жить, как плохо выдрессированные собаки. Относительно того, чтобы нанять их на работу, то, как всегда, на шахтах избыток рабочей силы и связанные с этим трудности. Найти тридцать или шестьдесят человек не проблема. Что это за про-

ект, так соблазнительно маячащий на горизонте? Да еще в Париже! Может, есть нужда в человеке, который хорошо знает рабочих и способен как следует управлять ими? Человек добросовестный и рассудительный. Друг-философ, кто же еще?

Второе письмо, на хорошей бумаге и писанное безукоризненным почерком, от некоего де Вертея из Академии наук. В нем говорится о приготовлениях, осуществляемых в каменоломне неподалеку от Врат ада, к югу от реки, для перевозки останков из церкви и с кладбища Невинных. Был приобретен дом с ведущей в погреб лестницей, у которой продлили ступеньки, так что теперь она доходит до старого карьера. В саду есть колодец более трех метров в окружности, также соединяющийся с каменоломнями. Последние достаточно сухи и пригодны для известных целей. Когда все будет готово, епископ освятит соответствующие проходы и помещения. После этого месье инженер сможет начать перевозку. Не сообщит ли месье инженер приблизительное количество костей, которое следует ожидать?

Жан-Батист складывает письмо и убирает в блокнот. Количество костей? Он не имеет об этом ни малейшего представления.

Глава 11

Перед отъездом в Валансьен Жан-Батист разыскивает Армана и рассказывает ему обо всем. Он не привык секретничать, и скрытая от людей правда сидит у него в печенках как неудобоваримое желе, которым его потчуют у Моннаров. Он понимает, что это неизбежное влияние религии его матери, ее неумолимого подчеркивания примата совести, требование беспрестанного морального отчета перед самим собой. Но кроме того, это и желание поделиться с единственным в Париже человеком, которого он не без оснований называет своим другом, ибо они встречались три или четыре раза после того первого дня, подтвердив тем самым свой интерес друг к другу и удовольствие от взаимной непохожести. Да и в любом случае все и так скоро выйдет наружу. Лучше сейчас, чем когда тридцать горняков диковатого вида прошагают по двору церкви с кирками и молотками.

Он находит Армана (в середине холодного утра) на Рю-Сен-Дени. Органист добродушно шутит с молоденькой продавщицей креветок и время от времени — не сводя глаз с девушки — прихваты-

вает одно из маленьких розовых телец с подноса у нее на голове. Арман здоровается с Жан-Батистом, берет его за руку, ведет прогуляться по улице, слушает неловкое предисловие, прервав, чтобы показать парочку грустных собак, совокупляющихся в канаве у магазина шляпника, и, прежде чем Жан-Батист успевает во всем признаться, приглашает его вечером к себе на ужин.

— Будут Лизины сорванцы, но еда у нее всегда приличная. И уж точно не отдает кладбищем. А потом придут еще гости.

Они договариваются о встрече у итальянского фонтана ровно в семь. Жан-Батист приходит за десять минут до назначенного часа, но вынужден ждать Армана еще сорок минут. От того не слышится никаких извинений, никаких оправданий. Наконец они вместе отправляются к Арману, переходя от одного небольшого пятна света к другому, и по дороге органист, размахивая руками с длинными белыми пальцами, на обрывках греческого и церковной латыни поет панегирик красоте и идеальным *размерам* груди своей домохозяйки.

До Рю-дез-Экуфф идти минут двадцать в сторону Королевской площади и Бастилии. На первом этаже находится мастерская, где делают и ре-

монтируют зеркала, и два приятеля на минутку останавливаются перед одним, выставленным на витрине, хотя вокруг слишком темно, чтобы что-то увидеть, кроме их собственных на миг замерших очертаний. На ощупь они пробираются вверх по лестнице — три пролета крутых деревянных ступеней — до двери квартиры. На кухне Лиза Саже с детьми. Здесь светло, горит огонь и пахнет едой. Арман приветствует свою домохозяйку смачным поцелуем в лоб, ерошит ребятам волосы. На вертеле жарится курица, и Лизиной дочке поручено ее поворачивать. Она окидывает взглядом Жан-Батиста, улыбается Арману. Если не считать совершенно плоской груди, девочка — миниатюрная копия своей мощной матери.

— Месье Баратт, — представляет его Арман, повернувшись к буфету в поисках бокалов и бутылки, — тот, что теперь живет в моей комнате у Моннаров.

Женщина явно о нем слышала. Она сидит в конце кухонного стола и стряпает какое-то блюдо из куриных потрохов. Поднимает глаза и внимательно разглядывает Жан-Батиста, человека с серыми глазами, который выглядит таким растерянным в своем зеленом кафтане.

— Он ужинает с нами? — спрашивает она.

— Конечно, — говорит Арман. — Он еще ни разу не ел приличную пищу с тех пор, как приехал в Париж.

Жан-Батист садится на табурет у стола. Лицом к огню и маленькой девочке. Ее братец, почесывая зад, следит из-за плеча Жан-Батиста за сестрой, завидуя данному ей поручению.

— И что Моннары? — спрашивает женщина, орудуя ножом.

— Полагаю, у них все хорошо, — отвечает Жан-Батист, понимая, что вообще-то его спрашивали не совсем об этом.

— Надо будет найти ему другое жилье, — говорит Арман, — если он намерен здесь задержаться.

— А он намерен? — спрашивает женщина.

— Кто его знает, — отвечает Арман. — Он почти ничего не рассказывает.

Жан-Батист разглядывает свои фисташковые манжеты, прикидывает, достаточно ли чистый стол и не лучше ли будет снять кафтан.

— Я задержусь на некоторое время, — говорит он. — Но не могу точно сказать, как надолго.

— Я бы не могла жить прямо у кладбища, — говорит женщина. — Даже не представляю, кто на это способен. А живут-то годами. Мне хватает

Армана, который приносит оттуда этот кладбищенский запах.

— Она моет меня с лимонным соком, — говорит Арман, — мылом из листьев шалфея и пепла. Окуривает розмарином…

— А не лучше ли будет, — говорит Жан-Батист, — убрать кладбище?

— Убрать? — хмыкает женщина. — И как, по-вашему, убрать такое кладбище, как кладбище Невинных? Это все равно что убрать реку.

— Это можно сделать, — тихо говорит Жан-Батист. — И то и другое.

Арман, который копался в волосах ребенка, разгребая каштановые кудряшки в поисках вшей, останавливается и глядит на Жан-Батиста.

— Так ты за этим приехал? Убрать кладбище?

— Конечно, это нелегко, — отвечает Жан-Батист. — Потребуется несколько месяцев.

— Он такой же, как все твои друзья, — говорит Лиза. — Всегда готовы заявить, что луна — это миска супа, если думают, что им кто-то поверит.

— А мне кажется, — медленно произносит Арман, — он не шутит.

— Это возможно сделать, — повторяет Жан-Батист. — И это будет сделано.

— Все кладбище? — спрашивает Арман.

— Кладбище. Церковь.

— Церковь?

— Некоторое время ее не тронут. Может, целый год.

— Значит, — мягко говорит Арман, — сегодня пришла пора все рассказать.

— Я бы с удовольствием сообщил тебе об этом раньше. Но мне было велено держать язык за зубами.

Теперь и женщина оторвалась от куриных потрохов.

— А его должность? — спрашивает она. — Тоже уберут?

— Я… говорил на эту тему, — отвечает Жан-Батист.

— С министром? — спрашивает Арман.

— С человеком, который его представляет.

— И могу я на что-то надеяться?

— Я поговорю с ним еще раз.

Наступает тишина, которую наконец нарушает резкий окрик Лизы, адресованный дочери: девочка, прислушиваясь к интересному разговору взрослых, забыла про курицу.

— Думаю, — говорит Арман, — думаю, мне надо тебя поблагодарить.

— Поблагодарить? — удивляется женщина. —

За что?

— Церковь, моя милая, закрыта уже пять лет. Не могу же я без конца играть Баха летучим мышам.

— Все это сказки, — говорит женщина, вновь берясь за нож. — Вы, наверное, по дороге заглянули к Джеко.

— Если бы это не поручили мне, — говорит Жан-Батист, — поручили бы кому-нибудь другому. Хотя я не могу осуждать вас… за то, что вы обижаетесь.

— Разве речь об обиде? — говорит Арман и тянется за бутылкой. — Нельзя обижаться на будущее. Равно как и на его вестников. — Он наполняет бокалы. — Давайте-ка выпьем за ту страну теней, в которую все мы когда-нибудь придем, одни пешком, другие — сидя на заднице, с причитаниями.

Девочка смеется. Через мгновение ей вторит мальчик. Но Лиза не обращает на них внимания.

Все принимаются за еду. Ужин действительно самый вкусный из всех, что ему довелось отведать с тех пор, как он приехал в Париж, хотя трапеза была бы еще приятнее, если бы удалось хоть немного побороть неприязнь женщины, которая подала ему курицу с таким видом, будто она

с бóльшим удовольствием прогнала бы его вертелом за дверь. О кладбище они не вспоминают. У Армана вид задумчивый, слегка отстраненный и рассеянный, но доброжелательный.

После ужина органист разучивает с детьми песню, потом они очень мило ее исполняют. Он просит, чтобы Жан-Батист тоже их чему-нибудь научил, ну, хоть арифметике, и Жан-Батист целых полчаса пытается это сделать. Дети слушают. Ничего не понимают. Он рисует для них на грифельной доске треугольники внутри окружностей, окружности внутри квадратов. Эти картинки сразу же вызывают восторг. Дети стоят по обе стороны от него, в предвкушении какой-нибудь новой хитроумной штуки, которая вот-вот возникнет из-под его пальцев. Девочка доверчиво положила руку ему на плечо.

Но чары рассеиваются, когда в окно ударяет какой-то маленький предмет. Лиза, чье поведение по отношению к гостю стало понемногу смягчаться, встает, охнув с досады. И, взяв свечу, уходит с детьми в дальнюю комнату. Арман выходит в другую дверь и через минуту возвращается в сопровождении троих гостей. Эти трое похожи на студентов, хотя для студентов они слишком взрослые. У одного к лацкану приколо-

та потрепанная шелковая роза, у другого тощая шея завернута в воротник из рыжего меха, а у последнего очки в проволочной оправе нацеплены на нос, с которым впору выступать в комедиях.

— Месье Цветок, Лис и де Бержерак, — представляет вошедших Арман. Гости шутливо кланяются. — Теперь и я стану называться месье Орган. А ты… посмотрим-посмотрим… Ты… гмм… месье Треугольник? Месье Нормандец? Или Кайло? Да, Кайло лучше всего. Мы дадим тебе имя по названию орудия, которым ты будешь откапывать покойников.

— Вижу, ты сводил его к Шарве, — говорит месье Цветок.

— Естественно, — отвечает Арман, ухмыльнувшись в ответ.

За их беседой трудно уследить. Похоже, она состоит из сплетен о мужчинах и женщинах, которые тоже имеют прозвища, точно персонажи какого-нибудь фарса. Когда вино заканчивается, собравшиеся находят кое-что покрепче. Но никто точно не знает, что это такое. В напитке чувствуется легкий привкус миндаля, и в груди разливается приятная теплота. Гости хихикают. Де Бержерак постукивает себя по носу, Лис щупает дыру в подошве башмака так ласково, словно

это не подошва, а пятка.

Пошла ли Лиза Саже спать вместе с детьми? Жан-Батист ждет, что она вернется, в надежде, что тогда он, извинившись перед хозяйкой, сможет удалиться восвояси. Весьма приятно сидеть у огня, смакуя ликер и чувствуя вкус куриного жира на губах, но он уже сделал то, что намеревался, и завтра ему надобно отправляться в Валансьен. А с тяжелой головой ехать не хочется.

Заметив, что он поглядывает на дверь, Арман берет его за руку.

— И не думай, что можешь от нас удрать, месье Кайло. Мы еще не закончили.

Допив ликер, компания молча глядит на догорающие угольки камина. В комнате становится холодно. Ничего не происходит. Уже полночь? Или еще позже? Но вот без всякого предупреждения Арман встает. Выходит, однако почти тут же возвращается с двумя большими стеклянными банками, обернутыми в плетеную солому.

— Полагаю, господа, — шепчет он, — вы во всеоружии?

Из глубин своих кафтанов Лис, Цветок и де Бержерак достают кисти. Продемонстрировав их Арману, быстро убирают назад.

Компания выходит на улицу. Вокруг сыро. Сыро

и влажно, настоящая зимняя ночь, ничего романтического. Жан-Батист застегнул редингот до подбородка, но вновь жалеет, что под рединготом нет его старого кафтана.

Следом за Арманом они идут по узеньким улочкам, что за Рю-Сент-Антуан. Город принадлежит им — вокруг никого не видно. Это тот недолгий час, когда прилив городской жизни сменяется отливом, когда последние винные лавки уже извергли своих бедолаг, но еще не появились телеги рыночных торговцев, большие шестиколесные повозки с фонарями, болтающимися по обеим сторонам, и вереницы лошадей, этих бедных животных, которые всю ночь шли с ферм и из деревенских садов с навьюченными на них скрипучими плетеными корзинами.

Компания проходит по Рю-Нёв и Рю-дель'Эшарп к колоннадам Королевской площади… Что именно они, пьяные, задумали, торопливо перебегая через площадь с банками, полными краски, будет непросто объяснить, попадись им по дороге дозор. А если Жан-Батисту — только что назначенному на должность инженера — придется объяснять свои действия Лафоссу? Министру? (*У меня не было выбора, милорд. Я чувствовал, что в тех обстоятельствах не могу отказаться*

от того, что казалось всего лишь прогулкой. Если бы я знал, что эти люди, с которыми я только что познакомился, намереваются сделать…)

Они выходят на Рю-Сент-Антуан, переходят на другую сторону, минуют церковь Святой Марии, где дюжина нищих, свернувшись калачиком на ступеньках, ждет первой пятичасовой мессы, надеясь получить монетку от какой-нибудь благочестивой вдовы.

Перед ними — на расстоянии около ста пятидесяти метров — крепость Бастилия, ее стены и башни черными громадами неуклюже выступают из окрестной ночи. Бастилия царит надо всем вокруг, однако в то же время производит впечатление какого-то существа, загнанного в угол или попавшего в ловушку, напоминая последнего из василисков, вставшего на дыбы, страшного и исполненного бессмысленной мощи. А за этими стенами? Что? Сотни несчастных, закованных в цепи людей, заживо погребенных в подземельях? Или там все те же камни да спертый воздух, и лишь несколько закрытых на ключ помещений отведены скучающим, но не особенно обеспокоенным своей судьбой пленникам, господам бумагомарателям, которые, сочинив сатиру на королевскую фаворитку, оказались оторванными

от своих занятий королевским указом о заточении без суда и следствия.

Они останавливаются у дверей какой-то мастерской, внимательно оглядывают улицу, натягивают шляпы на лоб, а потом, после быстрой команды Армана, несутся вперед, пригнувшись, вдоль фасада крепости, прямо к трем аркам прилегающих к ней ворот Сент-Антуан. Именно здесь на каменных воротах правительство вывешивает свои указы и объявления. О повышении соляного налога, о новых штрафах за незаконную ловлю рыбы в Сене, о запрете выливать горшки с испражнениями на улицу между шестью утра и шестью вечера. Указывается день проповеди, которую прочтет королевский капеллан в часовне Сент-Шапель. День и час клеймения, повешения.

Марание этих объявлений — часть взаимоотношений народа и правительства. Случается, какого-нибудь особенно неуемного нарушителя хватают дозорные, но как правило, оскорбительные надписи, адресованные королеве («Австрийская шлюха!») или отъявленному мошеннику-откупщику, не привлекают особого внимания властей.

Нынче ночью свеженаклеенные объявления подпортят Лис, Цветок, де Бержерак, Орган и Кай-

ло — пришла их очередь. Все делается меньше чем за минуту. Жан-Батист держит одну из банок, а Лис так яростно размахивает кистью, что щеки инженера покрываются брызгами. Он даже не может разглядеть, что именно Лис пишет, разве что слово «НАРОД!». Потом с кистями и красками они удирают, точно мыши из кладовой.

Запыхавшись, возвращаются на Рю-дез-Экуфф, и Арман приглашает их отпраздновать ночную вылазку. Он уверен, что где-то спрятана еще одна бутылка миндального ликера — может, под кроватью. Жан-Батист приносит свои извинения. Час поздний, утром надо ехать… Он вежливо, даже дружески, всем кланяется, но они уже отвернулись от него, возможно, обиженные на отсутствие в нем солидарности, коллективистского духа.

Прижав редингот к шее, Жан-Батист переходит улицу. От камней мостовой поднимается туман, он уже поглотил доходящие Жан-Батисту до бедра указатели улиц, окна первых этажей и вскоре будет лизать вывески из дерева и кованого железа с изображением того, что продается в лавке, — гигантской перчатки, пистолета размером с небольшую пушку, пера не меньше шпаги, болтающихся на железной стреле. Жан-Батист не беспокоится. Он достаточно хорошо знает дорогу,

изучил все улицы квартала, хотя, возможно, забыл, что ночной город несколько отличается от дневного. И его отвлекают напряженные мысли о том, что, собственно, он сам думает о пробежке по улицам с банкой краски. Захватывающее приключение? Теперь, когда все кончилось, он вынужден признать, что да, пожалуй. Но в то же время утомительно, абсурдно, по-ребячески несерьезно, ибо что вообще можно изменить, носясь по городу и рисуя на стенах лозунги? Да и люди какие-то странные. Что-то есть в них чудно́е, что-то, с чем ему не хотелось бы связываться, некий род безрассудства. Удивительно, что Арман водится с такими людьми, хотя для него это, наверное, лишь предлог для ночного пьянства. Женщина его заинтересовала, даже понравилась, несмотря на ее резкость. И дети тоже. Он получил удовольствие от их компании, от столь милого внимания, с которым они следили, как аккуратно он рисует фигуры на грифельной доске.

Он останавливается и, нахмурившись, вглядывается в туман. Он уже должен был выйти на Рю-Сен-Дени, чуть выше Рю-о-Фэр. Но вместо этого он… где? Эту улицу он вовсе не узнает. Может, зашел слишком далеко на север? Он ищет левый поворот, проходит почти полкилометра, прежде

чем обнаруживает какой-то с виду подходящий переулок, идет по нему вперед, но с каждым шагом все больше теряет уверенность в правильности выбранного направления. Ему кажется, что он уже не в центре Парижа, а на изрытых колеями улочках Белема, и вдруг он видит поднимающиеся прямо над ним контрфорсы церкви, большой церкви. Святого Евстафия? Туман уже такой густой, точно дым от костра. Жан-Батист продвигается медленно, осторожно. Если это и в самом деле церковь Святого Евстафия, тогда он теоретически точно знает, где находится, но он боится, что вновь одурачен туманом и придется остаток ночи провести в блужданиях по неузнаваемым улицам, проходить мимо зданий, похожих на пришвартованные корабли.

Неожиданно впереди — звук шагов. Здесь есть кто-то еще, кто-то, кто, судя по быстрому и легкому постукиванию каблуков, совершенно уверен в том, куда идет. В звуке нет ничего зловещего, ничего откровенно опасного, но все же в душе инженера начинает ворочаться страх. Что за человек бродит по городу в такой час и в такую ночь? Может, это слежка? За ним следили от самых ворот Сент-Антуан? Жан-Батист роется в карманах в поисках чего-то, чем можно

себя защитить, но не находит ничего страшнее кладбищенского ключа. В любом случае уже слишком поздно. Пелена тумана рассеивается. Фигура, тень, тень в плаще… Женщина! Женщина, погруженная в раздумье, потому что замечает Жан-Батиста только в метре от него — и сразу же останавливается. Три-четыре секунды они, замерев, глядят друг на друга с первобытной настороженностью, потом поза каждого несколько расслабляется. Он ее знает. Точно знает. Плащ, рост, прямой взгляд, озаренный странным туманным свечением, легким голубоватым светом, исходящим отовсюду и неоткуда. Но помнит ли она *его*? С чего бы?

— Я шел домой, — тихо, почти шепотом, говорит он. Она кивает, ждет. Она его помнит! Он видит, что помнит. — И заблудился.

— На какой улице ваш дом? — спрашивает она таким же едва слышным голосом.

— На Рю-де-ля-Ленжери.

— У кладбища.

— Да.

— Это недалеко, — говорит она. — Можно пройти через рынок.

Она смотрит на ту улицу за его спиной, на которую ему надлежит свернуть.

— Я видел тебя раньше, — говорит он.

— Да, — отвечает она.

— Ты помнишь?

— Вы были с музыкантом.

— А ты Элоиза, — говорит он.

— Вашего имени мне не назвали.

— Кайло.

– *Кайло*?

— Жан-Батист.

Он делает к ней шаг. Потом, через секунду, другой. Они стоят совсем рядом, отгороженные от мира туманом. Подняв руку, он дотрагивается до ее щеки. Она не вздрагивает.

— Ты меня не боишься? — спрашивает он.

— Нет, — говорит она. — А надо бояться?

— Нет. Нет никаких причин.

Его пальцы все еще трогают ее кожу. Он и сам не понимает, что делает, какая сила толкает его — его опыт общения с женщинами совсем невелик. Возможно, он ведет себя так, потому что она шлюха? Но в этот непредвиденный час слова вроде «шлюха», «инженер», «Элоиза» или «Жан-Батист» пусты, как яичная скорлупа.

— Так значит, поворачивать там? — спрашивает он, неожиданно придя в себя и опустив руку.

— Там, на углу, — говорит она.

Он бормочет слова благодарности и уходит. Рынок он находит довольно легко. Это уже город внутри города — с добродушным подшучиванием, с пятнами фонарей и лучин, хотя пройдет еще часа два, прежде чем здесь появятся первые посетители. По другую сторону рынка — угол Рю-о-Фэр, черная стена кладбища, влажные от тумана булыжники Рю-де-ля-Ленжери…

Когда он открывает дверь дома Моннаров, что-то проносится вверх прямо перед ним. Он возится у стола при входе, умудряется зажечь свечу. Рагу уже уселся у двери в погреб, прижав свою тупую мордочку к щели под дверью. Он поднимает на Жан-Батиста взгляд, словно ожидая от него помощи. Жан-Батист протягивает к щели руку и чувствует, как из-под двери тянет холодом, таким, какой ощущается в дыхании человека на последней стадии лихорадки. Инженер ставит свечу на дощатый пол у двери, но пламя тотчас съеживается и, прежде чем он успевает поднять свечу, совсем затухает.

Глава 12

Остаток ночи он лежит с ослепительной ясностью в голове, вызванной бессонницей и неизвестным напитком. Вновь и вновь вспоминает встречу с той женщиной, с Элоизой, но вот эта сцена делается непостижимой, и он входит в какое-то иное, полугипнотическое состояние, в котором видит, как медленно раскрывается настежь дверь погреба, а он, как завороженный, продвигается к площадке лестницы — лестницы, которую он раньше никогда не видел…

С первым лучом солнца Жан-Батист одевается. Дважды протирает зеркало рукой, прежде чем понимает, что черные точки вовсе не на стекле, а на его лице — награда за то, что держал месье Лису банку с краской. Воды для умывания нет. Выругавшись, он выбирается из дома.

В почтовую карету на Рю-оз-Ур Жан-Батист садится последним. Забравшись внутрь, он устраивается напротив священника с серебристо-седыми волосами. Рядом со священником (который под черной накидкой легонько ощупывает свой живот, испытывая, судя по всему, некоторое недомогание) сидит чета чужестранцев, как

выясняется, англичан. Женщина, опрятная и тепло одетая, расположилась уютно, точно курица. Крупный краснощекий мужчина похож на постаревшего борца-профессионала. Четвертый пассажир — женщина, одна из тех изысканных, окутанных таинственной печалью дам определенного возраста, которые путешествуют в почтовых каретах одни, без сопровождения, и сразу же становятся объектом разного рода предположений. Она глядит в окно с таким видом, словно все еще не теряет надежды, что вот-вот, разрывая клочья вчерашнего тумана, появится некий всадник, кто-нибудь вроде Луи Горацио Буайе-Дюбуассона, и попросит ее остаться. Впрочем, никто не появляется.

В дверях почтовой конторы кучер выпивает на посошок. Английская чета ест вареные яйца. Священник читает небольшую книгу, почти касаясь страницы кончиком носа. Изысканная дама вздыхает. Жан-Батист — не евший ничего, кроме курицы, да и то вчера вечером, — закрывает глаза и погружается в такой глубокий сон, что не чувствует ничего вокруг, и лишь через три часа, внезапно проснувшись, видит сквозь забрызганное грязью окошко, как мимо проплывает зимний сельский пейзаж, и понимает,

что от Парижа их уже отделяют многие лье. Ему улыбается англичанка, качая головой. Ее муж, а с ним и священник, сидя рядком, похрапывают, причем каждый в своем ритме.

Карета подъезжает к холму. Лошади едва ее тащат. Кучер, заглянув через люк в крыше, спрашивает, не соблаговолят ли мужчины подняться в гору пешком. Мужчины соблаговоляют и бредут вверх по грязи, рассуждая попутно о грязно-коричневом ландшафте, что виднеется по обе стороны дороги. На вершине холма они снова садятся в карету, покрыв грязью пол, а потом хватаются за ремешки, когда лошади долго бегут вниз по скользкому склону до следующей деревни, где, ко всеобщему удовольствию, путешественники останавливаются на обед.

Затем, после того как все выпили к обеду немало белого вина, следует час ни к чему не обязывающих разговоров и далее еще час послеобеденного сна в карете, которая раскачивается, словно лодка, а за окошками между тем мелькает мир, оставленный без внимания и лишенный названия.

Через два часа после наступления темноты они приезжают в Амьен и, миновав старые городские ворота, выворачивают шеи, чтобы разглядеть

хотя бы тень амьенского собора. На постоялом дворе уже расположилась группа паломников. Вновь прибывшим приходится устраиваться в тех помещениях, которые еще свободны. Жан-Батист со священником укладываются на чердаке, и тот, покуда не потухла свеча, приглашает его вместе помолиться. Жан-Батисту молиться не хочется, он предпочел бы объявить себя философом, рационалистом, свободомыслящим человеком, но он все же вежливо произносит «аминь», вторя священнику и чувствуя былое умиротворение. Они пожимают друг другу руки и задувают свечу. У священника урчит в животе. Он просит прощения. Жан-Батист уверяет, что его это нисколько не беспокоит.

Утром он просыпается и обнаруживает, что его голова лежит на плече священника. Они садятся и вновь пожимают друг другу руки. Такова жизнь, таково путешествие.

Новая карета, новый кучер, свежие лошади. Днем они приезжают в Дуэ. Здесь компания разделяется. Старого священника встречают его молодые собратья из семинарии, английская чета переходит на другую сторону двора к ожидающей их почтовой карете, что держит путь в Кале, а изысканная печальная дама негромко

справляется о ближайшем экипаже до Брюсселя. Жан-Батист, зажав в руках небольшой чемодан, спешит в переполненную коробчонку, идущую в Валансьен. Два часа спустя, закоченевший от холода, он вылезает на Рю-де-Пари. Между городом и шахтами всегда курсирует какой-нибудь транспорт. За десять су инженер получает место в телеге, везущей, судя по запаху, бочки с прогорклым маслом, и прибывает на край шахтерского поселка, как раз когда начинает смеркаться.

Даже в сумерках отчетливо видно, насколько прав был Лекёр, сообщая, что после отъезда Жан-Батиста ничего существенно не изменилось. Впереди тот же толстый кожух из хибар и лачуг, словно это лагерь ведущей осаду армии уныло припал к земле без всякой веры в победу. Горит несколько десятков небольших костров, вокруг каждого заметны силуэты мужчин и женщин. По краям дороги натужно играют дети, и некоторые, изнуренные и нелюбопытные, прерываются, чтобы взглянуть на проезжающую повозку. Дороги и улицы были построены компанией. Самым первым давали названия вроде «авеню Угля», «авеню Будущего» и даже «авеню Богатства». Позднее улицам просто присваивали номера: Рю 1, Рю 2. В центре поселка глаз различает

более темную и мрачную зону, состоящую из дыма и приглушенного грохота. Это сами шахты. Управляющие живут к востоку от разработок. Попутный ветер неизменно несет с собой пыль от угольных пород и дробимого камня. На этой территории стоят захолустные бараки — по шесть на квартал. Каждый шестой — жилище управляющего, как правило, человека одинокого. Это не то место, куда можно привезти жену. И уж точно не то, где можно надеяться ее найти. Старшие управляющие живут в Валансьене. А владельцы предприятия и держатели акций — в Париже, где шахты предстают их воображению в виде чудодейственных нор, из которых так просто черпать деньги.

Уже несколько часов люди с опаской ждут снегопада. И вот наконец, как раз когда инженер входит на территорию управляющих, начинает сыпать снег. Жан-Батист помнит дом Лекёра, ибо почти год его собственное жилье было рядом — второе и третье здания второго квартала. Под окном у Лекёра когда-то был разбит маленький садик, небольшая полоска возделанной земли, на которой тот летом выращивал лук, салат и ноготки. Теперь от нее не осталось и следа.

Жан-Батист стучит в дверь, ждет, вновь стучит.

Снег ложится ему на плечи, на поля шляпы. Он уже готов постучать в третий раз, когда дверь со скрежетом открывается, и на пороге появляется Лекёр со свечой в руке. Пламя колышется и дрожит на ветру.

— Товарищ! — восклицает он. — О, мой добрый друг! Я чуть с ума не сошел от ожидания!

Свеча затухает. В темноте они проходят по небольшому коридорчику. Оказываются в гостиной. Свеча, после поисков необходимых средств, зажигается снова. Лекёр стоит посреди комнаты, ликующий, возбужденный, слегка пошатываясь.

— Ты помнишь? — спрашивает он. — М-м-м? Видишь самого себя в этом самом кресле?

— Вижу, — говорит Жан-Батист.

Он оглядывает комнату — засаленное кресло, тощий огонек, портретные силуэты матери и сестры Лекёра… Постоянство, отсутствие перемен — здесь они, как и в колонии шахтеров, явно дурного свойства.

На столе накрыт ужин. Несколько ломтей маринованной телячьей головы, картошка в мундире, хлеб с тонким слоем прогорклого масла еще с предыдущего привоза. В центре стола — бутыль с прозрачной жидкостью, которую Лекёр разливает в две рюмки и, тотчас выпив свою, протягивает

Жан-Батисту вторую. Они сидят друг напротив друга. Жан-Батист еле отпиливает кусок от телячьей головы у себя на тарелке (на вкус кажется, что бедолагу мариновали в собственных слезах). Мелкими глотками пьет жидкость из бутылки, видит черные хлопья снега, беззвучно бьющие в оконное стекло.

Прошло три года с тех пор, как они виделись в последний раз — торопливые объятия под моросящим дождиком на почтовой станции в Валансьене. Какая тяжесть свалилась на его друга за это время, если он превратился в такую развалину? Ведь ему не больше тридцати пяти, скорее, даже меньше, а выглядит он на все пятьдесят. К тому же явно нездоров. Во рту почти нет зубов. Распухший, изрытый ямками нос покрыт сетью красных кровеносных сосудов. Он ужасно худ и взвинчен. Начав говорить, не может остановиться, и рассказ, поначалу звучавший довольно беззаботно, постепенно обрастает жалобами, горькими причитаниями, за которыми все время стоят шахты, этот левиафан, пожиратель человеческих жизней.

И вот так Лекёр проводит вечера? Наедине с бутылкой выкрикивая обвинения в пространство? На нем жилет из свалявшейся коричневой

шерсти, связанный, наверное, несколькими незамужними родственницами, для которых молодой Лекёр, Лекёр с зубами, когда-то воплощал последнюю надежду семьи. Когда он наконец замолкает и вновь с любовным вздохом тянется к бутылке, Жан-Батист принимает решение забрать его, если получится, с собой в Париж. Здесь Лекёр и до следующей зимы не доживет. Неужели он и в самом деле утратил все свои прежние дарования? Свою замечательную способность к рассуждению, которая некогда была ему присуща? С министерскими деньгами и министерскими полномочиями Жан-Батисту, возможно, удастся его вызволить. Риск, конечно, есть. Насколько далеко все зашло? Но, говоря по чести, Лекёра нельзя оставлять в Валансьене.

Жан-Батист обдумывает, что ему предстоит, рисуя в воображении яркую картину первого дня работ на кладбище Невинных: он сам стоит на каком-то помосте или лесах, внизу ровные ряды рабочих с лопатами, но тут Лекёр неожиданно спрашивает:

— Ты женился?

— Нет, — отвечает Жан-Батист, и в голове его — непонятно почему! — мелькает тень Элоизы, шлюхи Элоизы.

— Я так и думал, — говорит Лекёр. — Женатый не наденет такой костюм.

— А ты? — спрашивает Жан-Батист. — У тебя есть… кто-нибудь на примете?

Улыбнувшись, Лекёр качает головой и смотрит в огонь.

— Я уже давно не общаюсь с женщинами.

В три тридцать утра звонит колокол. Первая смена, первый спуск — в четыре. В комнате наверху просыпается Жан-Батист. Смотрит в окно, но на улице ни проблеска света. Он спускает ноги с кровати. В комнате холодно. Даже смешно. Как хорошо он все это помнит!

В гостиной он находит Лекёра уже полностью одетого. На его лице застыла маска сосредоточенности: обеими руками он наполняет рюмку из теперь уже почти пустой бутылки. Потом ставит бутылку, тянется губами к краю рюмки и отпивает первый глоток, не поднимая рюмку со стола.

— Тебе налить? — спрашивает он.

— Может, после, — отвечает Жан-Батист.

Накануне они немного поговорили о плане работ на кладбище, о людях, которые там понадобятся. Лекёр был обнадеживающе деловит. Он уже приготовил список фамилий (Эвербу, Слаббарт, Блок, Рап, Сэн, Винтер…), кратко охарак-

теризовал каждого, сообщив приблизительный возраст, срок службы, моральные качества, насколько они были ему известны, если вообще об этом можно судить. О том, чтобы включить в список собственное имя, сказано ничего не было, но сейчас в стылой гостиной Жан-Батист задает вопрос: может ли он рассматривать кандидатуру Лекёра?

– *Можешь ли рассматривать?*

Бросившись к нему, чтобы схватить за руки, Лекёр задевает бедром угол стола, чуть не перевернув драгоценную бутыль.

— В нашу честь назовут площади! — кричит он. — В честь тех, кто очистил Париж от скверны!

Он начинает плясать джигу — не может удержаться. Жан-Батист, смеясь, хлопает, отбивая ритм. Сегодня он спас человеку жизнь, а сам даже не успел позавтракать.

Почти час, вновь обретя былую увлеченность в беседе, как тогда, когда они сочиняли свою Валансиану, с обменом аргументами и контраргументами, они обсуждают необходимые приготовления. Перевозку рабочих, их размещение в Париже. Гигиену, дисциплину, жалованье. Все трудности, с которыми придется столкнуться,

от холодной погоды до ужасных привидений.

— А место, — спрашивает Лекёр, — куда будут перевозить останки?..

— Старая каменоломня.

— Она уже подготовлена?

— Скоро будет.

— Но там сухо? Здесь мы используем новую помпу, сконструированную по английской модели. Она работает быстрее, чем все те, с которыми мы имели дело раньше.

— Я отвечаю за кладбище. Когда телеги отправятся со двора…

— Как глубоко надо копать?

— Говорят, некоторые общие могилы уходят на глубину до тридцати метров.

— Ого!

— Надеюсь, большинство все-таки ближе к поверхности. Но для рабочих это будет не слишком приятное занятие.

— Во всяком случае, — говорит Лекёр, — не хуже, чем ползать под землей с киркой, не зная, когда наткнешься на «мертвый» воздух или когда за спиной обрушится туннель. За последнюю неделю мы потеряли троих. Погребло заживо. Люди не укрепляют туннели как следует, потому что знают, что за это им не заплатят. Платят-то

только за добытый уголь.

За окном день, похоже, так и не стал светлее. Слабые порывы ветра со снегом снова бьются в стекло. Жан-Батист начинает действовать. Он вовсе не собирается застрять здесь надолго.

— Я оставлю тебе денег. Распорядись ими по своему усмотрению. Если потребуется, можешь говорить от лица министра. Но все нужно сделать без проволочек. Если будем копаться, уверяю тебя, нас обоих спишут со счетов. Об этом мне недвусмысленно дали понять.

– *Amicus certus in re incerta cernitur*?[7] — говорит Лекёр, усмехаясь и потирая руки. — А теперь не желаешь ли что-нибудь пожевать? Может, пару ломтиков телятины?

Он вынимает ее из висящего на стене ящика для хранения мяса и любовно держит в руках. Бедная разрубленная на куски голова.

---

[7] Примечания: 7

Надежный друг познается в ненадежном деле (*лат.*). *Ср. русск.*: друг познается в беде.

Глава 13

В Париже тоже идет снег. И он уже смешался с пеплом, сажей, грязью, навозом. На более богатых улицах, где и дома побогаче, его уже смели в серые пирамиды. В других местах в нем проделали тропинки колеса телег, копыта и сабо пешеходов. На кладбище снег лежит на перекладине креста проповедника, осторожно укладывается на каменные крыши *lanterns des morts*[8], покрывает кладбищенскую стену, покатые крыши склепов.

Лопатой, позаимствованной из дома пономаря, Жан-Батист постукивает в землю, но чувствует, что земля не поддается, слышит ее сопротивление, приглушенный звон, словно бьет во что-то железное. Хорошо хоть вонь немного поутихла. Его даже не тошнит. Явного отвращения он не испытывает.

Из церкви, наклонившись под притолокой, выходит Арман и идет через кладбище. Его волосы кажутся единственным ярким пятном, оставшимся в этом мире.

---

[8] Примечания: 8

Кладбищенские фонари (башенки с фонарем, указывающие на кладбище) (*фр.*).

— Вижу, — говорит он, кивая на лопату, — ты оправдываешь свое прозвище, месье Кайло.

— С такой землей, — отвечает Жан-Батист, — лучше бы действовать топором.

— Ты же знаешь, земля может оставаться замерзшей не один месяц, — веселым голосом продолжает Арман.

— Этого не будет.

— Потому что министр не разрешит? Очень хорошо. Но думаю, до Рождества ты не станешь копать. Поезжай домой. Чтобы вспомнить, кто ты есть.

Жан-Батист кивает, постукивает краем лопаты у самых своих ног. Домой. Было бы здорово. Ему до боли хочется уехать.

— А ты? — спрашивает он.

— На Рождество? Сначала я буду три дня пить, а Лиза будет поносить меня за то, что я такая скотина. Потом протрезвею и стану часами заниматься с ней любовью, затем пойду с нею и детьми на мессу в церковь Святого Евстафия. Там мне придут в голову нечестивые мысли о чьей-нибудь молоденькой женушке, сидящей на скамье передо мною. Даст бог, прижмусь к ней у алтарной преграды, когда будем причащаться.

— Что там твои друзья? Лис, Цветок и де Бер-

жарак?

— А-а, тебе они не слишком понравились, верно? Честно говоря, в них мало что может нравиться. Между прочим, краска у тебя на щеке со временем сойдет. А пока можешь делать вид, что это у тебя «мушки» — для красоты. Кстати, о красоте…

От домика пономаря к ним идет Жанна с тяжелой шалью на плечах. Поднимает в приветствии свою розовую ручку.

— Вы вернулись, — говорит она.

— Да, — отвечает Жан-Батист.

— А я все думала, куда вы подевались.

— У меня были дела, — говорит он, — в другом городе. Я уезжал.

— Хорошо, — говорит она. — Удачно съездили?

— Цель была достигнута, — отвечает Жан-Батист.

— А она знает, какова цель-то? — спрашивает Арман. — Знает она, что ты нам уготовил?

Жанна смотрит на Армана, потом на Жан-Батиста.

— Вы нам что-то уготовили? — спрашивает она.

— Уготовили другие, — говорит Жан-Батист. — Важные люди.

— О, — восклицает она.

— Действительно, о! — вторит Арман.

— Наверное, ты, Жанна, все это время думала, зачем я сюда приехал. И когда помогала мне, тоже думала.

— Мне нравилось вам помогать, — говорит она. — Я и сегодня могу помочь, если желаете.

— Сегодня нет надобности, — отвечает он.

— Речь о кладбище, — говорит Арман. — Я все-таки расскажу ей, если ты сам не хочешь. Кладбище должно быть снесено, Жанна. Кладбище и церковь.

— Дело это решенное, — говорит Жан-Батист. — Вся территория должна измениться. Очиститься. Этого желает сам король.

— Король?

— Тебе нечего бояться. Останки, кости будут перевезены в освященное место, где и будут лежать в целости и сохранности.

— Все?

— Да.

— И вы сможете это сделать?

Девушка смотрит на лопату.

— Мне будут помогать.

Она несколько раз кивает.

— Если вам будет угодно, — тихо говорит она.

— О тебе и дедушке позаботятся. Даю слово.

— С обещаниями стоит быть поосторожнее, — предупреждает Арман.

— Кладбище, — говорит Жан-Батист, пропуская слова Армана мимо ушей, — нельзя просто взять да забыть, правда?

— О, нет, — соглашается она. — Нельзя.

— И ты знаешь, как люди жалуются на него.

Девушка хмурится.

— Дедушка говорит, что когда-то они гордились, что живут рядом с таким знаменитым местом. Даже хвастались.

— Обоняние у людей, — говорит Арман, — стало тоньше.

Жанна кивает, на этот раз увереннее, как будто получила весомый аргумент.

— А наш дом? — спрашивает она.

— У вас будет новый. Может быть, даже здесь, после того, как землю очистят.

— Здесь?

— Да.

— Дедушке будет хорошо, если я с ним останусь, — говорит она.

— Конечно. Ты должна быть с ним.

С четверть минуты они стоят молча. Смотрят вокруг. Ничто не предвещает, что скоро тут все

будет иначе.

Через час, согревшись коньяком и горячей водой, в отдельном зеркальном кабинете кафе де Фуа Арман говорит:

— Она согласилась только из-за тебя. Ты окутал ее своим нормандским очарованием. Но не ввел ли ты ее в заблуждение? Когда твои шахтеры возьмутся за дело, они раскидают кости по всей округе, как дрова. А что за дом ты ей предложил? Сам придумал? Ты точно так же не в силах обеспечить ее домом, как и меня органом в приходе Святого Евстафия.

— Я сделаю, что будет в моих силах, — отвечает Жан-Батист.

— Ты сделаешь, что тебе велят, — говорит Арман. — Это, по-моему, более вероятно.

— Министр…

— Твой большой друг министр.

— Не думаю, что он… человек бесчувственный.

— Полагаешь, у него возникнут какие-то чувства по отношению к Жанне? Или это у тебя есть к ней чувства? Не сомневаюсь, что с такой девушкой приятно обняться в постели в холодную ночь.

— Она же почти ребенок.

— Почти — это верно. Наша дражайшая короле-

ва вышла замуж в четырнадцать. Да и девчонка пойдет за тобой куда угодно. Ты смог бы тайком провести ее в свой угол к Моннарам. Хотя, не сомневаюсь, Зигетта жутко обидится.

— По-моему, это ты питаешь интерес к Зигетте.

— Если ты хочешь сказать, что я переспал бы с Зигеттой, подвернись мне такая возможность, то да, ты прав. Полагаю, и ты тоже. В связи с этим мне пришло в голову, что неплохо было бы пойти и поглазеть на прелести персидской принцессы. Что скажешь?

— Не сегодня.

— Нет? Ты настоящий зануда, месье Кайло. Тебе следует избавляться от занудства. Это не модно. Но пусть будет как ты хочешь. Когда ты заплатишь за коньяк, я окажу тебе честь и провожу до дома.

У края рынка, переходя начало Рю-де-Пешёр, они встречают Австриячку. Она несет небольшой сверток книг, аккуратно связанный черной бечевкой. Такое впечатление, что ее почти не беспокоит холод, снег с грязью на булыжной мостовой и порывы ветра, заставляющие морщиться остальных. Арман приветствует женщину и вдруг замечает, что что-то проскользнуло между

нею и его товарищем, всего на секунду инженер и шлюха обменялись взглядами.

— О нет! Неужели и она тоже? — спрашивает он. И хохочет.

Часть вторая

Настанет день, когда я буду оплакивать своих близких или когда они будут оплакивать меня...
При мысли о смерти опечаленная душа мечтает полностью раскрыться и объять предмет своей любви.

Ж. Жирар. «Могилы, или Влияние похоронных институтов на нравы»

Глава 1

Из окон едущего без остановки экипажа деревенская бедность представляется почти живописной. Много ли изменилось за последнюю сотню лет? Разве во времена Генриха Четвертого люди не жили, в общем-то, точно так же? Возможно, даже лучше, поскольку население было меньше, земля не так истощена, а лорды с их едва различимыми где-то вдали замками были не столь многочисленны.

Он едет домой! Домой через одиннадцать недель, хотя, судя по его душевному состоянию, это вполне могло бы быть и одиннадцать лет, а сам он словно поседевший Улисс, напряженно вглядывающийся в голубую тень Итаки.

Дороги, хвала Господу, проходимы. Снег, выпавший на прошлой неделе, растаял, и новая погода — низкое, ледяное солнце и ночной трескучий мороз — превратила грязь в камень.

Он дважды сменил экипаж. Возница последнего пьян, что не может не беспокоить, но лошади знают дорогу. Баратт смотрит на стену леса, волнуется, когда путь им преграждает стая гусей, которых ведет впереди какая-то сонная девочка с

прутиком. Затем последний пригорок, церковная башня, лиловеющая в дневном свете, и рев возницы: «Белем! Белем!»

Он выходит на рыночной площади. Багаж отвязывают и бросают ему, он ловит. Как всегда, несколько горожан стоят неподалеку, скрестив руки на груди, и наблюдают. В Белеме любопытство никогда не выйдет из моды. Его узнает одна из стоящих, вдова, которая умеет снимать зубную боль, лечит паралич и мокнущие язвы. Он вступает с ней в разговор и узнает о смерти двух-трех человек, чьи имена ему знакомы, о замужестве местной девушки, выданной за текстильщика из Маме, о поимке браконьера в усадьбе кардинала и отправке его на суд в Ножан. Похоже, никто ничего не зарабатывает. Земля родит лишь камни. И все-таки жизнь кое-как продолжается, чинятся церковные часы, а будущей год, благодарение Господу, будет лучше, потому что они люди неплохие и грехи у них небольшие.

— А сам-то как? — спрашивает она наконец, переведя дух. — Ездил куда-то?

Ему еще предстоит пройти часть дороги пешком. Он взваливает на плечи поклажу, спускается с горы, пересекает по камешкам ручей, осторожно под углом срезает поле, где когда-то за ним

погнался белый бык; из леса, что сбоку от него, доносится дым углежогов, таинственных людей, никому не принадлежащих, кроме самих себе. Потом он идет мимо священного дерева — в этом году на нем полно ягод, пересекает Дальнее поле, слышит, как начали лаять собаки, и вот уже дом, двор, залатанные надворные постройки, родные камни и грязь на том самом месте, где они и должны быть, и все-таки он почему-то им удивляется. Он ускоряет шаг. В дверях появляется женская фигура. Он поднимает руку. Она тоже. В эти последние минуты она следит за ним. Словно ее взгляд — это тропинка, по которой он идет к ней, словно в конце пути он войдет прямо в ее серые глаза.

После приветствий он садится у огня, прижав руки к сердцу. В какое-то мгновение, всего несколько секунд, он просто и страстно счастлив, и все в мире кажется не сложнее картинки из детской книжки. Он дома! Наконец-то! Но мгновение проходит.

Мать что-то делает для него, что-то приносит, задает вопросы, благодарит за присланные деньги. Ему кажется, что в углах ее глаз и губ появилось больше морщинок. И не больше ли седины виднеется из-под льняной раковины ее

капора? Ему хочется спросить, как она себя чувствует, но ведь мать только улыбнется и скажет, что на здоровье не жалуется. Страдание есть дар Божий, а не повод плакаться.

Грея замерзшие ладони под мышками, входит его сестренка Генриетта. Она была на маслодельне и пахнет, как кормилица. Говорит, что хочет все знать. Ему льстит ее интерес, и он слушает сам себя с некоторым удивлением, так складно в его рассказе преображается недавнее прошлое. Послушать его, так можно вообразить, что он проводит всякое утро с министром, прогуливаясь среди версальских фонтанов. Моннары превращаются в простую буржуазную семью, дружелюбную и безупречную, а Арман — в самого лучшего товарища, которого мать — всегда боявшаяся, что сыну будет одиноко, — могла бы только желать, в человека, которого никогда не заподозришь в сожительстве с домохозяйкой или в пристрастии к мумифицированным принцессам. О своей работе на кладбище Невинных он лишь повторяет то, что уже писал в письмах, — что ему поручено оздоровить обстановку в густонаселенном квартале, а это предполагает, в том числе, перестройку старинной церкви. Нет никакой веской причины не рассказать им все,

ведь рассказывать ему не запрещено, его работу нельзя назвать *непотребной*, однако, представив свой рассказ, он боится увидеть в их лицах что-то не то, заметить следы плохо скрываемого отвращения.

Сестра хочет знать, видел ли он королеву. «Да», — отвечает он. Пока что это самая отчаянная его ложь. Естественно, его просят описать королеву во всех подробностях.

— Она была далеко от меня, — отвечает он, — и в окружении фрейлин.

— Но ты ведь должен был хоть что-то увидеть.

Он описывает Элоизу. Мать и сестра в восторге, особенно сестра.

— Не так уж она была далеко, — говорит она. — Судя по столь точному портрету.

Через час, сопровождаемый хлопаньем дверей и беззаботным весельем собак, в дом врывается брат Жан-Жак, столь же похожий на покойного отца, сколь Жан-Батист на здравствующую мать. Он прислоняет ружье — шарлевильский мушкет отца — к кухонному столу с полками для посуды и здоровается с Жан-Батистом с нескрываемой мужской приязнью, которая тотчас же заставляет Жан-Батиста почувствовать себя гостем — ощущение, все более усиливающееся с того момента,

как он опустился на стул.

— Я убил зайца, — говорит Жан-Жак. — Маленького такого, там у низины. Беднягу разнесло на кусочки. Так что придется отдать собакам.

— Попасть из этого… — говорит Жан-Батист, кивая в сторону мушкета.

— Секрет в том, чтобы целиться на полметра влево. Ты, братец, можешь все это для меня рассчитать. Нужно малость твоего Эвклида.

— Проще купить новое ружье. Какое-нибудь с нарезкой.

— Но мне будет жаль старого, — говорит Жан-Жак, устроившись по другую сторону от огня и вытянув вперед ноги. — Ну что? Что новенького в Париже?

— То да се.

— Ты похудел.

— А ты отрастил брюшко. Жилет придется выпустить.

— Брюшко ему идет, — говорит Генриетта. — Тебе не кажется?

Идет. Очень даже идет. Как здорово брат вписывается в свой нормандский мир! Широкие плечи — свидетельство фермерского труда. Здоровый румянец, темные волосы, повязанные старой голубой лентой. Деревенский красавец.

Человек в ладу с миром, человек на своем месте. Неудивительно, что он никогда не испытывал особой зависти к успехам старшего брата, к его образованию, к тому, что тот попался на глаза влиятельным людям. Его амбиции всегда были иными — синица в руке, а не журавль в небе. И кто из них теперь свободнее? У кого больше радости в жизни? Кто, если судить беспристрастно, добился желаемого, кто нашел свое счастье?

Ночью братья спят в своей старой комнате, убаюканные уханьем сов, и вместе просыпаются при свете поздно заходящей луны. На кухне — в этом вычищенном, аккуратном мире, где даже свет ложится как будто отрезами выстиранного муслина, — мать разводит огонь, подкладывая в очаг хворост. Она варит сидр. Братья пьют его, еще горячий, так что больно зубам, набивают карманы хлебом и яблоками и отправляются с кобылой пилить упавшее дерево, старый вяз, вывороченный с корнем в осеннюю бурю.

Работа хороша и полезна, хотя Жан-Батисту нелегко поспевать за братом. С них обоих льется пот, обоих разбирает смех без всякой причины, они соревнуются, кто лучше пилит дрова, намекают в своих рассказах на приобретенный любовный опыт, потом идут домой с пересох-

шими глотками, нагрузив кобылу приятно пахнущей древесиной.

Через неделю такой жизни он начинает забывать о Моннарах, Лекёре, кладбище. И обнаруживает, что ему это нравится. Дает волю своему усиливающемуся акценту, вновь обретает деревенскую повадку, ту расчетливую медлительность в движениях и жестах, отличавшую людей, среди которых он вырос.

В канун Рождества они отправляются в Белем на мессу. Надевают все самое лучшее, говорят друг другу комплименты, хотя Жан-Батист оставил свой фисташковый кафтан в Париже, ибо в последний момент не рискнул предстать перед своей семьей в одеянии будущего, причем такого будущего, каким его видит месье Шарве. Еще в Париже он подумывал, не наведаться ли на площадь Побед с проверкой, там ли все еще его старый кафтан (мать про него уже спрашивала), но это значило бы волноваться в предчувствии презрения месье Шарве, его молчаливой убежденности, что молодой инженер — робкая душонка, из тех, что сперва выскочат, а потом пятятся назад. В результате вместо старого кафтана Жан-Батист надел другой, позаимствованный у месье Моннара: нечто сизое и респектабельное. Такой наряд

вполне годился бы для ежегодного обеда в Гильдии ножевых мастеров. Кафтан сидит на нем хорошо, даже лучше, чем хотелось бы.

В церкви они занимают свои обычные места напротив капеллы Святой Анны. Собрались все жители, кроме умирающих и допившихся до бесчувствия. Священник, отец Брикар, пользуется в городе популярностью за краткость месс и глубочайшее безразличие к тому, какими способами члены его паствы предпочитают обрекать себя на вечные муки. Когда служба заканчивается, когда соседи уже потоптались на холоде у церковной двери и дети больше не могут найти ледяшек, чтобы расколоть их каблуком сапога, а местные собаки охрипли от лая, Баратты через ручей и поля направляются домой. На ферме братья идут проведать животных — подняв высоко фонарь, заглядывают сначала на конюшню, потом в коровник, прислушиваются к шевелению скота и неподвижности лошадей. Затем входят в дом, садятся, пьют и включаются в домашние пересуды. (Кто был тот господин, пришедший с семейством Вадье? Не проявлял ли он особенное внимание к Камилле Вадье? А какая удивительная шляпка была нынче на Люсиль Робен! Вряд ли Люсиль и в самом деле рассчитывала произвести на всех

такое впечатление!)

Наконец гасится огонь, со стола убирают посуду, и все отправляются спать. У себя в комнате братья лежат, разговаривая, и их голос уходит куда-то вверх, в темноту. Они обмениваются воспоминаниями об отце. Для них стало своеобразным ритуалом, необходимостью описывать жизнь и характер покойного в дюжине не раз повторенных историй, извлеченных из общего запаса, например как посреди рынка тот высказал старому Тиссо все, что он о нем думает, или как ночью он вытащил из реки еле живого коробейника и приволок, взвалив на плечо, домой, или как, сидя за работой, с иголками, люверсами и вощеной нитью, был похож на быка, плетущего венок из ромашек…

Такие истории вносят покой в их сердца. Такие истории позволяют не рассказывать другие, в которых отец давал волю кулакам или брался за ремень, за ясеневый хлыст, бил сапогами, полосками кожи или парой только что сшитых перчаток с крагами. Доставалось и братьям, и Генриетте, и жене, пока, обессиленный и трясущийся, отец не прекращал порку. Не говорят братья и о последнем годе его жизни, хотя именно это время вспоминает Жан-Батист, когда они

замолкают и Жан-Жак начинает храпеть. Как сознание отца стало путаться и он начал забывать названия своих инструментов, а потом и то, для чего они предназначены. Как он начал принимать жену за мать, называл Генриетту именем своей давно умершей сестры. Когда конец был уже близок, Жан-Батиста вызвали домой из Школы мостов, и он часами сидел на табурете у постели больного и говорил о мэтре Перроне, дорогах, серых крыльях мостов. Голова отца неподвижно лежала на подушке, глаза смотрели перед собой, рот был полуоткрыт. Тогда цвела белая сирень. Пчелы и бабочки влетали в узкое окно и, сделав круг по затененной комнате, вновь вылетали наружу. Дважды в неделю из Эперре приезжал доктор и бессмысленно суетился у постели своего пациента. Члены семьи ухаживали за перчаточником по очереди — кормили его супом с ложки, приподнимали на краю постели, чтобы он мог справить нужду в горшок, смачивали ему губы и утешали, если он впадал в беспокойство. Так продолжалось все лето — целое лето прошло у них перед глазами лишь сквозь зеленые алмазы окна в комнате больного, — и вот однажды, когда воздух стал особенно тяжел перед последней августовской грозой, больной

вдруг сел в кровати, схватил Жан-Батиста за руки и, глядя ему в лицо, голосом, вырвавшимся из сковавшего его льда, сказал: «Я тебя так люблю».

Люблю. Ничего подобного между ними никогда не произносилось. Никто из детей не ожидал услышать от родителя такие слова. Так кто же мерещился отцу в момент этого недолгого воскресения? Понимал ли он, что перед ним его старший сын? Или думал, что это Жан-Жак? А может, брат Саймон, с которым, несмотря на его отсутствие, перчаточник вел долгие сбивчивые беседы? Больше никаких слов не последовало, поэтому и ясности не прибавилось. Через два дня отец погрузился в собственную необъятную тишину. А через две недели он умер — человек, который, судя по всему, уже не помнил даже собственного имени.

В рождественское утро — слишком рано даже для деревенских жителей — Жан-Батист идет с матерью в Дом на холме, протестантскую молельню, где она и горстка ее единоверцев будут молиться так, как считают правильным. Те немногие соседи, что встречаются им по пути, делают вид, что не знают, куда направляются эти двое. Ибо мадам Баратт приличная женщина, а в Нормандии полно таких, для кого Евангелие

Иисуса Христа и вовсе ничего не значит. Так что лучше простить ей эту небольшую ересь.

Они проходят по чисто подметенному двору, и как только сына с матерью узнают, их пропускают в Дом. Слева от двери — широкий пролет лестницы, каменные ступени которой так стерты, будто это слепок древнего речного русла. Там, где лестница делает поворот, стоит простой крест, встроенный в камень, наподобие колонны, и здесь достаточно места, чтобы могли собраться шесть-восемь человек. Из небольшого окна открывается вид на дорогу — вид, который когда-то был гораздо нужнее, чем теперь. Пастор — голландец. Он говорит по-французски с акцентом, который всегда казался Жан-Батисту немного смешным. Он гладко выбрит, и глаза у него, как у ребенка. Пастор открывает Библию. Страницы посерели и почти истлели, но пастору нет нужды читать, что на них написано. Он произносит текст по памяти.

— «Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней…»

Неужели нет ни детей, ни конюшен, ни пастухов, ни путешествующих королей?

— «Земля опустошена вконец и совершенно

разграблена… Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней…»

Иезекииль? Исайя? Другие-то небось знают.

— «В городе осталось запустение, и ворота развалились… Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю…»[9]

Он их не щадит. Не богоугодное это дело — щадить людей, так думает пастор. Наконец — впрочем, прошло немало времени — пастор закрывает книгу, и теперь его маленькая паства может в молчании обратиться к своему сознанию, а Жан-Батист со шляпой в руке, но не склонив головы, смотрит на небо и ненадолго растворяется в красоте и тайне обыденного. Когда служба заканчивается, собравшиеся обнимают друг друга сухо и торжественно, а потом выходят парами из Дома, исчезая в наступающем дне.

На ферме все родные уже собрались на кухне. Дети — мальчик и девочка, которых Жан-Батист припоминает очень смутно, — забираются к нему на спину, как только он садится. Кузен

---

[9] Примечания: 9
Исайя 24: 1, 3, 4, 12, 18.

Андре, конечно, тоже здесь, состоятельный и значительный. Развлекает женщин пересказами скандалов маленького городка. Пришли и самые бедные родственники — старик Дюдо с женой, представители чистейшего крестьянства в клане Бараттов. Их глаза неотличимы от глаз животных, которых они держат на своем клочке нормандской грязи. Эти крестьяне говорят лишь на старонормандском, не понимают по-французски и, сидя на дальнем конце стола, прячут под одежду кусочки белой колбасы. Специально для этого рядом с ними всегда ставится тарелка с колбасой. И даже дети понимают, что не должны ничего замечать.

Среди этой добродушной суеты Жан-Батист налегает на сидр. Этот приезд домой, как и все предыдущие на протяжении уже долгого времени, оказался, в общем-то, напрасным. Когда же случается, что мы теряем способность возвращаться домой, по-настоящему возвращаться? Какая тайная дверка вдруг захлопывается? Он, так мечтавший бежать из Парижа, теперь ждет не дождется своего приезда в столицу. Как бы ни сложилась его жизнь, какая бы ни была уготована ему судьба, он встретит ее в другом месте, а не здесь, не среди лесов и полей своего детства,

которые он до сих пор любит. Он осушает кружку, жует что-то, что лежало на дне, и тянется за кувшином. Рядом с ним на скамейку присаживается сестра. В юности они часто дрались, она казалась ему зловредной гордячкой, однако теперь простоватая двадцатитрехлетняя девушка — сама доброта, к тому же она проявляет мудрость, бог весть откуда взявшуюся, завидную мудрость. Снова спрашивает его про Париж, про модные фасоны, про Моннаров, у которых он снимает жилье. Жан-Батисту ясно: она догадывается, что он не рассказал ей даже половины того, что с ним произошло. Особенно она интересуется его здоровьем. Немного устал, говорит он, пожимая плечами. Приходится спать меньше, чем обычно. И вдруг он понимает, что именно беспокоит сестру.

— Ты хочешь сказать, от меня пахнет не так приятно, как раньше?

— Мы решили, что, может, это из-за парижского воздуха, Жан. Потому что там он хуже, чем здесь.

— Хуже, — говорит он. — Намного хуже.

— Значит, ты поправишься, когда вернешься, — говорит она. — Мне уже и теперь кажется, что пахнуть стало лучше.

Он благодарит ее шутливым манером.

— И когда же ты собираешься возвращаться? — спрашивает она.

Глава 2

Арман со своей хозяйкой, должно быть, заняты. Жанна, наверное, тоже. Когда Жан-Батист возвращается в Париж, на улице на него показывают пальцем или просто глазеют, словно над его воротником того и гляди появится краешек ангельского крыла или на лбу бугорок вылезающего рога. Утром на рынке перед праздником Крещения один старик, из тех, что, гримасничая, бродят в лохмотьях по всяким людным местам, грозит ему высохшей рукой и требует, чтобы он оставил в покое «погост наших отцов, не то гнев Господень…». Два дня спустя лоточник на Рю-де-ля-Фромажери преподносит Жан-Батисту медовые соты и желает удачи. Жан-Батист начинает слышать брошенное ему вслед новое слово: «инженер». Интересно, сколько людей до конца понимают, что такое инженер.

Но из всего того, с чем ему приходится сталкиваться в первые холодные дни нового года, больше всего его озадачивает реакция Моннаров. Вернувшись на квартиру, он был почти рад встрече с ними, выразил искреннюю благодарность месье Моннару за одолженный кафтан,

с особым чувством расспрашивал, как мадам и мадемуазель провели новогодние праздники, но во второй вечер к ужину стало ясно, что кое-что не в порядке. Именно мадам Моннар (сначала выплюнув в кулачок кусок хряща) подняла вопрос, который явно служил для них источником беспокойства.

— Месье, — начала она, — так ваше дело, как мы слышали, связано с кладбищем?

— Мадам?

— Оно должно… исчезнуть?

Он опустил вилку и нож.

— Можно и так сказать, мадам. Да, его следует убрать, а землю очистить. И церковь тоже в свое время будет убрана.

— Мы просто потрясены, — сказал месье Моннар. — Мы и не подозревали.

— Очень сожалею, месье. Но церковь и кладбище закрыты уже пять лет. Нельзя же их оставить…

— Нам тяжело даже думать об этом, — сказала мадам странным срывающимся голосом.

— Надеюсь, обществу это принесет только пользу, — заверил ее Жан-Батист. — И рядом с вашим домом больше не будет места погребения. Вам не придется страдать от последствий.

— Каких последствий? — удивился месье Моннар.

Жан-Батист бросил взгляд на свою тарелку — в прохладной комнате еда уже начала остывать.

— Но разве можно здесь быть совершенно здоровыми?

— Мы кажемся вам больными?

— Нет, конечно же, нет. Я вовсе не имел в виду…

— Тогда в чем дело?

Зигетта начала плакать. За тоненьким завыванием последовал всхлип, после чего из груди вырвалось настоящее рыдание, и все это сопровождалось таким интенсивным подергиванием лица, что Жан-Батисту показалась, будто перед ним совсем другой человек. Девушка выбежала из комнаты. Мадам и месье обменялись взглядами.

— Если я… — начал Жан-Батист, поднимаясь со стула.

— Бедняжка Зигги не выносит никаких потрясений, — сказала мадам и отпустила еще несколько довольно туманных замечаний, из которых в конце концов Жан-Батист сделал вывод, что у Зигетты начались месячные, поэтому она сейчас слишком чувствительна.

Продолжение этой неловкой сцены последо-

вало позже вечером. Жан-Батист сидел у себя комнате, завернувшись в свой красный шлафрок дамастовой ткани, и читал кое-что из Бюффона — о том, что некоторые неядовитые существа имеют окрас, сходный с окрасом своих ядовитых сородичей, — как вдруг услышал знакомое царапанье под дверью. Открыв дверь, он собирался встретиться с крепким котярой Рагу, но вместо него увидел бледную как смерть Зигетту, одетую для отхода ко сну. То, что на ней не было корсета, становилось ясно всякий раз, как она вздыхала.

Она хотела объясниться или извиниться, или и то и другое, или ни то, ни другое. Немного пошептавшись с ней у двери, Жан-Батист пригласил ее войти, и поскольку в комнате был только один стул, он предложил его ей, а сам уселся на кровать. Похоже, шлафрок ее не удивил, ибо она ничего о нем не сказала. Жан-Батист подбросил еще одну хворостину в огонь. Попытался ее ободрить.

— Когда все будет закончено, только подумайте, как это будет прекрасно. На месте того, что вы видите сейчас, раскинется красивая площадь. Может быть, сад.

Она кивнула. Казалось, она пытается следить за его мыслью, но ее глаза вновь наполнились слезами.

— Такое впечатление, — сказала она, помолчав, — будто вы хотите разворотить киркой мое детство.

— Детство?

— Невинное девичество.

— Я собираюсь раскапывать только кладбище. Срывать землю и старые кости. Много старых костей.

— Вы выросли далеко отсюда, — мягко возразила она. — Если бы вы родились здесь, то испытывали бы другие чувства.

Поскольку Жан-Батист сидел ниже, чем девушка, его взгляд невольно упал ей на колени. И ему представилось, как медленно сочится ее кровь, как на блеклой ткани ночной рубашки расцветает кровавая роза, постепенно расширяется, охватывая бедра, а затем, возможно, начинает стекать на доски пола, и капли стучат об пол…

— Когда все будет сделано, — сказал он, встретившись с Зигеттой взглядом, — когда все будет закончено, это вы испытаете другие чувства. Беспокойство скоро пройдет. И вам понравится.

Она не стала с ним спорить. Но начала осторожно оглядывать комнату — кровать, сундук, стол с книгами, медную линейку. Потом, подавив зевоту, извинилась за беспокойство и с милой

влажной улыбкой, какой одаривают человека, хоть и не по своей вине, но все же не способного понять элементарные вещи, ретировалась.

Когда она закрыла за собой дверь, Жан-Батист взглянул на потолок, на маленькую дырочку над кроватью, потому что раз или два во время их беседы слышал, как над головой скрипят доски.

Он залез на кровать, выпрямился — теперь, с такого возвышения ему было легко дотянуться до потолка. Он посмотрел в дырочку — темнота, ничего не видно. Потом медленно и осторожно просунул в дырочку указательный палец левой руки, так граф де Бюффон исследовал бы гнездо какого-нибудь сомнительного насекомого, которое на самом деле обладает или только притворяется, что обладает, ядовитыми свойствами… Жан-Батист не мог бы поклясться, что действительно почувствовал нечто, но ему показалось, будто кто-то слегка подул ему на палец, и некоторое время, балансируя на кровати, он внимательно его разглядывал.

Глава 3

Он встречается с Лафоссом. Январь близится к концу, а работы так и не начались, ни одна косточка еще не сдвинута с места. Он пытается объясниться, изобразить себя жертвой обстоятельств, каковой и в самом деле себя считает. Он не может начать работу без горняков, а те еще не приехали. Они приедут, приедут очень скоро, но пока не приехали. В процессе объяснений, горячих оправданий своего бездействия он вдруг понимает, что Лафосса на самом деле совершенно не волнует отсрочка в несколько недель, что он не сместит его с этого поста и даже не станет угрожать этим. Кто еще за столь короткое время согласится взяться за такую работу? Жан-Батист представляет отчет об истраченных средствах. И ему не так уж неприятно видеть, что Лафосс страдает от простуды.

Инженер делает все, что можно сделать в одиночку. Получает от Луи Горацио Буайе-Дюбуассона холстину, деревянные шесты, веревку, корабельную цепь. Договаривается с беззубым человеком по имени Дежур о поставке дров и, когда привозят первую партию, вместе с ним

и его сыновьями участвует в разгрузке. Стоит только Жан-Батисту появиться на рынке, как торговцы кидаются к нему с предложениями и обещаниями, иногда шепотом предупреждая, что сосед-лоточник обыкновеннейший вор. Солома для постелей закупается в конюшнях на задах почтовой станции на Рю-оз-Ур. Она сухая и более или менее чистая. Также от Луи Горацио Буайе-Дюбуассона привозят тридцать лопат и тридцать кирок. На шахтах Валансьена рабочим не разрешается иметь собственные орудия труда. Человек со своей лопатой в руках может почувствовать себя независимым.

Пятого февраля Жан-Батист получает весточку от Лекёра: все наконец-то готово и он собирается выехать в Париж вместе с рабочими, надеясь добраться до места в течение недели. Поскольку письмо шло два дня, Жан-Батист начинает поджидать шахтеров два дня спустя, часами стоя на пересечении Рю-Сен-Дени и Рю-о-Фэр, правда, к итальянскому фонтану не приближается, дабы не стать объектом неприличных шуток местных прачек.

На улице холодно, но ясно. По утрам здорово подмораживает, но к середине дня почти тепло. Вновь и вновь он замечает одни и те же лица,

следит, как на улицах зарождаются течения и небольшие приливы. Промелькнула Элоиза — удаляется от него в сторону предместья Сен-Дени. Видит он и отца Кольбера — кто же еще это может быть! — синие стекла очков и черно-зеленую сутану, свисающую с его крупной согбенной спины. Встречает Армана, который предлагает ему нанять какого-нибудь мальчишку стоять на часах, но Жан-Батист не хочет полагаться на мальчишку, сомневаясь в его способности внимательно следить за дорогой, да и незачем ему самому без дела сидеть в доме Моннаров в ожидании того, что, как ему иногда кажется, не случится вовсе.

И вот наконец около двух часов пополудни, ровно через неделю после даты на письме из Валансьена, неожиданно появляется Лекёр: со стороны реки движется фургон, а в нем Лекёр, который, завидев приятеля, в знак приветствия элегантным жестом снимает шляпу.

Всего подъезжают три открытые повозки, ворочая огромными, облепленными грязью колесами. Едва они останавливаются, сразу же собираются группки местных жителей, включая и прачек, поглазеть на приезжих. Те в свою очередь разглядывают парижан — одни широко раскрытыми, испуганными глазами увезенного из привычных

мест скота, другие вообще потрясенные. С такими лицами люди Эрнана Кортеса входили в золотой город Теночтитлан. Все движение на Рю-Сен-Дени останавливается. Лошади опускают головы. Одна лошадь шумно опорожняет свое нутро, покрыв мостовую зеленоватым навозом. Лекёр слезает со скамьи в передней части первого фургона и шагает к Жан-Батисту. Они с облегчением крепко жмут друг другу руки.

— По дороге не обошлось без приключений, — говорит Лекёр. — Не то чтобы мы повстречали Цирцею или Циклопа, но все-таки пришлось повозиться. Однако мы здесь и ждем твоих распоряжений.

Для человека, путешествовавшего в компании тридцати горняков и вынужденного терпеть невзгоды морозной зимы, Лекёр на удивление опрятен и свеж. На голове небольшой каштановый парик, лицо аккуратно выбрито, на шее красивый красный шарф, а в дыхании ощущается лишь самая малость алкоголя, что вполне можно ожидать в качестве профилактического средства от любого человека, предпринявшего путешествие в мороз.

— Всех привез? — спрашивает Жан-Батист, кивая на фургоны.

— Тридцать рабочих. Специально отбирал. Уверен, они тебе подойдут.

— Я тебе очень благодарен, — говорит Жан-Батист. — Очень. Но мы должны отогнать фургоны вон на ту улицу. — Он указывает на Рю-о-Фэр. — Иначе на нас начнут кричать. Здешний народ за словом в карман не полезет.

Им хватает четырех минут. Фургоны и лошади стоят вдоль северной стены церкви. Рабочие вылезают и сбиваются в кучки, поглядывая то на Лекёра, то на Жан-Батиста, словно молча прикидывая, кто важнее, и так же молча делая выводы.

Жан-Батист отпирает дверь, ведущую на кладбище. Итак, первое испытание. Людей надо заставить войти на кладбище, место неприятное даже для такого просветленного ума, как его собственный. Может, откажутся? И что тогда? Затащить силой? Как? Острием шпаги? Но шпаги у него нет.

— Не мог бы ты пойти первым? — тихо просит он Лекёра. — К тебе они уже привыкли.

— Хорошо, — отвечает Лекёр и без колебаний проходит в дверь. Шахтеры, шаркая, тянутся следом. Когда проходит последний, Жан-Батист идет за ним, закрывает дверь и присоединяется

к Лекёру.

— Как ты и предупреждал, — говорит Лекёр, — впечатление весьма сильное.

— К этому привыкаешь, — отвечает Жан-Батист. — По крайней мере, отчасти.

— Значит, нам захочется побыстрее закончить, — говорит Лекёр, пытаясь улыбнуться.

Дрова для большого костра уже несколько дней лежат наготове, сложенные в поленницу между церковью и крестом проповедника. Теперь, взяв на кухне у пономаря угольки, они разводят огонь. Дым спиралью уходит в мерзлый воздух, в самом сердце костра слышится треск, дым становится гуще, и дюжина язычков пламени начинает прорываться между поленьями. Шахтеры становятся вокруг огня, протягивая руки к теплу.

Выходит Жанна. Жан-Батист представляет ее Лекёру. «Рабочие хотят есть?» — спрашивает она. О, да, вне всякого сомнения. Очень хотят. Тогда она пойдет на рынок и принесет им суп и хлеб. Есть один лоток, где хороший суп продается ведрами. Она управится быстро.

Предложение Жанны, имеющее здравый практический смысл, сразу же принимается. Лекёр выбирает из круга троих, чтобы помочь девушке. А Жан-Батист отсчитывает ей в ладошку деньги.

— Они вполне безобидные, — говорит Лекёр, имея в виду горняков-помощников. — Скажешь, что тебе надо, и они все исполнят.

Жан-Батист и Лекёр смотрят, как она удаляется, а за ней, тяжело ступая, бредут рабочие.

— Девушка будет нам очень полезна, — говорит Лекёр. — Предвижу, что она скоро обратится для них в маленькую Деву Марию.

— Когда шахтеры поедят, — говорит Жан-Батист, — надо будет поставить палатки. Думаю, вот здесь, в два ряда по пять. А ты, если не возражаешь, поселишься в доме пономаря. Там живут лишь старик и Жанна. Думаю, тебе будет удобно.

— Я здесь в роли послушного орудия, — отвечает Лекёр, — так что не имеет значения, куда меня положат на ночь.

Жан-Батист кивает. Прислушиваясь к тихим голосам рабочих, он вспоминает то, что непостижимым образом умудрился забыть. По крайней мере половина горняков в Валансьене говорят только по-фламандски. Когда он работал на шахтах, выучил десятка два слов, но они уже давно стерлись из памяти.

— Ты говоришь на их языке? — спрашивает он Лекёра.

— Сомневаюсь, что смог бы на нем сыпать лю-

безностями перед дамами, — отвечает Лекёр, — но полагаю, для нашего дела моих познаний достаточно.

Через полчаса Жанна с рабочими возвращается. Двое несут ведра с супом, над которыми поднимается пар. А у Жанны и третьего шахтера полные охапки хлеба. Позади процессии виднеется Арман. Широким шагом он идет к Жан-Батисту и Лекёру и, еще не успев подойти, кричит:

— Видел дым от вашего костра! Мне уж было подумалось, что ты просто милый мечтатель. Но уж теперь-то всегда буду доверять твоим словам.

— Позволь представить тебе, — обращается Жан-Батист к Лекёру, — месье Сен-Меар.

— Вы из нашей компании, месье? — спрашивает Лекёр.

— Думаю, меня можно к ней отнести, — отвечает Арман, глядя на Жан-Батиста.

— Месье Сен-Меар — органист этой церкви, — объясняет Жан-Батист.

— Бывший органист, — говорит Арман, — раз уж эти господа начали работать. Но я намерен участвовать в собственном уничтожении. Разве такое право не принадлежит всем нам?

— Так считали древние, месье, — отзывается Лекёр.

— А мы новые древние, не так ли?

— Мы те, кто очистит Париж, — говорит Лекёр. — Именно это я сказал своему другу, когда мы виделись последний раз. Это будет своего рода пример для подражания.

— Пришла пора избавиться от прошлого, — говорит Арман не то искренне, не то насмешливо. — Слишком долго нас душила история.

— Я вполне разделяю ваши чувства, — говорит Лекёр, понизив голос.

— Тогда давайте разделим их за бутылочкой, — предлагает Арман.

— Через два часа совсем стемнеет, — говорит Жан-Батист. — Бутылочка подождет.

— Он уже принялся нас тиранить, — говорит Арман.

Лекёру явно неловко.

— Но он прав, месье. Несомненно, прав. Еще слишком много дел. И нам нужна трезвая голова. Может быть, немного попозже?

Суп с хлебом съеден без церемоний. Шахтеры облизывают ложки, тыльной стороной ладони обтирают бороды, отплевываются, чешутся, зевают.

Заметив, что с ужином покончено, Жан-Батист поднимается по винтовой лестнице на

узкую решетчатую площадку у основания креста проповедника. За ним идет Лекёр, а следом, по собственному почину, Арман. Поскольку они забрались на площадку втроем, приходится стоять, тесно прижавшись друг к другу. Свободной рукой Жан-Батист делает жест шахтерам. Те встают и медленно подходят к кресту. Он забыл еще одну вещь: из-за того, что этим людям постоянно приходится работать в тоннелях, нагнувшись, многие до конца дней так и остаются сгорбленными. Горняки собираются у подножия креста и, чтобы взглянуть вверх, неловко наклоняют головы вбок. Жан-Батист говорит Лекёру:

— Я немного поговорю с ними. А ты, уж будь любезен, повтори самое главное по-фламандски.

Он откашливается. У него не слишком сильный голос, но надо, чтобы его услышали. Однако и кричать на людей инженеру не хочется.

— Мы рады вас видеть, — начинает он. — Быть может, я знал кого-то из вас в Валансьене. Здесь работа будет совсем другая. Древнее кладбище и церковь позади вас должны быть уничтожены. Всю землю с поверхности кладбища предстоит срыть. Все кости — и те, что вы видите в склепах галерей, и те, что лежат в земле, и те, что в крипте под церковью, должны быть собраны и вывезены

в другое место. Вам следует обращаться с костями, как если бы они принадлежали вашим предкам. Начинаем завтра с первой общей могилы. Будем постоянно жечь костры, чтобы очищать воздух и способствовать его циркуляции. Врачи утверждают, что огонь — лучшая защита от любых испарений, которые могут возникнуть в результате раскопок. Вам будут платить двадцать пять су за каждый день работы. Один раз в день вас будут кормить горячей пищей плюс литр вина. Запрещается покидать кладбище, не получив разрешения от меня или месье Лекёра. Первое задание — установить палатки и выкопать уборные. Вы не должны загрязнять территорию. Работать будем каждый день. И каждый из вас несет ответственность за исправность своих рабочих инструментов. — Потом, словно неожиданно вспомнив, добавил: — Я Баратт. Инженер.

— Отлично, — шепчет Лекёр.

— Практично, — добавляет Арман.

Лекёр начинает переводить. Он явно говорит по-фламандски значительно лучше, чем утверждал. Пока он пересказывает слова Жан-Батиста, тот рассматривает неровные ряды шахтеров. Из толпы выделяется один. Он выше других, стоит с непокрытой головой, и его взгляд невозмутимо

скользит по лицам триумвирата, забравшегося на площадку креста проповедника. Можно даже предположить, что ему это кажется забавным. Как будто он уже видел нечто подобное, даже слишком часто был свидетелем похожих ситуаций и теперь не может не чувствовать в них крупицу абсурда. На несколько секунд он опускает руку на плечо более старого шахтера, стоящего перед ним, и хотя трудно рассмотреть на расстоянии двадцати метров, эта рука явно не такая, какой должна быть, — кисть деформирована.

Когда Лекёр заканчивает речь, троица, натыкаясь друг на друга и рискуя свалиться, спускается по ступенькам винтовой лестницы. На ровный участок в середине кладбища приносят шесты и холсты Буайе-Дюбуассона. Натянув первую палатку и разобравшись в ее конструкции, остальные рабочие ставят довольно быстро.

Приезжает торговец дровами с новыми поленьями. Он разглядывает шахтеров и, причмокивая беззубым ртом, одобрительно кивает. Поставки на кладбище Невинных будут выгоднейшим делом его жизни: раз требуется разводить костры, дрова будут нужны еще несколько месяцев. Рядом с палатками вырастают новые поленницы. Дрова стоят дорого, и их вполне можно украсть.

Уже изрядное количество дров ночью перекочевало обратно через кладбищенскую стену.

Жан-Батист проверяет, как выкапывают уборные, и остается доволен. Осматривает каждую палатку, дергает за веревки. Несколько раз его вызывают к дверям кладбища, чтобы поговорить с пришедшим торговцем. Эти переговоры он в конце концов перепоручает Арману, а тот, похоже, только этого и ждет.

Даже при рытье ям для уборных и костров выкопали около сотни крупных костей и бесчисленных фрагментов, некоторые из них белые, как мел, некоторые серые или черные, а некоторые даже желтые, точно грибы лисички. Жанна поднимает с земли череп небольшого размера, большим пальцем выковыривает из глазницы комок земли и вновь кладет на место, словно возвращает птенца в гнездо. В ее действиях есть что-то слегка отталкивающее, но Жан-Батист не сомневается, что ее пример повлияет на рабочих гораздо сильнее, чем любые сказанные им слова.

Проходя мимо шахтеров в сгущающемся сумраке раннего вечера, он старается запечатлеть в памяти их лица. Немногие смотрят ему в глаза. У тех же, кто отвечает на его взгляд, он спрашивает имена. Жак Эвербу, Йос Слаббарт, Ян Билоо, Пи-

тер Молендино, Ян Блок. Человека, на которого он обратил внимание, стоя на площадке креста проповедника, среди них нет — того, что глядел так невозмутимо. Кем бы он ни был, у него, похоже, есть талант, когда нужно, становиться незаметным.

Когда Жан-Батист строил мост в поместье графа С., у него в подчинении было человек двенадцать: слуги, работавшие в доме и в саду, парочка наемных каменщиков и главный каменщик из Труа. Главный каменщик всеми силами демонстрировал раздражение действиями руководившего проектом «мальчишки». Не лучше были и простые каменщики, и даже домашние слуги уходили и приходили, когда им вздумается, не упуская случая унизить Жан-Батиста, что мастерски умеет делать прислуга в больших поместьях. А кому понравится быть униженным? Кому понравится быть начальником лишь на словах? Здесь, на кладбище Невинных, он должен заставить других исполнять его волю, должен, даже если в глубине души сам не уверен в себе, как был не уверен тогда. И все же ему хочется, чтобы его любили. Или хотя бы не презирали.

Когда становится слишком темно, чтобы делать что-то полезное, рабочие садятся у входов

в палатки. Их покормили второй раз и выдали вина. Жан-Батист — он поел только потому, что его уговорила Жанна, стоявшая рядом с миской и хлебом в руках, — в последний раз обходит территорию с Лекёром, желая шахтерам доброй ночи и получая в ответ несколько гортанных ответов. Невозможно догадаться, о чем думают эти люди и не убежит ли половина из них сегодня же ночью. Можно ли им доверять? На шахтах иногда случались происшествия, жуткие происшествия. Нетрудно себе представить лицо министра, когда ему сообщат, что рабочие удрали и принялись грабить парижан!

Вдали от палаток Лекёр ободряет Жан-Батиста:

— Ты платишь им гораздо больше, чем на валансьенских шахтах. И они по-своему порядочные люди. Из них может получиться очень надежная команда.

— А ты станешь их капитаном, — говорит Жан-Батист.

— Наш капитан ты, дорогой Баратт. Верхом на белом коне ты уж точно будешь неотразим.

— Надо будет подучить фламандский.

— Вперед, в атаку! Десять су за каждую вражью голову. На мой взгляд, цена подходящая.

Они пересекают кладбище наискосок и на-

правляются к дому пономаря. У Лекёра в руках зажженный факел, хотя едва ли он нужен. Из окон дома струится свет от лампы, да и большой костер далеко отбрасывает свой яркий красноватый свет.

— Впервые я увидел это кладбище, — говорит Жан-Батист, — вон из того окна своей комнаты. Смотрел вниз ночью и различал одну непроглядную тьму. А теперь вид почти праздничный.

— Праздничный? Извини, но я не думаю, что такое место когда-нибудь может выглядеть празднично.

— Как тебе запах?

— Терпимо. Более-менее. Я вообще не слишком чувствителен к запахам. Это из-за шахт. У меня в голове сплошная угольная пыль.

— Говорят, тут живет какой-то зверь, — продолжает Жан-Батист, — полусобака полуволк. Его берлога на этой стороне среди склепов галерей.

Он показывает вперед на южную стену, на арочные проходы в галереи.

— Будет лучше, если такие истории не дойдут до ушей рабочих.

— Ты прав, — соглашается Жан-Батист.

— Но коли это не просто древняя легенда, то я готов к встрече. — Лекёр останавливается и до-

стает из кармана какой-то предмет. — Видишь?

— Он заряжен? — спрашивает Жан-Батист.

— Я привез порох и пули. И я практиковался. Могу попасть в угольный ящик с тридцати шагов.

— «Истребитель волков» — оружие господина Лекёра! — говорит Жан-Батист.

Оба тихонько смеются.

Краем сапога Лекёр гасит факел, и они входят в дом пономаря.

Старик уже спит у очага. По его груди рассыпались серебряные завитки бороды. За столом Арман и Жанна. Когда двое приятелей входят, Жанна встает.

— Мы вас уже давно ждем, — говорит она.

— Мы обходили лагерь, — объясняет Лекёр, глядя на бутылку коньяка, стоящую на столе у локтя Армана.

— Как дедушка? — справляется Жан-Батист.

— Устал, — отвечает Жанна, с улыбкой глядя на стариковскую макушку. — Но, по-моему, рад, что все началось. И он видит, что я довольна. — Потом она обращается к Лекёру: — У вас очень славные рабочие.

Лекёр чуть склоняет голову в поклоне.

— Они уже души в вас не чают, мадемуазель.

— Ну, а теперь, — говорит, зевая, Арман, — может, нам все-таки будет позволено выпить эту бутылочку. Жанна, нужно еще две рюмки.

Рюмки принесены, наполнены и подняты. Даже Жанна делает несколько глотков, и от разлившегося внутри тепла у нее розовеют щеки. Арман подливает еще. Жан-Батист отставляет рюмку.

— Завтра начинаем копать, — говорит он. — Лучше не засиживаться за бутылкой. Я буду здесь очень рано, Жанна. Полагаю, и мадам Саже тоже придет?

— Лиза явится, — говорит Арман. — Похоже, она с тобой примирилась.

— Как рассветет, пойду на рынок за хлебом, — говорит Жанна. — Дедушка тоже пойдет, и, может быть, мадам Саже.

— А я пригласил к нашему столу пятнадцать старых добрых курочек, — говорит Арман. — Мешок картошки, мешок морковки и зеленой чечевицы на вес человека. Лук. Кроме того, я взял на себя смелость заказать сто двадцать литров бургундского. «Шато какое-то». Предлагаю запереть вино в церкви. Вряд ли отец Кольбер станет его пить.

— Хорошо, — говорит Жан-Батист. — Спасибо.

— Мы как настоящая машина! — восклицает Ле-

кёр, чья рюмка успела уже дважды опустошиться и наполниться вновь. — Механизм заведен и начинает действовать!

— Тик-так, тик-так, — говорит Арман, а Жанна хихикает.

— Ты идешь? — спрашивает Армана Жан-Батист.

— Пожалуй, посижу еще немного, — отвечает тот.

Молчание.

— Что ж, хорошо. Желаю всем спокойной ночи.

Жан-Батист выходит, с раздражением теребя воротник кафтана. Неужели Арман хочет сделать из него дурака? Решил подобраться к Жанне? Остается надеяться, что Лиза Саже держит его на коротком поводке.

У ворот, выходящих на Рю-о-Фэр, он оборачивается посмотреть на созданную им странную, мерцающую огнями сцену. Из одной палатки слышится пение, приглушенное и монотонное, наверное, баллада или причитание. Несколько секунд он прислушивается, затем выходит на пустую улицу, заперев за собой дверь. Если Арман вообще собирается уходить, пусть пробирается через церковь.

Дома на Рю-де-ля-Ленжери, стараясь избежать встречи с Моннарами, он как можно тише идет со свечой в руке мимо двери гостиной. Моннары, как и все местные жители, заметили костры — лучшего вида на кладбище, чем из этих окон, не придумаешь, — и он знает об их немом противодействии порученному ему делу, так что эта картина вряд ли вызовет у них радость. Если он войдет, чтобы посидеть с ними, они станут укорять его своим молчанием и добивать вздохами. А он даже не сможет придумать, что им ответить.

В комнате он стаскивает сапоги. Коньяк застрял маленькой жгучей лужицей где-то в середине груди. Отрыгнув, он наклоняется над кроватью и глядит в окно. Начался легкий дождик. Кроме горящих точек костров, ничего не видно, вокруг них — темнота.

Он закрывает ставни и садится за стол. Придвигает блокнот. В последнюю неделю у него возникала мысль завести дневник, записывать подробности уничтожения кладбища, нечто техническое, но одновременно философское и даже остроумное, что однажды на скромной школьной церемонии он смог бы представить на суд месье Перроне. Он поигрывает пером, вертя

его между пальцами. Надо было остаться с ними, выпить еще коньяку, посмеяться. Это куда лучше и полезнее, чем сидеть здесь одному и мучиться сомнениями.

Он вынимает из чернильницы пробку, макает перо, вверху чистой страницы ставит дату, а под ней пишет: «Они прибыли сегодня, тридцать бедолаг, которых привез человек, о чьем присутствии мне, возможно, придется пожалеть. Работа уже вызывает у меня отвращение, хотя толком еще не началась. Я был бы благодарен Богу, если бы никогда не слышал о кладбище Невинных».

Он закрывает блокнот, отодвигает от себя и сидит без единой мысли в голове, как человек, которому только что зачитали приговор. Затем вновь придвигает блокнот и, открыв, читает написанное. Обмокнув перо, начинает методично зачеркивать переливающимся крестиком каждую букву на странице, пока, наконец, строчки не становятся совершенно неразборчивыми, пока не скрываются вовсе, точно погребенные мертвецы.

* * *

Один человек говорит, другие слушают. Дождь все еще идет, но не так сильно, чтобы потушить

костры. Неяркий красноватый свет пробивается сквозь открытый вход в палатку. Он освещает нижние части тел, но лица остаются в тени. Говорящий, одетый во все блеклое, восседает на троне из сложенных поленьев, остальные либо сидят на корточках, либо на коленях прямо на соломе. Проповедь? Байки? Любой, кто не знает этого языка, который, даже звуча тихо, напоминает постукивание и шуршание трущихся друг об друга сланцев, может предположить, что сейчас устанавливаются какие-то правила, даются негромкие указания. Время от времени слушатели отвечают, приглушенно выражая согласие. Оратор жестикулирует — складывает руки, разводит. Две фаланги среднего пальца левой руки отсутствуют, виден тупой конец обтянутой кожей кости.

Человек делает паузу, потом тянется к чему-то, лежащему у него в ногах, поднимает, словно это живое существо, словно оно может очнуться и улететь. В руках у него кусок деревяшки или полый стебель какого-то растения — фенхеля или борщевика. Человек наклоняет голову набок и тихонько дует на самый кончик. Возникает сияние, переходящее в искорки, а те в свою очередь становятся пламенем, язычком пламени, и его

свет падает на поднятое вверх лицо, сощуренные глаза. Остальные сидят и смотрят. Что-то ими осознается. Потом снова слова, три или четыре веских слова, которые повторяются слушателями — не громче шума дождя. На этом все заканчивается. Дело сделано. Люди встают с соломы и друг за другом выходят, одни смотрят на старую церковь, другие на склепы. Тихие, точно призраки, они направляются к своим палаткам. В небесах синими кораблями дождевых туч неспешно проплывает ночь. Кладбище затихает.

Глава 4

Утром, когда он открывает глаза, сквозь ставни уже льется свет. Он нащупывает часы, откидывает крышку (всевидящее око) и подносит к одному из пробившихся тоненьких лучиков. Четверть девятого! Он не без труда распахивает ставни и глядит вниз. Палатки на месте, весело горит огонь, между уборными и палатками движутся люди. Яркое пятно, пересекающее мокрую траву, — это Жанна, а широкоплечая женщина рядом с ней — наверняка Лиза Саже. Вон Лекёр разговаривает с одним из рабочих. А вон и Арман! Арман делает полезное дело, в то время как он, инженер, начальник, все еще валяется в постели!

Долго одеваться ему не приходится, поскольку накануне он почти не раздевался. Он застегивает камзол, натягивает сапоги, надевает шляпу, мчится по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и проходит мимо двери в погреб, которая всегда оказывается скрытой за тонкой завесой тени…

На кладбище, завидев инженера, люди ухмыляются, особенно Арман, однако никто не злобствует и не упрекает его. Все работают, но

работают спокойно. Жан-Батист доволен, ему становится легче, и он благодарен им гораздо больше, чем готов показать. Жанна сует ему в руку чашку кофе и, прежде чем он успевает поблагодарить девушку, выходит из дома помочь деду и Лизе Саже сооружать нечто вроде походной кухни — топку, решетку, крюки, чтобы вешать кастрюли, и холщовый навес от дождя. Ему самому следовало бы предвидеть эту необходимость: невозможно готовить на тридцать пять душ в такой маленькой кухне, как у пономаря. О чем еще он позабыл? Жан-Батист пьет кофе, хотя напиток такой горячий, что прямо-таки ошпаривает язык и горло.

Кабинет рядом с кухней стал жилищем Лекёра. Жан-Батист заглядывает туда, видит, что кровать уже аккуратно заправлена то ли Лекёром, то ли Жанной. В изножье лежит небольшой мешок, и из него выглядывает несколько книг. Кроме запаха влажной штукатурки кладбищенского архива в комнате витает безошибочно узнаваемый запашок коньяка.

Жан-Батист ищет Лекёра и находит его у старинного надгробия, одного из тех сооружений с выветрившейся каменной кладкой, что опустились под углом в землю, точно окаменелый

кораблик, жертва крушения.

— Под этим, наверное, лежит целое благородное семейство, — говорит Лекёр, похлопывая по влажному камню. — Но буквы так стерлись, что я не могу разобрать фамилию. Ты в состоянии прочесть?

Жан-Батист смотрит на камень. Роан. Роринг. Рош.

— Нет, — говорит он. И продолжает: — Пора начинать.

— Копать?

— Да.

— Наш Александр заговорил, — произносит Лекёр, который, похоже, все еще не протрезвел.

— Отведи, пожалуйста, рабочих туда, где сделана разметка, — велит Жан-Батист, — я буду ждать вас там.

Это, насколько известно Жан-Батисту — насколько он смог понять из рассказов Жанны и ее деда, — самое старое из сохранившихся захоронений, квадрат семь на семь метров, который он разметил с помощью веревки и колышков в северо-западном углу кладбища. Рядом с этим местом по ту сторону стены встречаются Рю-о-Фэр и Рю-де-ля-Ленжери. Кочковатая поверхность, покрытая поблекшей травой, не выдает ника-

ких секретов. Если здесь и впрямь захоронения, значит, памятник тем, кто лег в эту землю, не сохранился.

Он стоит у веревки, глядя на приближающихся рабочих. Здоровается с ними, говорит, что надеется, что ночь прошла спокойно, потом с помощью Лекёра разбивает горняков на три группы: одни будут копать, вторые — собирать кости, третьи — складывать. Когда работа будет окончена, те, что копали, смогут выйти из отмеченного квадрата.

— Землю, — объясняет инженер, — следует кидать на эту сторону. Когда яма опустеет, грунт, смешав с негашеной известью, надо засыпать обратно. Что касается костей, то в свое время их отвезут на телегах за город на новое место упокоения.

Он умолкает. Некоторые из рабочих качают головами, некоторые просто смотрят на него.

День очень тихий, по-зимнему тихий. Неподалеку от веревки недвижно застыли Жанна с дедом. Жан-Батист переводит на них взгляд и улыбается — или пытается улыбнуться. Но лицо у него совсем окоченело, да и в любом случае, что могла бы означать его улыбка? Он поворачивается к шахтеру, стоящему ближе всех. К Иосу Слаббарту или Яну Билоо. А может, к Яну Блоку.

Кивает. Человек кивает в ответ и поднимает лопату. Земля открывается.

Они копают три часа, а потом Жан-Батист велит Лекёру устроить первый перерыв. В эти первые часы они находят немного. Мертвецы, по-видимому, распались на мелкие частички, кусочки, словно могила перемешала их, подобно тому, как стариковский рот пережевывает черствый хлеб. Правильно ли указано место? Или пономарь ошибся? Они с Жанной ушли обратно в дом. Но после перерыва яма начинает выдавать свои сокровища, и каждый второй удар лопатой извлекает на свет какую-нибудь узнаваемую часть скелета. Челюсть с рядом зубов, которые, кажется, еще могут укусить. Хрупкие косточки ступни. Ребра, похожие на доски старой бочки. Груда костей превращается в невысокую стену. Древесины не видно, даже самой маленькой щепочки, никаких свидетельств того, что погребенные здесь мужчины и женщины были укрыты чем-нибудь, кроме савана.

Лиза Саже объявляет обед, колотя поварешкой по дну кастрюли. Сколь бы неприятной ни была работа, на аппетит рабочих она, похоже, не повлияла. Жан-Батист и Лекёр медлят, стоя на краю могилы. Лекёру нехорошо, он натянул шейный

платок на рот и нос.

— После обеда разожжем костер, — говорит Жан-Батист. — Может, немного полегчает.

Лекёр кивает.

— Ты поешь? — спрашивает Жан-Батист.

— Сначала мне нужно что-нибудь, что успокоит желудок, — отвечает Лекёр приглушенным голосом, приглушенным и странным.

— Да, — говорит Жан-Батист. — Я попрошу Армана принести еще коньяку. Нам всем надо сделать по глотку перед работой.

В дневную смену трое из тех, что копали, стали собирать кости. Все, находящиеся в огороженном квадрате, рано или поздно оказываются стоящими на костях. Кроме костей, в яме обнаруживаются и другие вещи. Их передают наверх. Согнутый металлический крест, весь позеленевший. Брошь, почти совсем разложившаяся, в форме розы. Часть вырезанной из жести детской игрушечной лошадки. Пуговицы. Пряжка античного вида. Пока ничего ценного. А если отыщется что-то дорогостоящее? Кто станет законным владельцем? Нашедший? Пономарь? Инженер? А может, министр?

Случаются моменты, когда на рабочих — на всех разом — накатывает волна омерзения. Они

закрывают глаза, дрожат, колеблются, потом кто-то один плюет в ладонь, и его сапог или деревянный башмак еще увереннее напирает на лопату. Рабочий ритм восстанавливается.

К тому моменту, когда городские колокола бьют четыре, свет начинает тускнеть, и люди, чьи головы теперь уже опустились ниже уровня земли, сверху кажутся копающими землю тенями. В стенки ямы втыкают факелы. Зрелище, каких мало: команда копателей в освещенной красным дыре вытаскивает из-под ног человеческие кости! Насыпь из костей тянется во всю длину ямы по одной ее стороне, доходя людям до плеч. Последний час работы ощущается как целый день. Жан-Батист поставил бутылку с коньяком на траву рядом с собой. В перерывах — которые становятся короче — он передает бутылку вниз, смотрит, как ее пускают по кругу, потом берет обратно, значительно более легкую. Без четверти шесть он останавливает работу. Инженер знает, что потом ему придется заставлять людей работать даже ночью, но не теперь. Он и сам пока не способен на такое, так что не может требовать и от них.

Он находит Лекёра, и они молча идут к дому пономаря. Стоят перед кухонным огнем.

Минуты через две Лекёр, глядя в огонь, тихо произносит:

— Боже милостивый!

— Завтра будет легче, — говорит Жан-Батист.

Лекёр оборачивается, неожиданно усмехнувшись инженеру.

— Завтра наши сердца будут разбиты, — говорит он.

Глава 5

День второй: они напряженно работают уже целый час, когда внимание Жан-Батиста отвлекает резкий свист; обернувшись, он видит Армана, который машет, чтобы инженер подошел к церкви. Тот подходит. Арман сообщает, что его ждут три человека.

— В церкви?

— В церкви.

— Ты их знаешь?

— Ни одного, — говорит Арман, подстраивая свой шаг к шагу инженера.

Пришедшие стоят в нефе рядом с колонной, с которой свисает то, что осталось от широкополой кардинальской шапки — этакая почитаемая суповая тарелка. Один из них Лафосс. Двое других — неизвестные.

— Месье! — приветствует Лафосса Жан-Батист.

Двое просто стоят с легкой улыбкой. Жан-Батист представляет Армана.

— Органист? — спрашивает один из них. — Вы, конечно, играете Куперена?

— Я всех играю, — отвечает Арман.

— Мне хотелось бы немного послушать, — го-

ворит незнакомец, — прежде чем орган сломают. Быть может, сюиту «Парнас».

— Бессмертна лишь музыка, — отвечает Арман.

— Эти люди, — говорит Лафосс, глядя на Жан-Батиста, — лекари. Они будут проводить исследования. Вам следует оказывать им всяческое содействие.

— Эксгумация в таких масштабах, — говорит любитель Куперена, с виду состоятельный и упитанный господин лет пятидесяти, — явление уникальное. Появляется возможность увидеть воочию все стадии разложения, вплоть до последней горсти праха.

— Человеческий путь, — вступает в разговор его коллега, более угловатый и более худощавый, — принято исследовать с момента рождения до момента смерти. От первого вздоха до последнего. Однако благодаря острым скальпелям наших анатомов мы теперь хорошо осведомлены о тех месяцах, что лежим невидимыми в утробе матери. Ваша работа здесь, месье, даст нам наиболее полное представление о нашей судьбе после события, именуемого смертью.

— О судьбе нашего тела, — добавляет первый тоном человека, высказавшего забавную мысль,

и указывает туда, где в полумраке горбится алтарь.

— Именно, — подтверждает второй. — Остальное предоставим мудрости нашей матери-церкви.

— Выделите лекарям помещение, — говорит Лафосс, — чтобы их работе никто не мешал.

Откуда-то сверху, над их головами, раздаются негромкие, но явственно различимые звуки, вероятно, это не что иное, как шорох гнездящихся птиц, но Жан-Батист, поймав взгляд Армана, торопится согласиться на всяческое содействие лекарям. Ему не хочется, чтобы на него вновь обрушился глас отца Кольбера и всем стало ясно, как мало инженер здесь значит.

— В таком случае мы все обсудили, — говорит Лафосс.

Он неуверенно поворачивается, как будто в поисках выхода.

— Я доктор Туре, — представляется более худощавый, поняв наконец, что эмиссар министра вовсе не собирался его представлять. — А это мой коллега… — Коллега любезно улыбается. — Доктор Гильотен.

После обеда по инструкции Жан-Батиста рабочие строят ворот из связанных вместе трех

толстых бревен, колеса и цепи. Потом мастерят холщовую люльку, крепящуюся к концу цепи. И две лестницы с широкими, прочными ступенями. Разводят костер и вновь начинают работать.

С помощью отвеса Жан-Батист измеряет глубину ямы — чуть более тринадцати метров. А до верха насыпи из костей скоро уже нельзя будет достать рукой. Такое огромное количество костей не слишком беспокоило бы его, если бы накануне вечером он не получил известие из Врат ада, что у них началось затопление из-за неожиданно грянувшей весны и в течение некоторого времени они не смогут принять никаких материалов с кладбища Невинных. Идет ли речь о днях, неделях или месяцах, не уточнялось. Но при таких темпах за несколько недель кладбище превратится в лабиринт. Люди будут блуждать по коридорам из костей.

Команды — копатели, сборщики и укладчики — меняются местами каждый час. Всем ясно, что более двух часов никого нельзя оставлять работать на дне ямы. Ближе к вечеру — это один из тех дней, когда свет уже пытается вступить в свои права, настоять на своей значимости, — один из шахтеров, в конце смены поднимаясь по лестнице, приостанавливается, соскальзывает

со ступеньки и валится навзничь. К счастью, не на головы своих товарищей. Его поднимают в люльке.

— Это Блок, — говорит Лекёр, присев рядом с шахтером. — Ян Блок.

Наверху, где дышится легче, Блок начинает шевелиться, оглядывается и, все еще мертвенно-бледный, встает на ноги.

— Пусть, если хочет, идет в палатку, — говорит Жан-Батист. Он уже услышал, как кто-то произнес слова «мертвый воздух». Все знают, что это такое, и в Валансьене все видели или слышали о человеке, утонувшем в некоем неопределяемом веществе. Было бы, конечно, абсурдно предположить, что оно есть в яме, но Жан-Батист объявляет перерыв и передает рабочим бутылку. Они смотрят на него. В их взглядах он читает что-то такое, чему он не находит названия. Через пятнадцать минут он отправляет вниз по лестницам новую партию.

Среди предметов, найденных сегодня в яме: позеленевшая монета времен правления Карла Девятого, ржавое, но узнаваемое ожерелье, кольцо с крестом — особой ценности не имеющее, еще пуговицы, лезвие ножа. Зачем? Порезать что-нибудь в мире ином? Любопытное цветное

стеклышко в форме сердца — довольно милое.

Последнюю находку инженер промывает водой, когда вечером моет руки, и по какой-то прихоти или просто не зная, что с ней делать, дарит ее Жанне. Та принимает подарок со странно торжественной улыбкой на лице.

Глава 6

Один человек сбегает. Сбегает вместе с инструментами среди ночи. Никто его не видел и не слышал. Даже соседи по палатке, похоже, удивлены и пребывают в недоумении, как будто его унесла какая-то сила, может, та, что пробудилась в потревоженной могиле. Лекёр предлагает, не мешкая, снарядить погоню. Он сам ее и возглавит. Беглец не мог далеко уйти, и ему, разумеется, будет трудно спрятаться в городе, которого он совсем не знает.

— Они не пленники, — говорит Жан-Батист. — И это не кабальный труд.

— Людям нужна твердая рука, — отвечает Лекёр, который утром, бреясь, порезал себе шею. — В конце концов, разве мы не спасли их от шахт?

— Не знаю, — говорит Жан-Батист, обращаясь больше к себе, чем к Лекёру, — кого мы там спасли.

Все остальные после пересчета оказались на месте, хотя упавший с лестницы шахтер, Ян Блок, для работы не годен, и Жан-Батист навещает его в палатке, где тот лежит на соломенной лежанке, точно Христос Гольбейна. Больной во все глаза

смотрит на темный силуэт инженера, который возник в проеме входа в палатку, затем приблизился и остановился над ним в тусклом свете.

— Тебе больно? Плохо?

Блок облизывает губы кончиком побелевшего языка и что-то говорит, ему приходится повторить это дважды, прежде чем Жан-Батист понимает смысл его слов.

— Тебе холодно?

— Да.

— Мы принесем тебе еще одеял. И выпить чего-нибудь горячего.

Блок опускает веки. Инженер уходит. Найдя Жанну, он спрашивает, не могла бы она навестить больного и принести ему кофе или бульону. И есть ли где-нибудь одеяло? Горняк жалуется, что ему холодно.

Под руководством Лекёра люди уже работают в яме. Костер, ворот, лестницы. Глухой стук костей, брошенных на другие кости. Крик тех, кто внизу, предупреждает верхних, что люлька наполнилась и ее можно поднимать. Теперь копатели углубились настолько, что освещение требуется даже по утрам. Четыре факела, воткнутые в стены, горят неровным светом. Жан-Батист садится на корточки и пытается рассмотреть, в каком со-

стоянии стены. Осыпается ли земля? Есть ли риск обрушения? Смогут ли они быстро вытащить людей, если стена ямы все-таки рухнет?

Он решает, что должен спуститься сам и увидеть все своим глазами (давно пора); никому ничего не говоря, он подходит к ближайшей лестнице и начинает спуск. Инженер чувствует, что и внизу, и наверху работа замерла: рабочие следят за ним. Его ноги нащупывают ступеньки. Небо исчезает. Воздух становится все более спертым.

Сойдя с лестницы, он на секунду теряет равновесие и хватается за локоть стоящего рядом рабочего. Нужно распорядиться, чтобы они продолжали работу, но теперь внизу слишком тесно. Он смотрит на шахтеров, чьи вытянутые лица освещены сверху факелами и тусклым утренним светом. Смотрит на черные стены, смотрит на землю, на которой стоит, смотрит вверх, туда, где над ямой склонились голова и плечи Лекёра. Берет лопату из рук человека, рядом с которым пошатнулся, прижимает ее острым краем к стене, поворачивает и видит, как от стены отваливается влажный кусок земли. Точно так же он проверяет противоположную стену и получает тот же результат. Вернув лопату, ставит ногу на нижнюю ступеньку и чувствует прилив тошноты, кото-

рый, слава богу, удается подавить. Поднявшись, он, еле удерживая равновесие, ступает на траву.

— Надо поставить шахтную крепь, — хриплым голосом говорит Жан-Батист Лекёру, который сразу же подходит к нему. — Чтобы стены не обрушились. Поднимай людей.

В бревнах недостатка нет: месье Дежур, наверное, притащил сюда половину древ, которыми торгуют в Париже. Горняки выстругивают стойки и подпорки, наскоро мастерят планки. С деревом работать приятно, и когда после обеда шахтеры вновь спускаются в яму, кажется, настроение у них улучшилось. В середине дня отвес показывает глубину почти в семнадцать метров. Теперь в люльке больше земли, чем костей. К наступлению темноты дело будет закончено! Очищена первая общая могила на кладбище Невинных!

Последняя смена копателей выходит на поверхность в половине седьмого. Зимняя луна светит на их лица, светит на насыпь из костей, которая теперь кажется несколько иной, чем раньше: не жуткими и плачевными останками бесчисленных жизней, а скорее хорошим урожаем, добытым тяжким трудом. Жан-Батист снимает шляпу и теребит волосы, собственные волосы, которые он, как советовал Шарве, отрастил до

подобающей длины. Шахтеры уходят прочь, некоторые с лопатами на плечах, и издали кажется, что это мушкеты. Хороший день. Небольшая победа, дарованная за упорный, нелегкий труд, за то, что они не потеряли самообладания. На краю ямы Жан-Батист и Лекёр тихо поздравляют друг друга. Пожимают друг другу руки.

На следующее утро Жан-Батист уже не в таком ладу с миром. Он снова плохо спал — проснулся ночью в какое-то бестолковое время с колотящимся сердцем, а потом лежал несколько часов, раскапывая воображаемые могилы одну за другой, пока ему не стало дурно, так что он выбрался из постели и оделся в темноте.

На кладбище при свете лампы он осматривает Яна Блока: тому явно хуже. На коже появился какой-то налет вроде того, что бывает на тухлом сыре. Дыхание тяжелое, хриплое. Не исключено, что он умирает, и, что вполне вероятно, даже слишком вероятно, умирает от какой-то заразы, которую могут подцепить и другие, и тогда в течение недели все будет закрыто, последний выживший закатит последнего умершего в пустую яму…

Через час он находит одного из лекарей, доктора Гильотена, который исследует стену из костей.

Он видит, как доктор вытаскивает из этой стены какой-то кусочек и сует себе в карман.

— Надеюсь, вы не против? — спрашивает Гильотен, видя подходящего к нему инженера. — Поразительно деформированный позвоночник. Я и подумал, что неплохо бы его прибрать, пока меня не опередил Туре.

Жан-Батист рассказывает лекарю о больном, описывает несчастный случай и спрашивает, не согласится ли Гильотен осмотреть рабочего.

— Нет ли там заразы… которая может…

Доктор соглашается. Больной поблизости? Да. Они вместе идут к палатке, ныряют внутрь. Оказывается, там есть кое-кто еще. Шахтер с изуродованной рукой. На мгновение, повинуясь спокойному взгляду шахтера, вошедшие останавливаются. Потом горняк уходит, молчаливо и неспешно.

— Любопытный экземпляр, — говорит доктор. — Лиловые глаза. Заметили? Очень необычно. — И, повернувшись к человеку на соломе, спрашивает: — Как его зовут?

— Это Блок, — говорит Жан-Батист.

— Блок? Доброе утро, Блок. Вы упали? Вам плохо?

Ян Блок выглядит испуганным.

Доктор улыбается.

— Не надо меня бояться. — И обращаясь к Жан-Батисту: — Не могли бы вы его повернуть? Спину гораздо удобнее обследовать, если человек лежит на животе.

Жан-Батист берет горняка за плечи и начинает его поворачивать. Больной не сопротивляется, хотя все его тело бьет дрожь. Непростое это дело. Когда мужчина наконец перевернут, доктор просит:

— Поднимите ему рубаху.

Кожу на спине Яна Блока что-то пронзило по обе стороны от позвоночника, и хотя следы от ран небольшие, вокруг них расходятся яркие пятна, свидетельствующие о воспалении.

Гильотен подходит ближе. Смотрит, но, как и большинство людей его профессии, предпочитает не дотрагиваться. Кивает.

— Можно опустить рубаху. Спасибо, месье Блок. Мы найдем для вас целительное средство, так ведь?

Когда они отходят на несколько шагов от палатки, доктор говорит:

— Он отравлен каким-то веществом, попавшим в организм во время падения. Раны следует немедленно промыть раствором серы. Что

касается лихорадки, то он должен принять измельченную хинную корку, смешанную с небольшим количеством коньяка. Я, впрочем, не считаю необходимым полностью снимать лихорадку. Жар — не враг нам. В нем сгорает болезнь. — Остановившись, он пристально смотрит на Жан-Батиста. — Даже будучи в полном здравии, — продолжает он, — мы постоянно перерождаемся в горниле своего поколения. Вам знакома теория флогистона?

— Кое-что слышал.

— Слово «флогистон» греческое и означает «воспламенять». Это горючий элемент, заключенный во всех вещах. Латентный огонь. Потенциальный огонь. Пассивный, пока его не вызвали к жизни.

— Искрой?

— Или же ударом, трением. А также просто постепенным повышением температуры.

— Может ли быть, — спрашивает Жан-Батист, — что болезнь Блока вызвана заразой, которая все еще сохранилась в костях? Что кости все еще содержат следы той болезни, которая когда-то их поразила? Ну, я имею в виду, поразила того, кому эти кости когда-то принадлежали.

— Как затейливо вы выражаетесь, — говорит Гильотен. — Как будто кости — это какое-то иму-

щество, вроде лошади или часов. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу: не думаю, что болезнь, какова бы она ни была, смогла бы настолько пережить свою жертву. Впрочем, это не значит, что вы или ваши люди могут спокойно допустить соприкосновение костей с открытой раной или порезом. В качестве общей дезинфекции я рекомендую уксус. И очищенный спирт. Этанол. Очень эффективен. Но храните его с осторожностью. Это мощное опьяняющее средство. К тому же легко воспламеняется. Даже спиртовые пары. Особенно пары.

— А где мне его найти, этот этанол?

— Раздобыть для вас немного?

— Буду вам крайне признателен. А серу? Хинную корку?

— Я напишу записку аптекарю, — говорит Гильотен, похлопывая молодого человека по плечу. — А теперь пойдемте-ка в дом и посмотрим, не сварит ли нам кофе та славная девушка.

За кухонным столом Жанна, Лиза Саже и оба Лизиных отпрыска заняты чисткой овощей. Доктору приносят стул, но он предпочитает стоять у огня. Доктор бодр и доброжелателен. Говорит милые и приятные слова женщинам и детям. Жан-Батист объясняет, что они только что наве-

щали больного горняка. Что тому сегодня явно хуже, но доктор прописал лекарства.

— Натали за ними сбегает, — говорит Лиза, кивая головой на девчушку. — Вытри руки, Натали, и надень пальто.

— Мы можем подыскать для него место в доме, — предлагает Жанна. — Я постелю ему наверху, на лестничной площадке. Здесь ему будет лучше.

— На тебе приготовление пищи, — напоминает Жан-Батист, — и много других обязанностей.

— Хороший уход, — говорит Гильотен, — частенько отделяет выздоравливающего пациента от пациента умирающего.

— Тогда мы просто обязаны это сделать, — говорит Жанна, глядя на Жан-Батиста широко открытыми глазами.

— А нельзя отправить его в больницу? — спрашивает Жан-Батист.

Доктор фыркает.

— Больница — место весьма опасное. Особенно для человека, уже ослабленного болезнью.

Натали в застегнутом пальто уже готова идти выполнять поручение. В кабинете, где спит Лекёр, есть письменные принадлежности. Доктор составляет небольшой список, перечитывает

его, затем, прищурившись, ставит подпись и в сложенном виде отдает девочке.

— Я добавил кое-что для вас, — обращается он к Жан-Батисту. — Эта настойка поможет вам высыпаться. Правильно я догадался?

— Отправляйся к месье Бустанкуа, — напутствует Лиза дочку. — Одна нога здесь, другая там.

Девочка кивает, кокетливо улыбается доктору и уходит.

— Ох уж эти детки, — мурлычет Гильотен и, стуча пальцем по кофейнику, продолжает: — Можно нам похозяйничать, мадемуазель?

Очищенная яма заполнена, в чернозем добавлено несколько мешков негашеной извести. Поднялся ветер. Он мечется, завывая, точно волынка, меж кладбищенских стен. Одежда, руки и лица людей покрываются тонким слоем известки. Щиплет глаза, из носа течет, но заполнять яму все же лучше, чем опустошать. К тому же быстрее. После полудня общую могилу под номером один в блокноте инженера можно перечеркнуть аккуратной линией. Ворот и люлька, древесина для крепежа, инструменты и сами рабочие перемещаются на пятнадцать шагов к югу. Лекёр и Жан-Батист отмеряют веревкой и колышками будущий зев еще одной общей могилы.

Зовут Жанну и пономаря, чтобы те подтвердили правильность разметки. Пономарь, побродив вокруг, точно собака, которая ищет место, где бы прилечь, наконец приходит к выводу, что веревочный квадрат надобно перенести на пять шагов ближе к южной стене. Колышки вынуты и снова забиты. Пономарь кивает. Снова разводится костер. Команда копателей перешагивает через веревку, те же, кому назначено складывать кости, стоят наготове. Вновь слышится знакомая музыка — лопаты стучат по земле и гремят кости, ударяясь друг об дружку, словно глиняные горшки.

Насколько тяжело приходится рабочим, видно по количеству алкоголя, необходимого, чтобы продержаться. Сегодня день «на три бутылки». По бутылке на каждый вырытый метр. Одна десятая бутылки на человека на каждый вырытый метр. Это уравнение? Таким уравнениям в Школе мостов не учили. Когда работа закончена и горняки расходятся по палаткам или погреться у большого костра рядом с крестом проповедника, Жан-Батист и Лекёр умывают руки в ведре у входа в жилище пономаря.

— Чем это они собираются там заниматься? — спрашивает Лекёр, стряхивая с пальцев

воду и кивая на предоставленную лекарям лабораторию, небольшое помещение без окон, сооруженное из натянутой на шесты холстины, которое пристроили к церковной стене.

— Бог его знает, — отвечает Жан-Батист, который уже видел, как несколько ранее туда внесли пару столов на козлах и тяжелую кожаную сумку, в которой что-то позвякивало.

На кухне один лишь старый пономарь спит в своем кресле, но через несколько секунд с лестницы спускается Жанна. Ее нежное личико сияет, словно она только что умыла его свежей холодной водой.

— Он отдыхает, — говорит она, — и уже принял все лекарства.

— Блок? — спрашивает Жан-Батист.

Девушка кивает.

— Доктор сказал, что, если сможет, навестит его завтра.

— Хорошо. Спасибо, Жанна. Я очень тебе благодарен.

— А ваше лекарство на каминной полке, — говорит она. — Вон там.

— Твое лекарство? — удивляется Лекёр.

— Доктор Гильотен, похоже, решил, что мне нужно средство от бессонницы.

— Ах, от бессонницы! Да, в последнее время Морфей и со мной не дружит. Всю ночь мечусь в постели, точно заяц.

— Тогда возьми себе половину, — предлагает Жан-Батист, рассматривая пузатую коричневую бутылочку без надписи, закупоренную пробкой. — Здесь хватит на двоих.

Оставив Лекёра с Жанной и дедом, он возвращается на Рю-де-ля-Ленжери с ополовиненным флаконч иком в кармане. Перед сном следовало бы подвести некоторые итоги, а завтра попытаться получить еще денег в ювелирной лавке на Рю-Сен-Оноре. Надо заплатить торговцам и, конечно, рабочим. Что-то посолиднее необходимо выдать Лекёру, Жанне с дедом, Арману и Лизе Саже. Жан-Батист задолжал месье Моннару плату за месяц и не хочет больше тянуть, чтобы не давать хозяину повод для недовольства. На лестнице, ведущей в гостиную, он встречает Мари, которая спускается с подносом, полным тарелок. На тарелках разбросаны мелкие косточки. Мари корчит ему рожицу — не исключено, что в предместье Сент-Антуан такая гримаса имеет какой-то особый смысл. Жан-Батист тихонько спрашивает, как себя чувствует Зигетта.

— О, бедняжка Зигетта! — восклицает Мари,

довольно удачно передразнивая мадам Моннар, и проходит мимо, задев его плечом и бедром.

Жан-Батист идет к себе в комнату, садится, сидит при свече, потом ставит на стол бутылочку с лекарством и, сложив руки, смотрит. Сколько капель надо принимать? Сказал ли доктор Гильотен? Инженер помнит, что это же средство прописывали под конец жизни отцу. Сколько они вливали ему в рот из ложки? Десять капель? Двадцать? Он решает, что выпьет *немного*. Не утруждая себя счетом. Устал он считать. Выпьет *немного* и посмотрит, что получится, а после уж разберется, сколько капать.

* * *

Уже поздно — поздно или, наоборот, рано. Жанна, разбуженная какими-то звуками, которые услышала сквозь сон, выходит из комнаты, где живет вместе с дедом, и смотрит на Яна Блока. Лицо горняка освещено лунным светом, который льется из узкого арочного окна в конце лестничной площадки. Требуется несколько секунд — так крепко она спала, — чтобы осознать, что у больного открыты глаза. Девушка улыбается ему, потом опускается рядом на колени — так ему будет лучше видно. Он протягивает к ней руку,

и она успевает ее поймать. Потом, подержав, она кладет эту руку ему на грудь, чуть поднимающуюся от неровного дыхания. Горняк медленно опускает веки, и в этом есть что-то такое безропотное, такое безнадежное, что ей не верится, что он когда-нибудь их откроет. Его дыхание на миг останавливается, мгновение длится, и кажется, оно будет длиться вечность. Но вот грудь больного сдавливает какой-то спазм, что-то вроде икоты, и он снова начинает дышать, теперь гораздо спокойнее.

Скрипят ступеньки. Появляется голова, высовывающаяся из мрака лестничной клетки в серебристый свет коридора. Голая, бритая голова, блестящие глаза.

— Не бойся, — очень тихо говорит голова. — Это только я, Лекёр.

— Он проснулся, — отвечает она, — но потом уснул.

— Ты хорошая девушка, — говорит Лекёр. — Кажется, ты мне снилась.

— Уже утро? — спрашивает она.

— Нет, — неуверенно отвечает он, — не думаю.

Глава 7

Элоиза Годар, любительница чтения, продажная женщина, дочь хозяев таверны на тракте Орлеан — Париж, юное создание, только что справившее свое двадцатипятилетие и по собственной воле давно уже губящее собственную жизнь, встает с колоколами церкви Святого Евстафия, которые бьют шесть, на ощупь одевается (от белых чулок до зеленой ленточки вокруг шеи), зажигает свечу, чтобы оглядеть себя перед выходом, и, погасив ее, спускается по винтовой деревянной лестнице в мир людей на Рю-дю-Жур.

Как всегда бывает при выходе из дома, она испытывает волнение, что-то внутри затвердевает — то, что за ночные часы, пока она лежала в своей одинокой постели, успело смягчиться, раскрыться… Она стягивает плащ на груди, надевает капюшон, вдыхает холодный воздух.

У нее назначено свидание с Бубоном, плетельщиком корзин, в его мастерской в дальнем конце рынка. Бубон — вдовец, человек, который, как и торговец книгами Исбо, как портной Тибо — как и она сама, — не особенно похож на соседей. Это

будет их восьмое свидание. Мужчин, с которыми Элоиза встречается — а их немного, — она навещает регулярно, в назначенные дни, назначенные часы. Она не имеет дела с кем попало. Все эти разговоры, мол, она пойдет с первым встречным, стоит только покрутить монетой у нее перед носом, все это ложь. В большинстве случаев ей приходится самой подходить к господину, но даже и тогда ничего не говорится прямо. Она хорошо научилась вести себя по-деловому, никогда, впрочем, не называя вещи своими именами. Как раз это, вероятно, им в ней и нравится: ее готовность никогда не сопротивляться тому, что они делают, тому, за что они платят, тому, что им потребно. А потребно им не совсем то, что рисует в своем грубом воображении весь квартал. Например, она будет сидеть на коленях у Бубона среди вязанок и ивовых прутьев, а он станет рассказывать ей о том, как идет торговля, жаловаться на боли в спине и ногах. Она выслушает его с нежным вниманием, потом даст какой-нибудь совет, ободрит его, как поступила бы любая жена. Позже он станет разглядывать верхний край ее чулок, проведет тупым, мозолистым пальцем по их шерстяной кромке, а она в который раз спросит, какая разница между ажурным плетением и ви-

тым и чем именно витое плетение отличается от спирального и фигурного. Все это нельзя назвать таким уж неприятным. И наверняка можно вынести. Как правило, можно. Потом, когда ее платье, нижние юбки и сорочка опущены и расправлены как полагается, они выпьют кофе, сваренный на очаге мастерской, она заберет деньги, завернутые в бумажку и оставленные для нее в нише у двери (она не из тех шлюх, что обитают в Пале-Рояль: они-то ничего не сделают и не скажут, пока не получат деньги вперед), и тихо и быстро уйдет. После чего оба почувствуют облегчение, что все закончилось до следующей недели.

Но перед Бубоном надо поесть. Невозможно пройти по рынку ранним утром и не остановиться, чтобы заморить червячка. Сам воздух — воздух, несмотря ни на что, — того требует. Поэтому она останавливается у лавки мадам Форж (той самой, что красит свои волосы в цвет половой тряпки мясника), покупает небольшую булочку, теплую, как кровь, и на ходу отщипывает кусочки корки. В этот утренний час ее почти не замечают и редко оскорбляют. Даже пьянчужка Мерда со слипшимися глазами, который сидит на ступеньке и ест луковицу, глядит на нее совершенно спокойно. Чтобы сэкономить несколько

минут, она сокращает путь через рыбные ряды и видит, как старый настоятель в синих очках спорит с торговкой о цене за голову трески. Мать торговки отдала бы бедному настоятелю эту голову даром, а уж бабушка тем более. Но времена изменились. Теперь нет нужды трепетать перед попами. Рай и ад, ангелы и дьяволы — нынче многие насмехаются над такими вещами. И не только умники из кафе де Фуа или Прокоп. Многие простые люди говорят то же самое. Такие, как торговка рыбой, наверное. Или как она сама.

Она выходит за настоятелем из рыбных рядов, теряет его из виду в толпе, что начала образовываться в начале дня, движется в сторону Рю-де-ля-Фромажери, пересекает южную оконечность рынка и доходит до Рю-о-Фэр. Над стенами кладбища — как всегда в эти дни, в эти дни и ночи, — виднеются струйки дыма от костров. Но в это утро можно заметить еще кое-что, кое-что новое. Черные буквы на стене. Огромные, неровные, мимо которых не пройдешь. Они тянутся от самых дверей почти до Рю-де-ля-Ленжери: «Толстяк-король и шлюха-королева, берегитесь! Кайло копает такую яму, что в ней можно похоронить весь Версаль!»

Посреди улицы с полдюжины мужчин и жен-

щин смотрят, обсуждают, пытаются понять, что там написано. Они уже разобрали слова «король» и «королева», «шлюха» и «Версаль». Остальные слова не столь очевидны. Элоиза, конечно, могла бы им подсказать, но они не захотят слушать ее — *такую* женщину.

Толпа расходится (все еще споря), и Элоиза тоже собирается продолжить путь (ей не хочется, чтобы Бубон волновался, а он обязательно разволнуется), но вдруг, свернув с Рю-де-ля-Ленжери, она видит молодого инженера, того самого, кто тогда, в тумане, назвал себя именем, нацарапанным сейчас на стене. Того, кто дотронулся до ее лица. Он тоже видит ее, а потом, секундой позже, замечает и черные буквы, читает надпись, застывает в напряжении и затем, покраснев, подходит к ней ближе со словами: «Я здесь ни при чем».

Она кивает, затем отламывает кусок булочки и протягивает ему. Он берет его, почти выхватывает, быстро сует в карман кафтана и спешит прочь.

Глава 8

Ему удается остаться с Арманом с глазу на глаз, когда оба сидят на корточках в арочном проходе в южные галереи, а над головой нависает забитая костями крыша. Органист растопыривает пальцы, чтобы доказать, что на них нет ни малейшего следа краски.

— Это Цветок или Лис, — говорит он. — В крайнем случае де Бержерак. Перестарались. Я с ними поговорю. Но, по-моему, ты должен быть польщен.

– *Польщен*?

— Судя по всему, ты произвел на них сильное впечатление. Могу тебя заверить, они ни разу не написали обо мне ни одного слова, а я знаком с ними со времен Госпиталя подкидышей.

— Они были подкидышами?

— Были и остаются.

— Я не знал.

— Разумеется. Ты просто сразу их невзлюбил. Решил относиться с презрением.

— Но мне же здесь работать! Неужто для них это ничего не значит?

— А кто увидит связь? Полагаю, ты не говорил

никому о своем *nom de guerre?*[10]

— Нет, естественно. Нет.

— Нет?

— Нет!

— В таком случае?..

— Я не хочу… не буду…

Запнувшись, инженер оглядывается, как будто среди могильных плит и кашицы из мелких камней может найти подсказку, чего он не хочет и чего не будет. Ему явно следовало принять побольше сиропа доктора Гильотена. Очередная бессонная ночь сделала его тупицей, и его мысли теперь разорваны клочками умственной пустыни. Неожиданно кажется, что рассудительность, связность суждений стали последними из тех достойных качеств, которых он вдруг может лишиться сегодня утром, днем или на следующей неделе. И эта странная, поразительная встреча с Австриячкой! Неужели она его ждала? Ждала, чтобы дать кусок своей булочки? Зачем это ей понадобилось?

— Твои политические взгляды, — говорит Арман, который, судя по всему, уже некоторое время рассуждает на эту тему, — отличаются отсутстви-

---

[10] Примечания: 10

Псевдоним, имя, которое брал солдат при вербовке в армию (*фр.*).

ем выводов. К несчастью, это не редкость.

— Что именно?

— Ты прекрасно видишь, каково положение дел. Ты читаешь и рассуждаешь, однако отказываешься сделать очевидные выводы.

— И каковы же эти выводы?

— Таковы, что люди, гораздо менее одаренные, к ним уже пришли. Люди вроде Цветка, Лиса и де Бержерака.

— Выходит, моя проблема в том, что я знаю, как зовут моих родителей.

— Тебя возмутило то, что надпись на стене может отразиться на твоей карьере. Ты абсолютный эгоист. Ты считаешь себя человеком с возвышенными помыслами, либеральными идеями, но твой истинный идеал — собственное тщеславие.

— А ты что же — от тщеславия совсем отказался? А как же орган в церкви Святого Евстафия?

— Но я способен видеть что-то еще, а не только лелеять свое тщеславие. Мне его недостаточно. Вот и вся разница между нами.

Они с раздражением отворачиваются друг от друга. Жан-Батист, плотно прижав к себе скрещенные на груди руки, глядит за черные камни аркады туда, где по кладбищенской траве к нему идет Лекёр. Нервная походка на плохо гнущихся

ногах, тело, склоненное вперед, лицо под тенью шляпы…

— Бунт, — говорит он, входя прыгающим шагом под арку и не утруждая себя любезностями. — Рабочие взбунтовались!

Судя по всему, он испытывает огромное удовольствие от вида потрясенных лиц инженера и органиста.

— Вероятно, — добавляет он, — сказать, что это бунт, не совсем правильно, пока еще не бунт. Но они недовольны. Очень недовольны. И отказываются работать.

— Причина?

— Им нужны трубки.

— Трубки?

— Табачные трубки. Не желают без них копать. Они убеждены, что табак помогает от заразы.

— Какой заразы?

— Из могил, конечно.

— Они хотят курить?

— Прямо-таки требуют. Все как один. И даже не пытайся найти того, кому первому это взбрело в голову. Просто в одно прекрасное утро они все просыпаются с одной и той же мыслью. Такие идеи могут даже порождаться самим организмом.

Арман смеется.

— Это скорее хорошо, чем плохо. Удовлетворить такое требование можно без особых затрат. И если ты исполнишь их просьбу, они станут хорошо к тебе относиться. И успокоятся.

Так, беседуя, все трое выходят из галереи. На них глядят шахтеры, сгрудившиеся у большого костра.

— На Рю-оз-Ур есть лавка, — продолжает Арман, — та, что напротив кучерской конторы. В ней продается несколько сотен трубок. А табаку хватит на весь королевский флот. Рекомендую.

— В таком случае, — говорит Жан-Батист, — может, ты доставишь сюда все необходимое?

— Не открыть ли мне особый счет? — спрашивает Арман, без заметных усилий вернувшись к своей роли Скарамуша[11], Арлекина, эльфа. — Льготные цены? Скидки?

— Если месье Сен-Меар не возражает, — быстро встревает Лекёр, — я могу его сопровождать.

Арман кланяется, как бы приглашая Лекёра с собой. Лекёр отвечает поклоном.

— Что наш больной? — спрашивает Жан-Батист. — Как он сегодня себя чувствует?

---

[11] Примечания: 11

Скарамуш (*ит.* Скарамучча) — персонаж-маска итальянской комедии дель-арте.

— Блок? Ха! За ним теперь присматривает его ангел-хранитель, — отвечает Лекёр.

— Умер, что ли? — спрашивает Жан-Батист, но его голова все еще забита рабочими и их невероятными идеями.

— Это я о Жанне, — объясняет Лекёр. — Она ухаживает за ним. Так что беспокоиться не стоит. Он всех нас переживет.

Судя по звону колоколов церкви Святого Евстафия и беспокойным стрелкам собственных часов инженера, прошло уже два часа, но Лекёр и Арман возвращаются на кладбище только сейчас. Жан-Батист уже не раз проклинал себя за глупость: разрешить этой парочке уйти вместе, хотя он не уверен, что был в состоянии их остановить, что у него для этого достаточно власти, что у него есть у него право и необходимая сила характера.

То, что оба пьяны, заметно даже с расстояния в нескольких десятков метров, однако они умудряются идти, не спотыкаясь, и коробка в руках Лекёра свидетельствует о том, что они не забыли о первоначальной цели похода.

— Ты стену видел? — шепчет, качнувшись, Лекёр, и его губы оказываются так близко к щеке инженера, что это похоже на поцелуй. — Сен-Меар говорит, что он его знает. Этого Кайло. С виду

человек, которого ни за что не заподозришь в радикализме. Этакий скромняга. Но внутри, внутри холоден как лед. Прикончит и глазом не моргнет. Сен-Меар называет его народным мстителем. В этом есть нечто прекрасное, правда?

— Принес трубки? — спрашивает Жан-Батист.

— Скупил все, что было. Очистил весь магазин. Осталось несколько лишних, так что, может, возьмешь одну себе, а? Хочешь, я тебе выберу?

Рассмеявшись, Лекёр начинает копаться в коробке и при этом впервые за прошедшие дни выглядит счастливым, просто счастливым.

Когда наконец горняки выходят на работу и вновь начинают раскапывать общую могилу, в зубах у каждого глиняный мундштук, который, похоже, никак не влияет на их способность копать, собирать и укладывать. Лекёр стоит в опасной близости к краю ямы. По его виду можно подумать, что он то впадает в сон, то опять просыпается. Подходят врачи. Гильотен останавливается рядом с Жан-Батистом и, понаблюдав некоторое время за работой, спрашивает:

— Вы видели, что написано на стене?

Жан-Батист кивает.

— В действие пришли некие силы, — говорит Гильотен, — однако наши господа предпочитают

их не замечать — на свою же голову.

Жан-Батист оборачивается к нему — мягкие карие глаза на крупном румяном лице. Принадлежит ли Гильотен к партии будущего? Знает ли он, вместе с Лисом, Цветком, де Бержераком и Арманом, какие следует делать выводы? Секунду они глядят друг на друга, пока их внимание не отвлекает звук удара о дерево, что-то раскалывается под лопатой, и они оба переводят взгляд в яму.

Инженер опускается на корточки.

— Гроб? — кричит он вниз. Вместо ответа горняк, глядя вверх, вынимает изо рта трубку.

Гроб выкапывают, кладут в люльку, поднимают и ставят на землю.

— Полагаю, его следует открыть, — тихо произносит Жан-Батист, словно обращаясь к самому себе, и смотрит на ближайшего рабочего. Это Гвидо Брэн. А если не Брэн, то кто-то похожий. Кто-то по фамилии Агаст. Энгельберт Агаст? Рабочий поддевает лопатой крышку гроба, нажимает, потом еще, и наконец с негромким треском крышка поддается, и в одно мгновение гроб почти целиком разваливается. Внутри лежит скелет, человеческие останки, кости, скрепленные клочьями сухожилий. Пряди жестких черных волос, подобно черной траве, виднеются по бокам

черепа. Торчат несколько крупных коричневых зубов.

Проснувшийся и сразу протрезвевший Лекёр осеняет себя крестным знамением, а следом за ним и некоторые рабочие.

— Чтобы получить хорошие кости, — говорит доктор Туре, — чтобы их как следует отделить от прочего и делать с ними то, что требуется, их надо сварить.

— Сварить труп? — недоумевает Жан-Батист.

— Это совершенно обычная процедура, — успокаивает его Гильотен. — В ней нет ничего непотребного. Вам нужно поговорить с пономарем. Люди такого рода владеют этим особым искусством.

В другом гробу, поднятом на поверхность, лежат вперемешку совсем голые кости, так что если его поднять и потрясти, он будет звенеть, как детская погремушка. Зато следующий, не считая горсти пыли, совершенно пустой.

— По крайней мере, — говорит Гильотен, обведя взглядом компанию, — одному удалось удрать. Факт, вселяющий надежду.

По-видимому, своими последними словами доктор хотел разрядить обстановку, но рабочие смотрят на него с каменным выражением лица,

и только Лекёр, мужественно сохраняя хорошие манеры, ухитряется улыбнуться в ответ.

Возникает новая система, новый порядок работ. Остатки гробов сжигаются на костре, и в его пламени можно порой заметить жутковато-причудливые оттенки. Трупы же, все еще упрямо скрепленные связками и жилами, отправляются в склепы галерей, где, начиная с середины дня, Манетти с одним из помощников-горняков складывает их в тачку и катит к тому месту, где установлен котел, медный чан, которым пользуются вот уже сотню лет, дабы завершить дело, начатое кладбищенской землей. Чан был вытащен на свет божий после долгого простоя в углу кладбища.

Поначалу в действиях тех, кто в яме, и тех, кто вскрывает гробы наверху, ощущается напряжение, все они явно приготовились к чему-то ужасному, к чему-то, что вот-вот обретет свободу и неожиданно *посмотрит* на них из деревянного ящика. Вместе с бутылкой коньяка по рукам ходит и банка с табаком. Слава богу, этого достаточно, чтобы шахтеры продолжали свое дело. И к концу дня, когда при свете костра наверх поднимается последний гроб, всё, как ни странно, кажется терпимым, словно работа, несмотря на

некоторые особенности, — это, в конце концов, просто работа. То, на что мы идем ради возможного вознаграждения. То, что делаем по известной причине: человеческую неугомонность должно запрячь и направить к определенной цели, иначе она пожрет самое себя.

Жан-Батист ужинает с Моннарами. Нельзя же избегать их вечно. Сидит рядом с ними — с мадам и месье — и, набив рот, жует мясо с красной фасолью. Небольшой огонь в камине горит веселее обычного: инженер организовал доставку дров из большого кладбищенского запаса. Язычки пламени дрожат на полированной поверхности фортепьянной ножки. Отсутствие Зигетты не обсуждается, хотя ее мать временами посматривает на незанятый стул и на выложенный, но не использованный столовый прибор.

Перескакивая с темы на тему, они уже подробно обсудили погоду, достоинства мяса, повышение цен на фасоль, и теперь каждый углубился в свои мысли, не переставая при этом упорно жевать, как вдруг мадам Моннар, прочистив горло, спрашивает:

— Правда ли, месье, то, что говорит Мари о скандальной надписи на стене кладбища?

— Мари, мадам? Не знал, что она умеет читать.

— Она не могла бы прочесть свое имя, месье, — говорит месье Моннар, — но у нее есть уши. И слух у нее лучше, чем у совы.

И сразу же — непрошеный и яркий — в воображении инженера возникает образ Мари с мохнатыми ушками, сидящей на суку под луной.

— Ей так сказали, месье, — объясняет мадам. — Она узнала от людей.

— И эта надпись не единственная, — продолжает месье Моннар. — Ко мне в лавку заходил сегодня месье Гобель и сообщил, что видел нечто подобное на стене против Биржи.

— Вероятно, их сотни, — говорит мадам Моннар. — Может такое быть, чтобы сотни?

— А во второй надписи, — спрашивает Жан-Батист, подняв вверх вилку, — той, что у Биржи, упоминается то же имя?

— Кайло, — отвечает месье Моннар, вонзив свою вилку в последний кусочек говядины на тарелке. — И всяческие угрозы в адрес короля и министров. Моя жена очень взволнована, месье.

— Боюсь, — говорит мадам Моннар, которая и впрямь выглядит очень взволнованной, — нас убьют прямо в постелях. Перережут горло.

— Уверен, что все это чепуха, — успокаивает ее Жан-Батист. — Не что иное, как… своего рода

игра.

– *Игра*? Можно и так назвать, месье. Понимаю, вы хотите меня утешить. Вы очень чуткий молодой человек. Но сегодня мне приснится, как этот Кайло лезет к нам в спальню через окно. Вы придете на помощь, месье, если мы позовем? У вас есть шпага, месье?

— Нет, мадам.

— А мне казалось, у вас должна быть шпага.

— Я инженер, мадам. У меня есть медная линейка.

— Осмелюсь предположить, что линейка тоже сгодится, — подумав, говорит мадам. — Если она длинная.

Входит Мари, чтобы убрать посуду. Разговор обрывается. Тарелки собраны и составлены в стопку. У Мари сильные красные руки, как у мужчины, как у рабочего. И эти черные волосы! Эти гладкие женские усики, которые, конечно, девушку ничуть не портят. Жан-Батисту кажется, что в служанке есть жизненная сила, равной которой не сыщешь ни у одного из присутствующих, словно своими корнями она уходит в более густой чернозем, куда корни других так и не проросли.

Когда Мари уходит, захлопнув дверь ногой,

мадам и месье обмениваются взглядами, а потом смотрят на своего жильца, будто от него требуется какое-то объяснение — объяснение всему плохому и огорчительному, что произошло с момента его приезда на Рю-де-ля-Ленжери.

— Разрешите поинтересоваться, мадам, — говорит Жан-Батист, — как поживает ваша дочь?

— Зигги? О, как тяжело иметь детей, месье! Мне кажется, она совсем забыла себя. Хорошо бы вы ее навестили, месье. Мы с мужем просто места себе не находим. С тех самых пор — прошу вас простить нас, — с тех самых пор, как вы начали там работать, она никак не может утешиться. Словно это по ней стучат лопатами.

— Мне очень жаль, — отвечает Жан-Батист. — Правда. Но эта работа все равно должна быть выполнена. Я пытаюсь, мадам… *Мы* пытаемся сделать доброе дело, хорошее…

В камине раздается треск, и вылетает горящий уголек. Жан-Батист, быстро вскочив, тушит его носком сапога.

— Дрова сырые, — ворчит месье Моннар, и, хмурясь, глядит в огонь, как будто сырые дрова — причина всех его неприятностей.

* * *

Наверху, прикрыв свечу рукой от дюжины сквозняков, гуляющих под крышей вместе с многими тайными, невидимыми флюидами, инженер останавливается у комнаты Зигетты и смотрит на светящуюся щель под дверью. Уже поздно, но ему любопытно увидеть Зигетту, эту растерянную девицу. Ему хотелось бы, если получится, хоть немного ее ободрить. Как гостю — а жилец ведь тоже своего рода гость в доме своих хозяев, — ему приличествует выказать ей свое сочувствие, и он уже готов тихонько постучать, как дверь вдруг открывается, и перед ним появляется Мари с едва заметной улыбкой на лице. Несколько секунд они в упор разглядывают друг друга, затем служанка отступает, чтобы дать ему пройти.

Две свечи (в дополнение к его собственной) освещают комнату девушки: одна на туалетном столике, другая в небольшом подсвечнике из расписного фарфора на тумбочке у кровати. Комната просторная, по крайней мере раза в три больше, чем у Жан-Батиста. Большое окно со ставнями выходит на тихую улицу. Если комнату привести в порядок, она была бы очень милой, быть может,

самой лучшей комнатой в доме, но как раз порядка тут не наблюдается. Такое впечатление, что здесь пронесся небольшой ураган, взметнувший в воздух все платья и нижние юбки, платочки, вышитые передники и наборы шнуровок, домашние чепцы и соломенные шляпки, чулки, оборки и украшения, которыми отеческая любовь ножовщика одаривает единственную дочь. Но, подняв вещи в воздух, ураган вдруг стих, и они попадали куда попало. Посреди беспорядка, частично им же прикрытая, сидит Зигетта. На ее тело свободно накинута простыня, а лицо пылает от жара, источник которого, несомненно, таится внутри (ведь огонь в комнате еле теплится). Зигетта глядит на инженера распухшими глазами, ее светлые волосы — неприбранные, непокрытые и нечесаные — лежат на подушке тяжелой массой. Губы искусаны. А на белизне вытянутой шеи Жан-Батист ясно различает пульсацию крови.

— Надеюсь, я не слишком поздно зашел вас проведать?

Зигетта ничего не отвечает. Инженер оглядывается на Мари, стоящую прямо за ним со сложенными перед собой руками и ничего не выражающим лицом.

— Ваша матушка сказала, — говорит он, снова

повернувшись к Зигетте, — что вы не будете возражать. Мы только что вместе отужинали. И с вашим батюшкой, конечно, тоже. — Он указывает назад и вниз, в сторону гостиной. — Мне так жаль, что вам нездоровится. Простите, если я каким-то образом, сам того не желая…

Зигетта истерично машет рукой. Мари вытаскивает из-под кровати большой горшок. Девушку начинает рвать. Организм исторгает немного — по всей вероятности, ее желудок почти пуст, — но звук, усиленный стенками горшка, впечатляет. Мари поддерживает голову девушки, ее красные пальцы, погруженные в копну белокурых волос, тянут Зигетту назад.

Осторожно закрыв за собой дверь, инженер выходит на лестничную площадку и быстро направляется к себе. Там он садится на край кровати и прислушивается, не повторятся ли звуки из комнаты больной. До него доходит несколько слабых вскриков, но потом дом затихает, на время лишенный даже обычных потрескиваний и поскрипываний.

Разжечь огонь? Неохота суетиться.

Он натягивает, точно одеяло, свой шлафрок на колени, смотрит на бутылочку с настойкой, стоящую на обложке бюффоновского второго

тома «Естественной истории», задумывается, не предложить ли Зигетте большую столовую ложку коричневой жидкости, но вдруг, встав, подходит к пальто, в котором выходил утром, залезает в один карман, потом в другой и вытаскивает кусок булки, который дала ему у кладбищенской стены Элоиза. Булка высохла и превратилась в сухарь, но он осторожно откусывает кусочек, ждет, когда он размякнет на языке, и улыбается при воспоминании о ее жесте, таком грациозном, таком непосредственном и простом. Но вдруг снаружи, снизу — как теперь он ясно слышит, с кладбища, — доносится громкий женский хохот. Жан-Батист открывает защелку, распахивает окно и высовывает голову. Ничего не видно, ничего определенного. Быть может, костер у креста проповедника горит немного ярче, чем следовало бы в такое время, но в остальном… Он высовывается все дальше, уже почти по пояс, и вглядывается в темноту. На фоне рыжего огня мелькают тени. Потом вновь раздается этот дикий хохот, который поднимается выше стен и отчетливо звенит, подобно колокольчику коробейника, в холодной и зловонной ночной тишине.

Глава 9

Семь часов утра. На черепице склепов лежит иней, белесое солнце протиснулось между двумя домами на Рю-Сен-Дени.

— Я слышал женские голоса, — говорит Жан-Батист Лекёру. — Один-то уж точно.

— М-м-м, — мычит Лекёр, надевший сегодня плотный вязаный жилет. — Да, нам не следует забывать, что хозяину все прекрасно видно и что на досуге ему ничего не стоит за нами подглядывать.

— Я не подглядывал, — говорит Жан-Батист. — Это не в моих привычках.

— Не в твоих привычках? Тогда как бы ты предпочел называть слежку за нами оттуда, с верхотуры?

— Я бы предпочел, чтобы ты с утра не был пьян.

— Пьян? Ну хорошо. Да. Теперь ты решил устроить мне разнос. А что, если я и вправду… и вправду, как ты говоришь, пьян? Разве у меня нет оправдания? Ты каждую ночь удираешь к себе, а мне приходится оставаться здесь, в окружении могил и костей. Это невыносимо!

— Тебе больше нравятся шахты?

— Я сжег корабли, месье. И все ради тебя. Чтобы ты мог кормить лебедей в Версале и водить дружбу с вельможами!

— Я не кормлю лебедей! И в Версале никогда не был. А бываю я только в том доме, наверху. Только там и больше нигде. А водиться мне приходится с людьми, которые мне, в общем-то, чужды.

Их голоса звучат все громче, они уже почти кричат, и оба смутно понимают, что за ними наблюдают, к ним прислушиваются.

— Однако прошу прощения, — говорит Жан-Батист, неожиданно с тревогой обнаружив, что готов разрыдаться, как ребенок. — Мне жаль, что тебе здесь… невыносимо. Но ведь ты всегда можешь ходить где хочешь. Ты же знаешь: в доме пономаря есть ключи от всех дверей. Если б ты захотел, мог бы уйти с кладбища даже сегодня утром. Погулять по городу. Здесь я и сам справлюсь. И… и заходи ко мне поужинать. Давно собирался тебя пригласить. Думаю, и мой хозяин будет рад с тобой познакомиться. Если хочешь, можешь прийти сегодня вечером.

— Сегодня?

Лекёр делает шаг вперед, бормоча что-то про прощение, про целительную силу дружбы. Он

готов заключить Жан-Батиста в объятия. Но тот, не горя желанием припасть к груди Лекёра, отступает, и на несколько мгновений, пока один приближается, а другой пытается от него ускользнуть, возникает впечатление, что они танцуют.

— Ты так и не рассказал мне про женщин, — говорит Жан-Батист, остановив их совместный танец на краю второй общей могилы.

— Женщин? С полдюжины отважных местных душечек. Залезли на стену по приставной лестнице. Ну, а наши мужчины обеспечили им удобный спуск. Я не вмешивался. Ты сейчас сам увидишь, что у рабочих здорово улучшилось настроение. Конечно, на кладбищах испокон веков можно было найти таких женщин.

— Ты их видел?

— Только смутно. Издалека.

— И ни одна из них… не показалась тебе особенно примечательной?

— Я бы сказал, все они одного типа. Неутомимые создания, известные с древнейших времен.

— А Жанна их видела?

— Мы вместе наблюдали. И зрелище ее, похоже, позабавило.

— Может, она знает, кто они.

— Ты хочешь сказать, знает, чем они занима-

ются?

— Да.

— Понятия не имею.

— Но мы не должны допускать таких ночных эскапад, — говорит Жан-Батист. — Нужно как-нибудь это… упорядочить. Они могли бы приходить по определенным дням недели. По субботам, к примеру. Мы бы пропускали их через дверь. И им не надо было бы лезть через стену.

— Но как нам это организовать? Объявить через городского глашатая?

— Через месье Сен-Меара. Он должен знать, по крайней мере, одну из них. Достаточно будет сказать одной.

— Значит, у нас появится новая профессия, — говорит Лекёр.

— Профессия?

— Есть же название для таких людей. Для тех, кто организует встречи подобного рода.

Быстро пожав друг другу руки, они расходятся — Лекёр к уборным, Жан-Батист к домику пономаря, где Жанна, Лиза Саже и девочка Натали трудятся за кухонным столом. Они наверняка видели через окно его нелицеприятную перебранку с Лекёром, но предпочитают помалкивать. Ему очень хочется спросить Жанну об этих женщи-

нах, о «душечках» — какого они роста, каков у них цвет волос. Хотя в своем воображении он уже успел нарисовать и отбросить картину, как Элоиза лезет по приставной лестнице на кладбищенскую стену. Это было бы настолько же невероятно, как если бы она расправила свой плащ и перелетела на ту сторону, размахивая его полами как крыльями.

Теперь у кухонного очага стоят два стула. Стул пономаря пуст, а на другом, укрытый одеялом, сгорбившись, сидит Ян Блок. Вокруг его впалых глаз пролегли тени, но чувствуется, что горняк идет на поправку. С чем его и поздравляет Жан-Батист. Блок кивает, бросает взгляд в сторону Жанны, а потом вновь смотрит на языки пламени.

— Что ж, — говорит инженер, то ли самому себе, то ли вообще никому, то ли тем, кому захочется его услышать. — Надо продолжать.

Вечером — хотя в душе он недоволен этой затеей — Жан-Батист возвращается в дом на Рю-де-ля-Ленжери вместе с Лекёром и знакомит своего товарища с Моннарами. На стол ставят еще один прибор. Лекёра сажают напротив мадам. По дороге Жан-Батист предупредил, что не надо упоминать о работе на кладбище, что

Моннары особенно чувствительны к любым переменам, любому непорядку. Лекёр пообещал и держит слово, хотя болтает обо всем на свете — неугомонно, без пауз, словно слова неделями накапливались у него внутри и им потребовалась лишь благородная обстановка, стоящее в углу фортепьяно, чтобы вырваться наружу.

Впрочем, месье Моннара, кажется, по-настоящему интересуют валансьенские шахты, технические детали работы помп и передаточных механизмов, а мадам, похоже, тронута рассказом Лекёра о кончине матушки, последовавшей несколько лет назад от водянки, и о том, как Лекёр с сестрой Виолеттой пытались облегчить предсмертную агонию умирающей.

— Стало быть, вы с месье Бараттом прекрасно понимаете друг друга, — говорит мадам. — Ибо, к несчастью, месье Баратт потерял отца в таком возрасте, когда еще можно надеяться, что родитель пребудет со своими чадами. Но разве можно сказать, какая потеря тяжелее — отца или матери? А вы оба чувствительные молодые люди, не правда ли?

— Не могу не согласиться с вами, мадам, — отвечает Лекёр. — Наша дружба зиждется на двух столпах — чувствительности и философии. Мы

читаем мысли друг друга, мадам.

— Вот и у меня с дочерью такая же близость, месье. Именно такая, как вы описали.

— У вас есть *дочь*, мадам? А я-то решил, что дочь в этом семействе — вы.

Он картинно взмахивает рукой. И двойной манжетой кафтана задевает краешек рюмки. Вызывают Мари. Наклонившись, она собирает осколки в передник.

После ужина друзья поднимаются в комнату к Жан-Батисту. Тот разводит огонь. Предлагает Лекёру стул, а сам садится на кровать. Он доволен, что Лекёр видит, как просто он устроился, что эта комната и по размерам, и по обстановке немногим отличается от той в доме пономаря, где поселился Лекёр. Жан-Батист обращает внимание друга на этот факт. Но Лекёр не слушает.

— Я пришел не с пустыми руками, — говорит он, засовывая руку под рубаху и вытаскивая мятый пакет.

Он кладет пакет на стол между ними и разглаживает его. Пакет перевязан красной лентой. Сняв ленту, Лекёр откладывает в сторону первый пустой лист бумаги. Под ним открывается нечто вроде картинки, сложная схема, начерченная выцветшими чернилами со множеством пояснений.

С улыбкой Лекёр передает пачку бумаг Жан-Батисту, тот берет, глядит на схему и кивает.

— Да-да, это Валансиана, — говорит Лекёр.

— Наши старые планы. Ты их все сохранил.

— А ты думал, брошу в огонь? Теперь, когда мы стали старше и лучше знаем мир, надо их пересмотреть. Очистить от всего лишнего.

— Думаешь, стоит?

— Гляди! — восклицает Лекёр, схватив со стола медную линейку. Поднимает ее над головой, держа горизонтально, точно священник во время первого причастия. — Валансиана восстает из пепла!

Полтора часа — пока еле мерцающая свеча не начинает грозить темнотой — они сидят, передавая друг другу листки и обрывки бумаги, на которых сам почерк, иногда Жан-Батиста, иногда Лекёра, пробуждает волнение тех зимних вечеров шестилетней давности на валансьенских шахтах. Мелькают заглавия: «О женском образовании», «Схема современной системы канализации», «Спарта и Валансиана», «О сжигании отходов», «Идеальная жена», «Заметки о разумной религии», «Женская одежда», «Чистота форм», «Транспорт для женщин», «Планы строительства моста».

— Смотри, — говорит Лекёр, — у нас был даже небольшой набросок о погребении покойников.

— Я уже и забыл об этом, — отвечает Жан-Батист. — Я о многом забыл.

— Вот почему я все это принес, — продолжает Лекёр. — Первый порыв — самый правильный. Позже мы делаемся куда более осторожными. Тебе не кажется?

— Или просто меняемся?

— Хочешь сказать, становимся старше?

— Да, старше. Вообще, становимся другими.

— Но сегодня все, как тогда. Разум обращен к разуму, сердце к сердцу. У нас в груди бурлит источник юности! Знаешь, чем одни люди отличаются от других? Желанием оставаться незапятнанными, когда другие просто из-за лени позволяют забить себе рот землей. Могильной грязью.

Жан-Батист кивком указывает на свечу.

— Я провожу тебя вниз, — говорит он.

— Может, я здесь останусь? — спрашивает Лекёр.

— По-моему, — возражает Жан-Батист, вставая, — вдвоем тут будет неудобно.

Они расстаются у входной двери. Жмут друг другу руки. Лекёр, стоящий на улице, точно призрак

самого себя, точно дух, которому в определенный час назначено вернуться в подземный мир, медлит, вздыхает и наконец с неохотой поворачивается, чтобы уйти. На него больно смотреть.

Жан-Батист закрывает дверь, запирает на замок, потом недолго медлит в коридорчике, в темноте между входной дверью и кухонной. Он выполнил свой долг, разве нет? Протянул руку дружбы, вновь окунулся в прошлое, вспомнил свой энтузиазм, который, как ни странно, сейчас показался ему еще более далеким, чем он мог предположить. Чего еще ждать? И все-таки, пробираясь ощупью к лестнице, Жан-Батист несет в душе ясное ощущение предательства. Но он не будет анализировать свои чувства. Отдавшись во власть тьмы, инженер осторожно поднимается к себе.

К обеду следующего дня из списка можно вычеркнуть вторую общую могилу, опустошенную и заполненную новой обеззараженной землей. И хотя в таком месте, как кладбище Невинных, трудно определить наверняка, каково моральное состояние рабочих, Жан-Батисту кажется, что люди обрели что-то нужное, что компания хохочущих женщин прибавила им жизненных сил. Третья общая могила размечена к западу от

второй, и в час пополудни под непрерывным моросящим дождем, который вскоре превращается в ливень, рабочие (некоторые научились курить трубку чашей вниз) начинают копать.

К могиле вновь приходят доктора. Чтобы укрыться от дождя, они раскрывают большие зонтики. Лекари чувствуют себя вполне уютно — похожие на двух господ рыболовов у пруда, которые надеются выудить на ужин щуку, — хотя, по правде сказать, здесь немногое вызвало их профессиональный интерес. Они порылись в извлеченных костях, провели часок-другой с пономарем над кипящим чаном, сделали наброски склепов в галереях, измерили их и в некоторые даже осторожно заглянули. Но все то же самое они могли сделать и на любом другом старинном кладбище — к примеру, Сен-Северен или Сен-Жерве. Но вот после трех часов работы из могилы достают два гроба и ставят рядом на мокрую траву. На вид в них нет ничего такого, что позволило бы отличить их от всех прочих гробов, поднятых на поверхность после обеда. Разве что древесина не такая прогнившая. Но на тщательное обследование не хватает времени. Двое рабочих поддевают лопатами крышки. Почти все горняки уже делают это мастерски:

раскрывают гробы, точно устричные раковины. И отскакивают. Один из них роняет лопату, и она бесшумно падает на промокшую землю. В обоих гробах лежат молодые женщины. Кожа, волосы, губы, ногти, *ресницы*. Всё цело, даже шерстяные саваны, в которые завернуты покойницы. Ткань было бы достаточно постирать, подновить, кое-где подштопать.

Несколько секунд никто не шевелится. Дождь падает на лица мертвых девушек. Лекари склоняются, закрыв покойниц зонтами, — рыболовы неожиданно превращаются в дамских угодников. Проводится предварительный осмотр. Туре дотрагивается до светлых, как солома, волос одной, Гильотен кончиком какого-то металлического штыря, похожего на серебряную зубочистку, аккуратно касается губ другой. Доктора обмениваются несколькими фразами. Гильотен приказывает закрыть гробы и, не мешкая, нести их в лабораторию.

— Один из случаев мумифицирования, — поясняет он Жан-Батисту. — Поразительный образчик. Поразительный! Словно два засушенных цветка…

Гробы грузят на тележку Манетти. Доктора, идя по бокам, сопровождают их до церкви, до лабо-

ратории. Все работы приостановились. Горняки дружно набивают трубки. На дворе безветрие и шорох дождя. Когда смерть вдруг оказалась так похожей на жизнь, не следует ли перед спуском в яму провести какой-нибудь обряд? Может, вызвать из церкви отца Кольбера, чтобы он прочел молитву, окропил всех святой водой? Но Кольбер, даже если его разыщут, скорее всего, накинется на них, точно Иоанн Креститель, страдающий к тому же от невыносимой зубной боли. И, весьма вероятно, швырнет кого-нибудь в разрытую могилу — например, молодого горе-инженера.

Лекёр, с чьей шляпы стекают капли дождя, вопросительно смотрит на Жан-Батиста. Тот кивает. Лекёр приказывает продолжать работу. Почти рявкает. Рабочие безропотно подчиняются.

С наступлением темноты Арман, Лекёр и Жан-Батист получают приглашение Гильотена посмотреть на сохранившиеся трупы женщин, вернее, одной из них, поскольку другая уже была исследована докторами и потому не слишком презентабельна. У Лекёра в руках свечка, а у доктора Гильотена лампа с китовым жиром, который никогда не чадит. Гроб стоит на козлах в сооруженной из холста лаборатории. Они снимают крышку и смотрят.

— Я назвал ее Шарлотта, — говорит доктор Гильотен, — в честь моей племянницы в Лионе, на которую, как мне кажется, эта девушка была похожа при жизни.

— Совсем молоденькая, — говорит Арман, как и доктор, понизив голос почти до шепота.

— И молодая, и старая одновременно, — отвечает доктор. — По моему мнению, она умерла, не дожив до двадцати, и была предана земле лет пятьдесят назад. Наш добрый друг пономарь утверждает, будто помнит, как хоронили двух молодых девушек примерно в то время, когда он только начинал здесь служить. Две местные красавицы. Обе незамужние. Случай, как легко догадаться, вызвавший в округе большое сочувствие.

— Значит, они умерли девственницами, — говорит Лекёр с некоторым благоговением в голосе.

— Немногие из местных красавиц умирают девственницами, — откликается Арман.

— Возможно, вы правы, — отвечает лекарь. — Я еще не удостоверился, *intacta*[12] Шарлотта или нет. Но что касается второй, то мы с доктором Туре обнаружили некоторые признаки беременности.

---

[12] Примечания: 12
Нетронута, девственна (*лат.*).

— У нее в утробе был ребенок? — спрашивает Жан-Батист.

— Не могу этого утверждать. Внутренние органы по консистенции стали похожи на древесную пульпу или папье-маше. Однако имеются некоторые косвенные признаки.

— Что вы будете с ней делать? — спрашивает Арман. — С вашей Шарлоттой? Искромсаете, как и ту, другую?

— Думаю, — говорит доктор Гильотен, — будет лучше, если я попробую ее сохранить. Можно было бы построить для нее стеклянный ящик. Продемонстрировать ее в Академии.

— А сохранится ли тело, — спрашивает Жан-Батист, — после того, как его вновь извлекли на воздух?

Доктор пожимает плечами, затем смотрит куда-то поверх плеча Жан-Батиста и улыбается.

— Тебе тоже любопытно взглянуть? — задает он вопрос.

Остальные оборачиваются. У входа в лабораторию стоит Жанна. За исключением доктора Гильотена, всем мужчинам становится немного не по себе, словно они сами удивились охватившему их неподобающему энтузиазму.

— Я подумала, вдруг вам что-нибудь нужно, —

отвечает девушка. Она не входит в лабораторию и не приближается к ящику. Через несколько секунд Гильотен и Лекёр осторожно кладут крышку на место.

Глава 10

В новой общей могиле местных красавиц не обнаруживается. По мере погружения (это самая глубокая могила из трех: двадцать два метра, судя по последнему замеру отвесом) попадаются в основном развалившиеся гробы, а их обитатели давно перемешались друг с другом. До середины недели люди работают до восьми, а то и до девяти вечера: копают, вынимают и складывают при свете факелов, фонарей и костров. Наконец в субботу — в тускнеющем закатном небе заметно безмятежное сияние какой-то планеты — извлекают последнего погребенного. Те, что в яме, поднимают головы, а те, что наверху, глядят вниз. Инженер приказывает прекратить работу. И просит Лекёра собрать горняков у креста проповедника, потом сам вместе с ним поднимается по винтовой лестнице и объявляет о своем решении: всякий раз, когда очередная общая могила будет очищена, по окончании работы каждый шахтер получит премию в тридцать су. Накануне вечером Жан-Батист производил вычисления, меняя цифры в аккуратно зачеркнутых столбиках, пока не вывел нужную сумму.

— И вот еще что, — добавляет он, подбирая подходящий тон, чтобы отеческая снисходительность сочеталась в его голосе с грубоватой сердечностью и практичностью. — Завтра мы откроем двери кладбища, и вам будет разрешено выйти в город. Вернуться следует до заката, ибо на ночь мы снова запрем ворота. А сегодня вечером ворота могут открыться на час — на случай если кто-то из наших знакомых пожелает зайти в гости.

Лекёр хлопает в ладоши. Наверное, он ожидает, что к нему присоединятся рабочие, дабы продемонстрировать инженеру свою признательность, однако никаких других звуков не слышно, кроме приглушенного бормотания и шарканья сапог. Поняли ли горняки, что им было сказано? Жан-Батист смотрит на Лекёра, но до того, как он успевает спросить совета или попросить друга перевести свою речь на рокочущий фламандский, Лиза Саже начинает бить поварешкой по кастрюле, и рабочие друг за другом уходят в палатки за ножами и мисками.

— Это ты хорошо придумал сделать им выходной, — говорит Лекёр, когда они спустились со ступенек. — Ребята обрадовались.

— Ты уверен?

— Я это ясно видел.

Жан-Батист кивает. Он-то ясно увидел совсем другое: утром в понедельник он стоит тут один без шахтеров или с полдюжиной оборванцев, одуревших от пьянства и обобранных до нитки. Да, эти люди, возможно, крепки, как янычары, но им не справиться с тарабарщиной и ловкостью рук местных мошенников. Однако если и дальше держать рабочих взаперти, случится бунт, и его уже не усмиришь табаком и глиняными трубками. На шахтах — сам он, правда, этого не видел — рабочие, по рассказам, случалось, бросались на первого встречного-поперечного, крушили машины, поджигали здания, даже осаждали квартал, где живут управляющие, пока не появились вооруженные стражи порядка. Большинство горняков, как и он сам, — люди с севера. Долго запрягают, но уж коли на них найдет…

Через час после ужина появляются женщины, сначала осторожные — голова самой смелой первой просовывается в полуоткрытую дверь с Рю-о-Фэр, — потом ворота открываются настежь, и женщины решительно входят, выкрикивая нежные словечки и приветственно махая горнякам.

Лекёр, Арман, Жанна, Лиза Саже и Жан-Батист

смотрят на них, скрытые ночной тенью, пролегающей, точно ров, вдоль западной стены церкви. Женщин трудно сосчитать. Лекёр говорит, их двенадцать. Арман уверяет, что на одну больше, потом называет некоторых: Симона, Марианна и еще вон та худышка, позади всех, по прозвищу Дюймовочка. Самая юная выглядит не старше Жанны, а самая старшая — крупное, грубое создание с голосом сержанта, с виду почти бабушка — ковыляет, хромая, по неровной земле с мрачной целеустремленностью.

Шахтеры ждут, словно экипаж заколдованного корабля. Женщины, точно волны, омывают толпу, проходя сквозь нее. И вот в свете костра начинается праздник. Мужчины передают по кругу бутылки и оловянные кружки с коньяком. Женщины пьют, начинают вести себя, как и положено, все более разнузданно, выбирают себе партнеров, называют цену. Первые парочки удаляются в темноту, взявшись под руки, как это делают любовники всего мира. Те же, кто наблюдал за ними, стоя тихонько у церкви (вроде открывателей новых земель, что под созвездием Южного Креста следят за ритуалами туземцев на берегу океана), удаляются в дом пономаря. На кухне по обе стороны от очага сидят Манетти и

Блок, пономарь спит, положив голову на спинку стула, Ян Блок, погруженный в полудрему, при их появлении слегка вздрагивает и отвечает на кивок инженера неловким, но почтительным кивком.

Вошедшие садятся за кухонный стол. И здесь тоже стоит коньяк. («Везде коньяк, — думает Жан-Батист. — Дойдет до того, что по нему буду я сплавлять кости к Вратам ада»). Они начинают разговор, но в беседу врываются доносящиеся со двора смех и улюлюканье. Им никак не сосредоточиться. Дух плотских наслаждений со всех сторон подкрадывается к домику, словно клочья голубого тумана.

— Нужна музыка, — говорит Лиза Саже и начинает петь простеньким, но приятным голосом — милым, детским, совсем не похожим на ее обычный голос. Арман подхватывает. Лекёр с воодушевлением, но невпопад отбивает такт на столе. Просыпается пономарь, у него вид человека, вдруг не признавшего собственный дом. Жанна успокаивает деда, поглаживая его сморщенные загорелые руки.

Арман тянется за пальто.

— Нам и вправду нужна музыка, — говорит он. — Заглянем-ка в свечную лавку старого Коль-

бера. Вы двое, — он указывает на Жан-Батиста и Лекёра, — будете раздувать мехи, дамы красиво рассядутся, а я, главный музыкант, сыграю для вашего удовольствия.

Пока Жан-Батист соображает, как убедительнее возразить на нелепую выдумку Армана, остальные уже застегивают пальто. Смотрят на него. Против таких взглядов трудно устоять. Он встает, пожимая плечами. Если ему не остановить их, он по крайней мере проследит, чтобы компания держала себя в руках, хотя неожиданная возможность услышать орган — этот выход за рамки дозволенного — пробуждает в нем естественное желание пойти со всеми, и он делает это с охотой, даже с удовольствием.

Они открывают дверь в южный неф. Арман идет первым, держа фонарь высоко над головой, и его неяркий свет падает на стены, плотно покрытые латинскими фразами, датами, картинами, гербами. Остальные, шаркая, гуськом следуют за ним. Шепот витает над их головами. Из темноты к ним склоняются ненадолго выхваченные светом фонаря неясные образы. Кое-где мерцает сохранившейся позолотой крыло архангела. Дева Мария с желтоватым, полным тайной радости лицом пристально смотрит с колонны…

В одной из капелл Арман вытаскивает из железного ящика свечи и передает идущим за ним. Те, сгрудившись, зажигают сначала одну свечу, а потом каждый свою от свечи соседа. Когда становится светлее, Жан-Батист замечает, что у другой стены составлены в ряд с полдюжины больших коробов, а в них в аккуратных плетеных корзинках лежат бутыли из толстого зеленоватого стекла. Внутри какая-то крепкая жидкость. К горлышкам бутылей проволокой прикручены этикетки. Жан-Батист, наклонившись со свечой в руке, читает название.

«Этанол».

Он отскакивает так быстро, что свеча гаснет.

— Это ты их здесь поставил? — шипит он на Армана.

— Эти-то? Их привезли на прошлой неделе. Что-то нужное нашим приятелям докторам.

— Это же этанол! Чистый спирт. Если поднести к ним огонь, можно спалить всю церковь.

— Успокойся, — говорит Арман. — Видишь, бутыли плотно закупорены? Запечатаны воском. Так что бояться нечего. Да и что такого, если церковь сгорит? Разве это не избавит нас от лишних хлопот?

Инженер выводит всех из капеллы и успо-

каивается, только когда они пересекают неф и собираются вокруг органа. По обеим сторонам клавиатуры видны медные кольца в форме изящных веночков — туда вставляют четыре свечи. Арман усаживается. Жан-Батист и Лекёр подходят к мехам, этакой фаллической дубовой конструкции в метр длиной и прочной, как весло.

— С удовольствием разомнусь, — шепчет Лекёр, выдыхая серебристый пар. — Здесь холодрыга, как на Луне.

— Даже хуже, — говорит Жан-Батист.

Женщины сидят, тесно прижавшись бедрами, на ближайшей скамье, и держат перед собой свечи, словно кающиеся грешницы.

— Начали! — провозглашает Арман.

И они начинают работать мехами. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Где-то в глубине, под деревянной обшивкой, инструмент принимается щелкать и свистеть. Жан-Батисту чудится, будто они вот-вот поднимут весь механизм в воздух, реально поднимут. А может, это они оживляют павшего левиафана, зверя вроде слона, так напугавшего, по словам министра, версальских собак. Затем откуда-то сверху доносится долгий вздох, последний вздох в мире, и следом, точно легкие капельки дождя, пробуждается музыка.

Небесный голос, регаль, труба, крумгорн, терция — звуки набегают один на другой и расходятся волнами. Что-то кричит Лекёр. Жан-Батист морщится в ответ: он не понимает, не в состоянии разобрать слов. Низкие ноты прощупывают все закоулки в его груди, а высокие творят что-то подобное с душой. Боже милостивый! Эти звуки, наверное, уже поселились внутри. И работа мехов! Вверх-вниз, вверх-вниз. Да уж, красота имеет в своем основании тяжкий труд, и инженер начинает придумывать устройство, автоматические воздуходувные мехи, приводимые в движение паром, которые вполне можно сконструировать. Мысленно он уже почти представил промасленные детали разложенного на столе механизма, как вдруг музыка неожиданно обрывается.

Он отпускает мехи и идет к центральной части органа. На скамьях позади Жанны и Лизы Саже, окутанных нежным светом свечей, сидят, рассыпавшись по церкви, несколько призрачных фигур. К ним потихоньку подсаживаются другие. Шахтеры со своими шлюхами. Шлюхи со своими шахтерами. Мужчины и женщины — зачарованные.

— Наконец у тебя появились слушатели, — говорит Жан-Батист.

Арман видит пришедших в маленькое зеркальце, прикрепленное над пюпитром. Он переворачивает страницу рукописи с нотами, разглаживает ее и велит Жан-Батисту занять свое место.

И все начинается сызнова: первые звуки такие же нежные, как и вначале (вообразите белошвеек, взгляните на родник), но потом без всякого перехода на слушателей наваливается безудержная громада (вообразите почтовые кареты, канонады), а после… после слышится какой-то рев, возмущенный вопль. Инженер и Лекёр бросают свое «весло». Голос — тот, что уже обрушивался на Жан-Батиста прежде, — рокочет из темноты прямо над ними, и метательные снаряды в виде маленьких черных книжечек — требников? — летят им в головы, попадая то в шахтера, то в шлюху, а то и — изумительная точность! — в румяную щеку самого органиста.

На миг среди тех, что сидят на скамьях, возникает настоящая паника. Но очень скоро женщины, молодые и старые, приходят в себя, организуют оборону и открывают ответный огонь, бас проклинающего их настоятеля встречается пронзительными насмешками, издевками, презрением, столь обильно питаемыми истори-

ческим гневом, что настоятелю, похоже, будет трудно не наложить в штаны. Если они до него доберутся, то стянут вниз и ночь закончится кровопролитием. А может, и убийством.

Раскинув руки, Жан-Батист пытается вытолкать женщин из церкви, но некоторые стоят как вкопанные, вроде тех крепких столбов, что устанавливают по краям оживленных улиц для защиты пешеходов от проезжающих экипажей. Настоятеля спасает Жанна. Она берет за руку самую большую шлюху, их предводительницу, и тихо выводит за дверь. Остальные следуют за ней, теперь на крики женщин уже никто не отвечает, разве что их собственное эхо. За стенами церкви всех охватывает радостное возбуждение. Женщины теснятся вокруг Армана, ласково похлопывая и поглаживая его, пока Лиза Саже отнюдь не двусмысленно не предупреждает их о последствиях.

Праздник продолжается: поддразнивание, вскинутые руки под шалями, парочки, уходящие в темноту. Инженер наблюдает, потом, задрожав от навалившейся усталости (и думая о том, сколько свечей осталось гореть в церкви и не разбудит ли его среди ночи набат), он сдержанно кивает Лекёру, и тот кивает в ответ. Отделившись от компании, Жан-Батист тихонько идет к двери,

ведущей на Рю-о-Фэр. Он один — ему кажется, что один, — но, дойдя до двери, он видит, что рядом Жанна. Они останавливаются. Жан-Батист зовет ее по имени. Девушка улыбается. Его сердце падает.

— Они не будут тебя донимать? — спрашивает он, указывая туда, где у костра слышатся хриплые крики.

— Они мне ничего не сделают, — отвечает она.

— Да, — соглашается он. — Не могу себе представить, чтобы кто-то тебя обидел.

— Я не святая, — говорит она.

— Святая? Конечно, нет.

— Я даже никому не скажу, если вы меня поцелуете, — говорит она и легонько касается его рукава. Точно воробышек.

— Я вдвое тебя старше, — говорит он. — Так ведь?

— Нет. Вам двадцать восемь, а мне четырнадцать.

— Значит, я ровно в два раза старше тебя.

— У вас есть девушка? — спрашивает она, убирая руку. — Вам нравится Зигетта Моннар?

— Зигетта?

— Она очень хорошенькая.

— Нет… Меня не интересует Зигетта Моннар.

— Доброй ночи, — говорит она.

— Да, — отвечает он, а она ждет, будто хочет удостовериться, что «да» — это просто «да» и за ним больше ничего не последует.

Он смотрит поверх ее головы. Ночь стала еще холоднее, небо — еще более ясным. Звезды светят голубым светом над голубыми крышами. На кладбище насыпи из сложенных костей сияют, точно доспехи древней побежденной армии.

— Будь добра, скажи Лекёру, — просит инженер, — чтобы он запер двери, когда отправит женщин домой. Им не следует оставаться дольше.

Она ничего не отвечает. Уходит. Он кивает ей в спину, поначалу не в силах шевельнуться, затем открывает дверь и, выйдя на улицу, шагает, выбрасывая вперед ноги, словно пытается перегнать собственное смущение. Боже милостивый! Он что, умер бы, если бы ее поцеловал? Стоило лишь немного наклонить голову, пока их губы не встретятся. Арман бы сразу сообразил, что делать, и девушка ушла бы домой счастливая, а не обозленная и обиженная. Что ему помешало? Какая-то нелепая привязанность к женщине, чью благосклонность он давно мог купить по цене новой шляпы? Неужели он не может раз и

навсегда устроить свою жизнь разумно, как подобает? Завтра — непременно завтра — он должен составить план, изложить его на бумаге, как он частенько делал раньше. План действий, которому надо следовать, разумную схему, основанную на лучших качествах его характера, высших побуждениях. Делать одно и не делать другое. Одно приведет к успеху, а другое к дурацкому прозябанию… Неужели ему суждено быть только *телом*, очередным, лишь на время наполненным жизнью экземпляром из тех, что они каждый день выкапывают на кладбище Невинных? Так ли жил Вольтер? Так ли проводил годы великий Перроне, сидевший среди машин и механизмов в своем кабинете в Школе мостов, и вся комната, по крайней мере, в памяти Жан-Батиста, всегда была залита ярким солнечным светом?

Открывая дверь в дом Моннаров, он уже становится спокойнее, собраннее, больше похож на того, каким ему хотелось бы себя видеть. В холле на столе он нащупывает свечу и трутницу, высекает огонь, зажигает фитиль. В щель кухонной двери протискивается кот, бежит за ним по лестнице, немного медлит, наверное, поддавшись соблазну, у комнаты Зигетты и наконец все-таки следует за Жан-Батистом. Инженер ставит свечу

на стол, снимает пальто и сапоги, укутывается в шлафрок. Уже полночь? Или еще позднее? Часы лежат в одном из карманов, но ему не очень-то хочется копаться и искать. Он готовит себе лекарство — примерно тридцать капель на ложку кислого вина, холодного, как и все в комнате, — затем раздевается под шлафроком и, покончив с этим, задувает свечу, открывает окно и выглядывает вниз.

Ушли ли женщины? Их не видно и не слышно. Наверное, забрались в палатки завершить то, зачем пришли. Хорошо хоть церковь не полыхает, да и на кладбище вроде бы все в порядке, хотя на кухне в домике пономаря до сих пор горит свет. Будь у него морская подзорная труба, он, возможно, увидел бы, что делается там, внутри, увидел бы за столом Жанну. Ее слезы? Он закрывает окно, задвигает ставни и лезет под одеяло, прижимаясь ногами к теплому боку кота. Темнота, темнота, слышно лишь, как шумит кровь. Лекарство действует быстро. Через одну-две минуты оно нарисует на внутренней стороне век первые ночные гротески, но до этого, до того, как он погрузится в забытье, до того, как сон полностью завладеет его сознанием, вместе с дыханием из его рта вырывается еле слышный шепот.

— Кто ты? Я Жан-Батист Баратт. Откуда ты? Из Белема, что в Нормандии. Каково твое ремесло? Я инженер, учился в Школе мостов. Во что ты веруешь? Во что ты… во что… во… что… во… я… я… я…

Глава 11

Никто не мог точно сказать, когда произошло нападение — в какой именно час. Не то очень поздно, не то очень рано, в некоем глубоком бархатном кармане зимней ночи. Он спал, одурманенный лекарским снадобьем, как вдруг его глаза открылись, и он увидел свет, колыхающийся серебристый свет. А за ним фигуру женщины, стоящую у конторки со свечой в одной руке и каким-то предметом в другой. Женщина была совершенно нагая, свет скользил по ее коже, сиял в волосах, сиял в жестких светлых завитках над самым сокровенным местом. Она молчала. Собственный голос доносился до Жан-Батиста как-то слишком неспешно. Она приблизилась к кровати и взглянула на него. Ее лицо, склоненное к нему, при свете свечи казалось спокойным и почти нежным, точно это выписанное в светотени лицо ангела над постелью захворавшего отшельника. Быть может, на какую-то секунду они даже улыбнулись друг другу. Затем ее рука взметнулась вверх, потом опустилась, и весь мир обрушился на его голову волной уничтожающей боли. Еще мгновение он слышал шум, похожий

на тяжелое дыхание — свое или этой женщины. Потом, хвала Господу, ничего.

Глава 12

Если бы не Мари с ее любопытством, он бы скончался от потери крови. Она видела в дырочку в потолке, как он потушил свечу, и сама забралась в постель, протараторила молитву Пресвятой Деве, пощекотала себя между ног и заснула — может, на минутку, а может, на час или два. Но вдруг открыла глаза и увидела на полу пятнышко света. Тут же окончательно проснувшись, Мари опустилась на холодный пол, проползла на четвереньках до дырочки и одним глазом заглянула вниз. Что это он там делает посреди ночи, да еще при свече? Она была уверена, что раньше ничего подобного не случалось. Но вот — и это было еще более странно, захватывающе странно — она поняла, что он спит, точно спит, что свет идет от свечи в руке кого-то другого, кого ей не видно. Ей показалось, что прошло лет сто, хотя на самом деле едва ли больше полминуты. Однако ничего не происходило — ничего! От отчаяния Мари не знала, куда деваться. Что, если неизвестный просто уйдет, а она так и не узнает, кто это, никогда не увидит, чем они там занимались? Что, если она никогда не увидит *ее*, ибо Мари не сомневалась,

что тайный соглядатай — второй тайный соглядатай — женщина. Но, святые угодники, ничто не могло подготовить ее к такому потрясению: перед ней вдруг появилась Зигетта, голая, точно зверь! Выпей она потихоньку чуть больше хозяйского вина, ее мочевой пузырь не выдержал бы и на полу разлилась бы лужа. Зигетта с большими розовыми титьками! С толстой розовой задницей! В одной руке она держала свечу, а другой брала что-то со стола жильца, что-то, что блеснуло на свету и негромко звякнуло, задев на столе какой-то другой предмет, и жилец сквозь сон это услышал, потому что зашевелился. Ага, это его металлическая штука для измерений. Она, что ли, хочет его измерить? Что измерить-то? Шею, ногу, петьку-петушка?

В последнее мгновение, совсем короткое — Мари готова была поклясться, — жилец уже не спал и смотрел на Зигетту, правда, никто из них не проронил ни слова. Мари уже мысленно наблюдала за тем, что вот-вот последует — одеяло будет отброшено, а любовники, уютно расположившись, заключат друг друга в объятия, начнутся ласки и поцелуи, охи и ахи, а она будет корчиться сверху над дыркой в полу. Но ничего подобного не произошло. Металлическая штуковина, линейка,

вдруг прорезала воздух, опустилась жильцу на голову и убила его. Должно быть, Мари вскрикнула, негромко завизжала, потому что Зигетта вдруг посмотрела наверх. У нее было совсем темное лицо, точно черная маска, и вот тут, при виде *этого лица*, из Мари все же вылились на пол несколько капель моннаровского вина.

Тихо, как кошка, она отползла от дырочки и, прижавшись к кровати, стала прислушиваться к шагам на лестнице. Но поскольку ничего не услышала и не увидела — ни скрипа двери, ни обнаженной хозяйской дочери с кровавым металлическим орудием в руке, — ей вдруг захотелось забраться в постель и поскорее уснуть, потому что наутро, когда она проснется, все, наверное, будет по-старому. Возможно, она бы так и поступила, если бы не услышала звуки из комнаты жильца, похожие на храп, ужасные звуки, словно человеку снится кошмар, а никто не может его разбудить. Она слушала, слушала. Страх начал отступать. Если явится эта дура Зигетта, она просто даст ей по башке своим сабо. Та сразу утихомирится. Девушкам из квартала Сент-Антуан не пристало дрожать перед кисейными барышнями из квартала Ле-Аль.

Мари оделась. Было совсем темно, но она при-

выкла одеваться в темноте. По узким ступенькам, в чулках, без сабо, она ощупью вышла на лестничную площадку. Под дверью Зигетты — свет, но не слышно никакого движения, или плача, или что там еще делает девушка после того, как раскроит человеку череп. Приглядевшись, Мари заметила, что дверь закрыта неплотно, и можно, лишь чуть-чуть толкнув, открыть ее шире и просунуть голову. Хозяйская дочь лежит себе, укутавшись, в постели, невинная, как агнец. Линейка — в изножье, свеча — на тумбочке у кровати. Мари потянулась, забрала свечу и пошла в другой конец коридора, к жильцу. Стоило ей открыть дверь, как мимо ног проскочил Рагу и стрелой помчался по лестнице. Свеча в ее руке задрожала, но все же не выпала. Мари вдохнула полной грудью и пошла вперед, в комнату, потом к кровати и встала над инженером, в точности как Зигетта. Как была располосована его голова! Ей вспомнилась картина, которую она видела в детстве: в один жаркий воскресный день ее дядя, так называемый дядя, пустил себе в висок свинцовую пулю. Кровь, кровь, кровь. Лужи крови. Однако жилец, в отличие от дяди, еще дышал, но не так, как раньше, с шумом и свистом, а неглубокими всхлипами, понемногу глотая воздух,

точно ребенок после долгого плача. «Чтобы остановить в ране кровь, наложите на нее паутину». Откуда-то она это усвоила это правило. Но где взять паутину? Разве не сама она — прилежная служанка — вымела паутину из всех углов? Мари подошла к сундуку, подняла крышку. Сверху лежал кафтан зеленого шелка, который, когда она его впервые увидела, показался ей таким смешным и таким прекрасным. Из-под него она вытащила белье — сколько уместилось в руках, и вернулась к кровати. Держа свечу над головой Жан-Батиста, Мари дотронулась до раны, до ее вздутых краев. Он застонал и дернулся, словно у него вот-вот начнется падучая.

— Я только коснулась, — прошептала она, а потом быстро и аккуратно наложила на рану какую-то сложенную тряпочку (похоже, ее использовали, чтобы вытираться после мытья) и привязала шейным платком. Затем для верности сняла один из своих нагретых телом чулок и, проложив его под подбородком раненого, завязала узлом поверх темнеющей от крови тряпочки. Присела на кровать и посмотрела на жильца. Его веки время от времени подрагивали, но не открывались. Мари погладила его по руке. Ей так не хотелось уходить с места этой потрясающей

трагедии, пока еще всецело принадлежавшей ей одной, но уж слишком заманчивой была перспектива сообщить едва проснувшимся Моннарам, что натворила их дочь. Посему, взяв свечу, Мари направилась в комнату хозяев (одна нога голая, другая — в чулке), где и выложила им все как есть, без лишних экивоков, а в конце — ну никак не могла сдержаться — добавила:

— Знаете, мадам, я думаю, ее могут даже повесить.

Глава 13

В восемь утра на кладбище Невинных жемчужный утренний свет освещает группу шахтеров, собравшихся у дверей, что ведут на Рю-о-Фэр. Большинство, возможно, по наущению своих женщин, попытались хоть как-то привести себя в порядок, дабы больше походить на обычных подданных Людовика XVI, а не на тех, кто выкапывает из земли кости, гробы и чудесно сохранившиеся трупы девиц. Куртки вычищены, с сапог стерта грязь. Кое-кто помылся, расчесал бороду. Трое, что помоложе, — они стоят рядом, ближе всех к выходу, — сплели венки из трав и прицепили их к полям шляп. У других, если присмотреться, можно увидеть украшения, некогда принадлежавшие покойникам: безделушки, очищенные от приставшей земли или выменянные ночью у товарищей в укромном углу палатки. Один рабочий с ясным и спокойным взглядом, который держится прямее прочих, выставляет напоказ два памятных кольца: «Respice finem»[13]

---

[13] Примечания: 13
Предполагай конец (*лат.*).

на одной руке и «Mens videt astra»[14] на другой, зеленоватый металл обрамляет обрубок пальца, длиной до среднего сустава.

Они уже давно съели хлеб и выпили кофе. Сложили дрова рядом с крестом проповедника, чтобы в их отсутствие было что подбрасывать в костер. Все готовы. И уже начинают нервничать.

Стоя у дома пономаря, Лекёр, морщась, глядит на часы и что-то негромко бормочет. Надо же, чтобы Баратт вздумал проспать именно сегодня — именно сегодня, когда это так некстати. Конечно, в своем уютненьком гнездышке ему ничего не стоит забыть про них, про тех, кто живет *внизу*. Рабочие, однако, истолкуют отсутствие инженера не в его пользу, если им и дальше придется терять под дверью драгоценное время. И коли уж на то пошло, Лекёр и сам истолкует это не в его пользу. Ночью Лекёр выпил пятьдесят капель настойки! А может, и больше, и лишь Господь ведает, сколько еще вина, чтобы залить докторское снадобье, но вместо того, чтобы погрузиться в спокойный сон, превратился в какого-то совершенно незнакомого человека. Он чувствовал — как бы это объяснить? — что он, Лекёр, уже не

---

[14] Примечания: 14
Душа видит звезды (*лат.*).

Лекёр, а только тело Лекёра, плоть с бьющимся сердцем, и нечто, некий агрессивный разум, поселившийся в нем, побуждает его к действиям и руководит ими. Разве *настоящий* Лекёр решился бы выйти на двор среди ночи? Решился бы? Вот уж вряд ли. Однако он все-таки вышел в одной ночной рубашке и направился в лабораторию, а там поднял крышку гроба и при свете горящей головешки из костра, которая, словно по волшебству, оказалась у него в руке, стал глядеть на нее, на Шарлотту. Ужасное возбуждение! И большая нагрузка на сердце. Да и на зубы тоже, ибо, судя по тому, как теперь болят челюсти, он наверняка скрежетал ими не один час.

Сзади слышатся мягкие шаги. Он оборачивается и видит Жанну с шалью на плечах, которая выходит из дома и направляется к нему. Она ему улыбается, милая, как всегда, но сегодня у нее не такой хороший цвет лица, нет той *ладности* в движениях, как обычно.

— Странно, что его все нет, — говорит она.

— Возможно, он вчера выпил больше, чем следовало, — отвечает Лекёр.

— Не думаю, — разумно возражает она.

— Конечно, нет, — говорит Лекёр. — Вероятно, его задержало какое-то неожиданное дело.

Встреча с этим Лафоссом, к примеру. С человеком министра.

Она кивает.

— Вы тоже сегодня пойдете в город?

— Наверное, пойду, — говорит Лекёр. — Месье Сен-Меар пригласил меня сходить куда-то вместе с его друзьями. Он не сказал, куда именно.

— Не сомневаюсь, вы хорошо проведете время, — говорит она. — У вас есть ключ?

Он показывает ей ключ — старинный ключ от дверей лежит у него на ладони.

— Мне кажется, месье Баратт хотел бы, чтобы вы их выпустили, — говорит она.

— Ты думаешь?

— А вы нет?

— Пожалуй, ты права.

Он смотрит на рабочих, на секунду оскаливает зубы, затем переводит взгляд на девушку.

— Выпустим их вместе? — предлагает он.

Часть третья

Вскоре пробуждаются соседи и спешат к этому месту, однако оно уже более не гибельное, но романтическое.

Каде де Во. «Исторические и физические мемуары о кладбище Невинных»

Каменные ступени, длинный пролет лестницы, круто уходящей вниз. Подвал. Понимание, что находится внизу, что должно там находиться.

Сначала слишком темно, поэтому он не видит, не признает ничего вокруг. Только спуск, ощущение ступеней под ногами. Потом мягкий розоватый свет, узкий зал, стол, а на нем жестянка и маленький колокольчик. За столом сидит женщина. Она не поворачивает к нему лица, но понимает, что он пришел. Она звонит в колокольчик, и хотя звука не слышно, занавес в конце зала тут же отодвигается. Ему улыбается какой-то мужчина и кивком приглашает следовать за собой…

Они в коридоре. По обеим сторонам висят портьеры, скрывающие, по всей вероятности, входы в комнаты. Он останавливается — в том месте,

где портьера неплотно задернута, — и заглядывает внутрь. Перед ним как будто и не совсем комната. Похоже, что стены тут из утрамбованной черной земли. Размеры помещения неопределенные, как и количество находящихся в нем людей — мужчин, женщин и детей, они сидят, лежат, некоторые свернулись калачиком. Люди тоже смотрят на него. В их взглядах какая-то горячность. Горячность, неистовство и бессмысленность. Он отворачивается. Боится, что кто-нибудь из них заговорит, обратится к нему, назовет его имя…

Провожатый ждет в конце коридора. Снова портьеры. Любезный жест, приглашающий войти. Он входит. Провожатый закрывает за ним дверь. То, что должно произойти, произойдет в эту минуту и в этом месте. Ему кажется, что они пришли в его комнату в доме Моннаров или в какую-то очень похожую, но другую, ибо в ней нет окна и голые стены. Комнату освещает только большая свеча на столе. На кровати лежит человек. На нем лишь рубаха, которая доходит ему до колен. Глаза открыты, но рот неаккуратно зашит черной ниткой.

Провожатый берет со стола свечу и подходит к кровати. «Это быстро, — говорит он. — Мы

должны выпустить флогистон. Это средство для трансформации. Уничтожает все нечистое».

Он наклоняется и, словно желая влить нечто драгоценное в ухо лежащему на кровати человеку, подносит фитиль к его волосам. Голова моментально вспыхивает, волосы полыхают, точно сухая трава. Потом огонь начинает лизать лицо, охватывает шею, бежит по груди, животу. Как может так гореть человеческое тело? Человек не должен сгорать, как свернутый в трубочку лист бумаги! Что с ним сделали? Какой способ применили?

Охваченное пламенем тело начинает двигаться. Сначала рука, потом нога. С горящих простыней поднимается — всплывает! — туловище. Рвется сшивающая губы нитка. Рот распахивается. И человек ревет, ревет…

Глава 1

— Держи его так, чтоб не двигался, — велит Гильотен.

Доктор наклоняется над кроватью. Черная нитка лежит на лице больного, словно тонкая трещина. Мари наваливается на брыкающиеся ноги. Она хорошая, сильная девица, как раз годится, чтобы держать раненого. Врач начинает работу.

Жизни больного первые двое суток угрожает опасность, очень серьезная опасность. Если из мозгов льется кровь, надо что-то делать — на Рю-Сент-Оноре живет врач, у которого имеется прекрасная дрель, но успеют ли его привести? За больным наблюдают постоянно. Мари, Жанна, Лиза Саже, Арман, Лекёр. Каждое утро, а потом еще раз в конце дня заходит Гильотен. Стоя над больным, он взвешивает его шансы выжить, глядит на церковь кладбища Невинных, предается размышлениям о Человеке, о голове и сердце, о том, что движет миром. Старым миром и тем, который, возможно, грядет.

* * *

Несмотря на постоянно сменяющих друг друга дежурных, когда инженер наконец открывает глаза, он может поклясться, что комната пуста. Лежащая на подушке собственная голова кажется ему мертвым грузом, собранным в кулак живым хрящом, который прирос к пеньку шеи. Боль ушла с поверхности и укрылась в белых глубинах его мозга. Ее пульсация вторит пульсации крови. При каждом ударе сердца Жан-Батист морщится. Приоткрыв дверь, заглядывает мадам Моннар. Видя, что его глаза открыты, что он, вероятно, ее видит, она очень быстро ретируется.

— Кто я?
— Вы? Вы доктор.
— А как меня зовут?
— Гильотен.
— Хорошо. А вас?
— Баратт.
— А как зовут нашего короля?
— Людовик.
— Вы помните, что с вами случилось?
— Немного.
— Немного?

— Достаточно.

— Нас посетил месье Лафосс, — рассказывает Лекёр. (Сколько часов прошло? Сколько дней?) — Думаю, доктор Гильотен рассказал ему о твоем… несчастье. Он поручил мне продолжить работу. Сказал, что не годится, чтобы рабочие бездельничали. Что время — деньги.

— Зигетта? — шепчет Жан-Батист, но его почти не слышно.

— Гляди-ка, — продолжает Лекёр, — Жанна прислала тебе лекарство. По-моему, какие-то травы. — Он показывает бутылочку. У него на руках мелкие черные пятнышки, явно от краски, которая не желает смываться.

— Наверное, приворотное зелье, — говорит Арман, который, оказывается, тоже в комнате, однако вне поля зрения инженера.

— Какой сегодня день? — спрашивает больной.

— День? Сегодня среда. Утро среды, — отвечает Лекёр.

Мари сидит на стуле у кровати и что-то ворошит у огня. Ему не хочется поворачивать голову, чтобы посмотреть, что именно. Любое неосторожное движение головой — и весь мир начинает дрожать и качаться.

— Зигетта? — спрашивает он.

— Что вам до нее? — говорит она. — Боитесь, снова явится? — И, не услышав ответа, добавляет: — Это ведь я вас спасла.

Свет в его окне — это белая простыня, застиранная белая простыня, которую складывают каждый вечер и снова вывешивают на рассвете. Постоянно у него больше никто не дежурит. Оставшись без присмотра, Жан-Батист тайком вылезает из кровати и сидит десять минут на стуле, держась за сиденье. На следующий день сидит уже полчаса. Теперь это как упражнение. Иногда, когда на него накатывает жалость — к самому себе, к суровому отцу, к призрачным жизням незнакомцев, к хладным кладбищенским костям, — он странно кривит рот, будто плачет без слез. Но бывает, он совершенно бесчувственен, спокоен и бесчувственен, пока окружающая сырость, его собственное дыхание и сквозняки не пробуждают его к жизни. Он разглядывает свои ладони, смотрит в камин, внимательно изучает картинку с изображением моста. Переводит взгляд на окно: тучи такого же цвета, как море в Дьеппе. Кто он такой, спрашивал доктор. Он Адам, один в своем саду. Он Лазарь, вынутый из гроба. Одна его жизнь отделена от другой про-

валом тьмы.

Приходит Гильотен отворить ему кровь. Флеботомия — обычная в таких случаях мера предосторожности. Сперва лекарь, как всегда, осматривает рану.

— У вас, нормандцев, великолепные крепкие черепа, — говорит он. — Вы ведь не откажетесь завещать мне свою голову, правда?

— Почему вы уверены, что переживете меня?

— Потому что вижу, каким женщинам вы оказываете предпочтение, — отвечает доктор, сосредоточившись на правой руке инженера и делая надрез у локтя. Кровь стекает в жестяную миску. — Не беспокойтесь, я возьму немного.

— Где она?

— Нападавшая?

— Никто не говорит мне, где она.

— Еще два дня назад она была здесь, в доме. Теперь ее услали подальше. К пожилым родственникам в Дофине. Они отличаются крайней религиозностью. Надеюсь, вы не станете возражать, ибо я одобрил этот план. Нет более действенного средства для пылкой молодой женщины, чем годик-другой бормотать новены в холодном доме в далекой провинции. Мне показалось, что у вас не возникнет желания подать на нее в суд. Муж-

чина может стать посмешищем, если решится судиться с женщиной при таких обстоятельствах. В случае вашей кончины дело, конечно, приняло бы иной оборот. Вы были любовниками?

— Нет.

— Я вам верю, — говорит доктор, скатывая шарик корпии, затем вкладывает корпию в ранку и аккуратно сгибает руку пациента. — Но если это была не любовь, не ревность, не страсть, что, по-вашему, подвигло ее прийти к вам в комнату и попытаться размозжить вам голову?

— Кладбище.

— Кладбище? Чтобы вы его не уничтожили? Значит, она еще более сумасшедшая, чем я думал. Будем надеяться, она не угробит своих родственников в Дофине. Не то я буду чувствовать свою вину.

— Сколько прошло времени?

— С момента нападения? Две недели. Немного больше.

— Мне нужно вернуться к работе.

— Я бы прописал месяц здорового воздуха в Нормандии.

— Но я уже вполне здоров.

— Вам нанесли очень сильный удар по голове. Последствия такого удара непредсказуемы и мо-

гут проявляться в течение долгого времени. Вы не ощущаете ничего необычного? Галлюцинации, провалы в памяти не беспокоят?

— Нет, — лжет Жан-Батист.

Доктор вытирает лезвие ланцета.

— В таком случае, — говорит он, — как вы смотрите на то, чтобы завтра мы проводили вас вниз, в гостиную? Без сомнения, Моннары захотят поухаживать за вами. — Доктор усмехается. — А пока можете проводить время в компании графа де Бюффон. — Он берет со стола книгу и роняет ее на одеяло. — Полагаю, вы осведомлены, что у Бюффона еще тридцать таких томов?

После ухода доктора Жан-Батист смотрит на книгу и, немного подумав, открывает. Уже не в первый раз после нападения он пытается начать читать. Закрывает глаза, потом открывает, собирается с мыслями — этот способ сосредоточиться раньше всегда помогал. Прикладывает указательный палец к верхней строчке левой части левой страницы. Первые четыре слова не вызывают затруднения: «А теперь давайте рассмотрим…» Следующее слово он прочесть не может. Кажется, это «случай». А за ним какие-то размытые очертания, бессмысленные, точно клякса. Следующее слово такое же непонятное, и то, что за ним… И

дело не в том, что он не различает слов в книге, а в том, что он не находит их у себя в голове. Названия предметов, совершенно обычных вещей, которые знает даже ребенок.

А если об этом недуге, если об этих провалах станет известно? Если Лафосс, а потом и министр об этом узнают, что тогда? Кто поручит такому человеку уничтожение кладбища?

Он захлопывает книгу, спихивает ее на пол, сползает с кровати и осторожно встает на ноги. Подождав, пока успокоится кровь, подходит, шаркая, к зеркалу. На голове у него ночной колпак, под ним какая-то повязка. Он выглядит — как? — как дурак, как праведник, как пугало. Он теребит отросшую бородку, дотрагивается до головы, словно это заключенное в скорлупу яйцо и любое резкое движение расколет эту скорлупу и сделает дыру, через которую вытечет желток его мозга…

Двадцать минут он стягивает с себя колпак, потом бинты, влажные и розоватые с внутренней стороны. Его волосы коротко и неаккуратно острижены, но как бы он ни вертел головой, ему не удается разглядеть саму рану, кроме разве что уродливого участка обесцвеченной кожи и торчащей посередине черной нитки, похожей на толстый волос.

Он ищет свою одежду, рабочий костюм, который он надевал днем перед тем, как Зигетта Моннар пришла ночью его убить. Одежды не видно. Ее или прибрали, или унесли. Испачкана? Залита кровью? Кровью от удара орудием, предметом, металлическим предметом, название которого (в груди вспыхивает паника) он тоже забыл? Как вообще человек может думать, если у него нет для этого слов? Что направит его мысль, если не слова?

Он подходит к сундуку и поднимает крышку. В глаза бросается цвет, такой яркий, что он жмурится, но с облегчением слышит звучащие в голове слова: «зеленый», «шелковый» и даже «фисташковый». Он несет костюм к кровати, кладет поверх одеяла и некоторое время смотрит на него, затем устало натягивает на себя. Пусть это будет ответом. Он будет просто следовать за событиями. Мир, вещи в мире ему подскажут. Надо делать то, к чему они его подталкивают. И не важно, может он их назвать или нет. Он будет действовать как ребенок, который бежит за прыгающим по лестнице мячиком. Быть может, именно так он вел себя и раньше. Теперь не вспомнишь.

Одевшись, он ищет шлафрок, феску, взятый

напрокат парик, бумагу, в которую все это было завернуто, и заворачивает это опять. Получается большой громоздкий пакет. Потом надевает башмаки, редингот. Стиснув зубы, нахлобучивает шляпу, словно боится, что рану разберединт даже обычная тень. Спускается по лестнице. Его никто не видит. Дверь в кухню открыта, но там никого. Он бросает взгляд на дверь в погреб и, поборов желание ее отворить, открывает другую, ту, что ведет на улицу, щурится от дневного света, целую минуту стоит, прислонившись к стене дома, набирается сил, мужества — которое ему потребуется, чтобы двинуться дальше. Он боится, что его узнают, остановят, что с ним заговорят. Вероятно, какие-то слухи о нем уже ходят в городе, и теперь он уже не просто инженер, а человек, на которого бросилась с ножом дочка Моннаров, и, по всей видимости, не без причины. Он видит, как по улице в его сторону идут два мальчика, подталкивая прутиками игрушку, деревянное колесо. Он дает им пройти, затем отрывается от стены и пускается в путь.

У Годе он бреется. Других клиентов нет. Когда он входит, цирюльник сидит в своем кресле и, грызя ноготь, читает «Французский меркурий». Бритье — простое естественное удовольствие. О ране

они, конечно, не говорят, хотя у Годе довольно времени, чтобы ее как следует рассмотреть. Зато цирюльник рассказывает ему городские новости, говорит о том, что делается в их квартале, о ценах, о недавних народных возмущениях. Все это не требует от Жан-Батиста участия в разговоре. Он не мешает Годе говорить, не мешает работать и испытывает к нему лишь благодарность.

— Я был немного болен, — наконец произносит он.

— Но теперь вы поправились, — отвечает Годе, стряхивая каштановые волосы, а с ними и короткие седые, с плеч инженера. — Скоро будете совсем как прежде.

— Вы думаете?

Глядя на него в зеркало, цирюльник улыбается, изящно пожимает плечами, затем убирает острую штуку, сверкающую на солнце штуку, в изогнутую рукоятку.

С пакетом в руках, ощущая подбородком и щеками холодный воздух, он идет мимо Компании Обеих Индий и Рю-де-Бон-Анфан к площади Побед. После того как он две недели был прикован к постели, такая прогулка должна была бы его утомить, однако, напротив, она придает ему сил. Нужный адрес вспомнить не сложно. Дверь он

вынужден открывать плечом. Звонит колокольчик. По начищенному полу магазина навстречу Жан-Батисту идет Шарве, на ногах у него бархатные туфли. Остановившись, портной вскидывает свои маленькие бровки и с чопорным видом наклоняется всем туловищем чуть вперед.

— Месье инженер, не так ли?

У двери стоит стул. Жан-Батист роняет на него свой пакет. И пакет начинает разворачиваться, будто в нем спряталось какое-то живое существо.

— Я хочу получить назад мой старый кафтан, — говорит Жан-Батист. — Тот, что был на мне, когда я приходил к вам с Сен-Меаром.

Шарве глядит на своего помощника, потом на инженера.

— Ваш старый кафтан? Но он уже продан, месье. Насколько я помню, господину, также занятому портняжным делом. Верно я говорю, Седрик?

Помощник подтверждает.

Жан-Батист кивает, его глаза медленно скользят по магазину. На одном из деревянных манекенов (переносной торс на деревянной подставке) он видит хорошо скроенный черный шерстяной костюм. Он подходит ближе, щупает ткань, прикидывает, подойдет ли размер.

— Тогда этот. Этот годится.

— В *этом,* — говорит Шарве таким тоном, словно объясняет ребенку очень простую вещь, причем ребенку не умному, а глупому, — вы будете выглядеть как женевский пастор. Он выставлен здесь, только чтобы показать клиентам разнообразие наших стилей. Огромное разнообразие, как вы понимаете. Но вам, месье, он никак не…

— А вот это, — говорит Жан-Батист, расстегивая пальто и показывая кусок зеленого шелка, — мне больше не нужно.

Шарве делает странное движение — вытягивает шею, точно взнузданный конь, и начинает часто моргать.

— Однако, месье, насколько я помню, он вам очень нравился, когда вы его впервые надели.

— Вы помните?

Вопрос вполне искренний.

— Вы желали быть более *á la mode.*

— Более современным?

— Именно. Вы сами… разве не помните?

— Я помню, что был пьян. Помню, что мне льстили.

— Все равно это прекрасный кафтан.

— Но мне он больше не нужен. И еще я принес

вам шлафрок, — добавляет Жан-Батист. — И все остальное. Вон там. На стуле.

Шарве с помощником глядят на стул, на пакет: из бумаги высовывается язычок красной ткани.

На Жан-Батиста примеряют черный кафтан. Кое-где подогнули, кое-где забрали — и кафтан сел на редкость удачно, да и цвет сразу же показался Жан-Батисту таким успокаивающим. Хотя он теперь и вправду похож на женевского пастора. Шарве предоставляет помощнику закончить работу, а сам становится рядом, сложив на груди руки. Время от времени он с отвращением смотрит на изуродованный череп инженера.

— Этот кафтан, — наконец говорит он, — может, и прост, но не дешев. А тот, что вы принесли, изрядно изношен, на рукаве, как я вижу, пятна. Жировые, если не ошибаюсь. Жировые или еще похуже. Мне придется продать его со скидкой. Значительной…

— Тот мой старый кафтан, — отвечает Жан-Батист, осторожно забираясь в свой редингот и застегивая его, — который вы продали господину, занимающемуся портняжным делом, стоил дороже, чем весь ваш магазин. *Это* я помню точно.

Жан-Батист глядит на Шарве, пока тот не отворачивается. Потом идет к двери. Помощник

торопится ему открыть. Просто в силу привычки.

В кармане редингота лежит ключ от кладбища, от двери с Рю-о-Фэр. Сунув руки в карман, он сжимает ключ и идет через рынок. Задумывается, не голоден ли он — сегодня, когда едва рассвело, он съел на завтрак только суп, да и то это был, по рекомендации доктора, пустой бульон. Он приостанавливается у входа в рыбные ряды. Рынок кажется ему каким-то иным, поражает чем-то новым, однако он не может сказать, чем именно. Выглядит все, как раньше, — те же прилавки, те же краснолицые торговцы с обветренными пальцами, те же хриплые выкрики, та же грязь. Он заходит в рыбные ряды, останавливается в пятнах тени среди луж, переливающихся рыбьей чешуей, и глубоко вдыхает. В носу появляется ощущение прохлады, сырости, но только не того, что можно назвать запахом или вонью. Значит, и обоняние тоже пропало! Впрочем, он, по крайней мере, может рассказать об этом доктору Гильотену, не опасаясь последствий…

И вот он уже на Рю-о-Фэр, где над кладбищенской стеной вьется коричневый дым и его ждет до сих пор не затертая надпись, выведенная черной краской: «Толстяк-король и шлюха-королева,

берегитесь! Кайло копает такую яму, что в ней можно похоронить весь Версаль!»

Читает он или вспоминает? У него нет уверенности. Но он точно знает, и здесь сомнений быть не может, что, когда он впервые увидел эти слова, *она* была там, почти на том самом месте, где сейчас стоит он. В руке у нее была булочка, кусок которой она ему протянула, а он выхватил его, как какая-то большая неуклюжая птица, большая желтоглазая чайка. И потом в галерее, когда он собирался сделать выговор Арману, обвинить его во фривольности, в подрыве своего авторитета, тот сам начал обвинять инженера, сказал, что Жан-Батиста волнует только его карьера, что его политические взгляды — это взгляды человека, не умеющего «делать выводы».

Понял ли он, что имел в виду Арман? У него не было времени как следует над этим поразмыслить. Сначала эта история с трубками для рабочих, потом появление на кладбище пьяных Лекёра и Армана. Эти и тысячи других поводов для беспокойства. И все же, да, он хорошо понял органиста. Почувствовал справедливость упрека. И обиделся…

Открывается дверь кладбища. Человек — жилистый с длинной светло-русой бородой, которая

выглядит гораздо моложе и живее, чем лицо, не котором она растет, — выходит на улицу. Завидев инженера, человек замирает и напряженно глядит на него.

— Блок? — произносит Жан-Батист, делая шаг навстречу. — Блок?

Блок кивает. У него под мышкой два свернутых мешка — хлебные, судя по мучной пыли.

— Тебя послали за покупками?

Блок снова кивает.

— Жанна послала?

— Да.

— Ты уже выздоровел?

— Да.

Секунду они сморят друг на друга, и в их лицах мелькает признание общего для обоих опыта — распада и не слишком уверенного восстановления. Затем, чуть задев друг друга плечами, они расходятся.

На кладбище, неподалеку от северной стены, рабочие стоят у ямы. Восьмая общая могила? Девятая? Первым Жан-Батиста замечает горняк, укладывающий в костяную кучу тазовую кость, коричневую, как гриб, и забитую землей. Он останавливается и выпрямляется (насколько может выпрямиться шахтер). Лекёр смотрит туда же,

куда и горняк, радостно вскрикивает и несется к Жан-Батисту, произнося что-то так быстро и сумбурно, что кажется, будто слова набегают одно на другое. Не слезы ли у него на глазах? Наверное, от дыма. Просто попал дым.

Шахтеры, работающие на поверхности, смотрят на инженера во все глаза. Один из них произносит какое-то слово, уронив его, словно камешек, тем, что внизу. Жан-Батист здоровается со всеми. Ему не составляет труда вспомнить их имена. Агаст, Эвербу, Клое, Пондт, Ян Билоо, Жак Хофт, Луи Сэн, Элей Винтер… Он им рад, удивлен, насколько искренне он рад видеть их снова. Просит продолжать работу. Они продолжают.

— Нам не удалось, — говорит Лекёр Жан-Батисту так, чтобы его больше никто не слышал, — сделать столько, сколько хотелось бы. На этой неделе мы выкопали две могилы… — Он показывает места, где велись работы. — И закончили бы эту, если бы не обрушилась стена. К счастью, у рабочих был перерыв. Я даже боялся, как бы кладбищенская стена тоже не рухнула.

— А ты использовал… деревянные… бревна… бревна, которые держат стены?

— Шахтную крепь? Да вот надеялся, что не понадобится. Все время было довольно сухо. Ра-

зумеется, это моя ошибка. Я сожалею.

— Теперь это уже неважно. Можно укрепить стену землей. Засыпать ее по наклонной плоскости и поставить крепь как полагается.

— Да, — соглашается Лекёр, — так будет лучше всего.

— Рабочие уже пообедали?

— Несколько часов назад. Сейчас, по-моему, уже четвертый час.

— Я не сообразил.

– *Tempus fugit*[15], — весело говорит Лекёр. В уголках его рта белеют еле заметные корочки. Обветренные губы воспалены. — Ты совсем поправился?

— Мне сказали, что у меня крепкий череп, — отвечает Жан-Батист. — А ты?

— Поправился ли я?

— Ты нормально себя чувствуешь?

— О, у меня отменное здоровье. Мы, Лекёры, люди редкой породы, — смеется он. — Полагаю, я мог бы завалить медведя. Будь в том надобность.

— А слона?

— Слона?

— Почему-то пришло в голову. Слона. Не знаю,

---

[15] Примечания: 15
Время бежит (*лат.*).

с чего вдруг. Мы когда-нибудь говорили с тобой о слонах?

— Не припомню…

— Впрочем, неважно.

Почти час Жан-Батист руководит работами, стоя на зимней траве, затем, когда конечности начинают слегка дрожать, он, извинившись, уходит в домик пономаря.

Жанна стоит у стола и, налегая всем телом на нож, нарезает твердую копченую колбасу. Арман устроился на стуле Манетти с нотной книгой в руках — большие кремовые страницы, черные нотные станы, тысячи пляшущих ноток. Он сосредоточенно хмурится, наигрывая пальцами мелодию на собственных коленях. Поднимает взгляд на Жан-Батиста, улыбается.

— Ну и ну, — говорит он. — Ну и ну.

— Вам лучше присесть, — советует Жанна, отложив нож и выдвинув из-под стола табурет.

Жан-Батист тяжело опускается на него, на миг зажмуривает глаза, потом медленно снимает шляпу.

— Вы все еще очень бледны, — говорит она.

— Он и раньше был бледный, — заявляет Арман.

— Вам лучше сейчас посидеть дома, — про-

должает Жанна, быстро подходя к очагу, где на кафеле у огня стоит кофейник.

— Дома-то, — говорит Арман, — ему и раскроили голову. Что ж тут удивительного, если он чувствует себя спокойнее на кладбище?

Кофе чуть теплый, а без аромата и вовсе не имеет вкуса, но Жан-Батист залпом выпивает кружку и протягивает, чтобы ему налили еще.

— Твой дедушка? — спрашивает он.

— Отдыхает, — говорит Жанна.

Ее карие глаза смущенно поглядывают в серые глаза инженера. Интересно, о чем она думает. Последнее, что он помнит в связи с ней, в связи со всеми остальными, — это то, как они шли в церковь, где Арман собирался играть на органе. Нападение произошло в ту ночь? Или в следующую? Или на неделю позже?

— Работа по вывариванию наших друзей, извлеченных с того света, — говорит Арман, — совсем уморила старика. Мне и самому муторно делается, стоит только такое вообразить.

— Эта колбаса съедобная? — спрашивает Жан-Батист.

Берет кусочек, кладет его в рот. Свинина и свиное сало твердые, точно монеты.

Арман захлопывает ноты. Повернувшись на

стуле, смотрит на инженера — смотрит, как он жует, а потом глотает.

— Неужели я такой интересный? — спрашивает Жан-Батист.

— Интересный? Ты прекрасно знаешь, что ты показался мне интересным в тот же миг, как вошел в церковь. Признаюсь, меня заинтриговал результат, которого добился твой хирург.

— Ты о Гильотене?

— Я о Зигетте Моннар. Похоже, она тебя прикончила.

Вдоль всей раны Жан-Батиста на мгновение натягиваются стежки шва.

— Она намеревалась это сделать, — говорит он.

— Но тебе требовалась какая-то встряска, мой друг. Ты еще не совсем сформировался… Не новый ли на тебе костюм? Ты видела, Жанна? Черный как ночь! Браво! Наконец-то он раскрыл свое истинное лицо доброго кальвиниста, что я всегда и подозревал. Ты знаешь, что его мать принадлежала к этому вероисповеданию?

— Моя *мать*… — начинает Жан-Батист, обращаясь к каменному полу под ногами, — моя мать…

И замолкает. У него нет желания пикироваться с Арманом, не в том он состоянии. Выпив вто-

рую кружку кофе, он поднимается и идет наверх повидать Манетти. Недолго сидит рядом со спящим стариком, затем, спускаясь по лестнице, вдруг чувствует головокружение и не валится вниз только потому, что успевает схватиться за перила.

— На сегодня с тебя довольно, — говорит Арман, твердой рукой беря его за локоть и выводя из домика. — Кладбище твое, как и прежде. Бедняга Лекёр тут без тебя совсем было запаниковал.

— Мне надо с ним поговорить… — просит Жан-Батист.

— Завтра успеется.

— Я приду утром.

— Не сомневаюсь.

— В рабочем костюме, если его найду.

— Мы будем тебя ждать. А я даже постараюсь не дразнить тебя денек-другой, — улыбается Арман.

— Когда это случилось, — произносит Жан-Батист быстро и тихо, глядя поверх плеча Армана на арки склепов южных галерей, — когда она меня ударила… то есть уже после удара, прошло несколько секунд, прежде чем я потерял всякую чувствительность. Совсем мало времени, но мне хватило. Хотелось… за что-то зацепиться. За какую-то вещь. Понимаешь, я думал, что

умираю. Мне было нужно что-то, чтобы с этим справиться.

— И что ты нашел?

— Ничего. Вообще ничего.

Серый свет и серые камни на Рю-о-Фэр. Черные фигуры птиц на остроконечных крышах. Слева от него угол Рю-де-ля-Ленжери, справа — Рю-Сен-Дени. У фонтана худая, ободранная собака лакает из лужи. Чувствуя, что на нее смотрят, она поднимает голову — с морды стекает вода, — потом поворачивается и ковыляет на Рю-Сен-Дени, там приостанавливается, словно решая, какая часть света ее зовет, и пускается на север к предместью.

Инженер идет следом, вливается в уличный поток, неловко останавливается, так что сразу же мешает проходу. Собаки уже не видно, но ему и не надо. Теперь он знает, что делать, хотя человеку, который всегда гордился своим образованным и ясным умом, немного неловко опускаться до магических ритуалов. Он отправится вверх по Рю-Сен-Дени. Сделает круг и дойдет до церкви Святого Евстафия. Пройдет, насколько удастся, тем же путем, которым шел той ночью малевать надпись с Арманом и его дружками-подкидышами, той ночью, когда в тумане он оказался

наедине с Элоизой. Он повторит этот путь, найдет ее снова и скажет то, что должен сказать. Он еще не облек это в слова, но как только она окажется перед ним, слова, без сомнения, потекут сами собой, словно подсказанные Святым Духом.

Он идет сквозь стайку белошвеек — шумных румяных девушек, направляющихся к реке после того, как двенадцать часов кряду они сидели на скамьях и, щурясь, следили за движением иголки. На Рю-Сен-Дени наступает время отдыха, когда работа приостанавливается и появляется возможность оторваться от ежедневной рутины и урвать хоть немного удовольствий у недолгого зимнего вечера. В питейном заведении Жеко уже полно народу. Двое привратников скучают, прислонившись снаружи к стене, подобно испанским грандам Золотого века. Литейщики, цветочницы, чистильщики обуви, продавцы тростей, нищие, уличные скрипачи, наемные сочинители — даже если кто-то из них и замечает инженера, бледное напряженное лицо раненого, даже если за те мгновения, пока они успевают сделать шаг или два, он кажется им забавным или, напротив, внушает тревогу, то всех их очень быстро уносит дальше к новым впечатлениям. Он, конечно же, обречен быть совершенно стер-

тым из сознания прохожих — за исключением тех моментов, когда задевает плечом мужчину или женщину, спешащих в людском потоке ему навстречу. Жан-Батист смотрит вперед как можно дальше, смотрит и старается не поддаться растущему подозрению, что все это — все то, что он сейчас делает, — сводится лишь к последствиям травмы, непредсказуемым и долговременным, о коих предупреждал его доктор Гильотен. Но вот когда он отошел от фонтана всего метров на триста, перед ним мелькает что-то красное — почти пурпурное при таком освещении — и заставляет сначала замереть на месте, а потом еще быстрее ринуться вперед.

Он взволнован, что нашел ее так легко. У него нет времени стряхнуть по пути остатки головокружения, собраться с духом. Его будоражит мысль, что магия подействовала…

Женщина слишком далеко, нет смысла ее звать, к тому же она движется в том же направлении, что и он, на север. На целую минуту он теряет фигурку из виду, ее заслоняет бредущая пара вьючных лошадей, но вскоре он снова находит ее глазами — женщина стоит у витрины магазина, приблизив лицо к стеклу. Он знает это место, двадцать раз проходил мимо. Там продаются

такие штуки, ну, эти самые — господи, у него на голове как раз такая! — но только для женщин и девушек. Ленточки и прочее, углубления для головы, разноцветные перья…

— Элоиза!

Он крикнул слишком рано, его голос не долетает до нее, хотя какая-то тетка у него за спиной, одна из тех преждевременно состарившихся рыночных старух, статью напоминающая селедочную бочку, отлично его расслышала и повторила его крик на удивление точно — жалобно и хрипло:

— О, Элоиза!

Жан-Батист оборачивается, скорее смущенно, чем сердито. Кто она такая? Он ее знает?

— Эй, королевочка! — зовет другая, как две капли воды похожая на первую. — Ты что, не видишь, тебя господин подзывает?

Но Элоиза все не слышит, все смотрит на витрину, не замечая сцену, которая разыгрывается на улице, приближаясь к ней.

— Не хочет, чтобы корзинщик ее приревновал, — говорит третья. — Или книготорговец. Или твой старик!

— Если мой старик на нее посмотрит, я сварю ему на обед его собственные яйца!

Теперь Элоиза оборачивается и глядит на них, спокойная и уверенная в себе, а они подходят все ближе. Что бы она ни чувствовала — злость, страх, удивление, — никакие эмоции не отражаются у нее на лице. За полтора или два метра инженер останавливается.

— Язык проглотил, — говорит первая.

— Ему не язык будет нужен, — говорит вторая, хохоча над своей шуткой.

— Это же он! — слышится мужской голос. Косматая голова высовывается из окна неосвещенной комнаты соседнего с магазином дома. — Тот самый, который раскапывает кладбище.

— Ты уверен?

— Конечно, уверен, черт меня побери! Вы только на него гляньте!

— Похоже, он хочет, чтобы ему перепало тех же удовольствий, что и его рабочим, — раздается новый голос — женский и более молодой.

— Я искал тебя, — говорит Жан-Батист Элоизе. — Хотел… поговорить.

При слове «поговорить» слушатели радостно гогочут.

— Надобно показать ей, какого цвета у тебя денежки, голубчик. Боже правый! Он, наверное, в таких делах еще ничего не смыслит.

— А как же дочка Моннаров? — спрашивает та, что помоложе. — Разлюбил и бросил?

Элоиза, которая ни разу не взглянула ни на кого, кроме инженера, дарит ему четыре или пять секунд, чтобы он объяснился. Он глубоко вдыхает, хмурится, открывает рот.

— Шляпы, — произносит он. — Как я мог забыть шляпы?

Она едва заметно кивает, потом, словно происшедшее не имеет к ней никакого отношения, словно это какая-то ерунда, с которой пришлось неожиданно столкнуться и которая больше ничуть ее не интересует, она поворачивается и идет дальше по улице.

Мужчина еще больше высовывается из окна.

— Шляпы! — кричит он. — Слышали, что он сказал? Он сказал: «Шляпы!» Шляпы!

От Жан-Батиста до окна не больше двух шагов. Он подходит, подходит быстро — гораздо быстрее, чем мужчина успевает среагировать, — хватает его за волосы и с силой тянет голову вниз по узкому подоконнику. В другой руке у него ключ от кладбища. Он приставляет конец ключа к горлу мужчины, к мягкой ямке под нижней челюстью.

— На кого я, по-твоему, похож? — спрашивает он тихо, почти светским тоном. — На кого я, *по-*

твоему, похож?

Потом — когда будет повод вспомнить эту историю, — мужчина расскажет, что в тех серых глазах он увидел свою смерть, будет утверждать, что именно так оно и было. И его будут слушать. Но что бы он ни увидел, этого достаточно, чтобы он замолчал. Женщины и те перепуганы. Представлению конец. Они рассеиваются, каждая отправляется по своим мелким надобностям. Целую минуту инженер стоит совершенно один.

Глава 2

Во время следующей встречи с месье Лафоссом — через три дня после происшествия на Рю-Сен-Дени — Жан-Батист подает прошение об отставке. У него нет сомнений в правильности этого поступка. Он больше не хочет руководить работами на кладбище Невинных. Он вообще не хочет иметь к ним никакого отношения. Он хочет куда-нибудь уехать, заняться чем-то другим. В конце концов, он инженер — в этом-то он уверен. И ему следует найти более подходящую работу.

Лафосс, который никогда не садится в ходе этих свиданий в гостиной Моннаров, ждет, когда молодой человек закончит свою речь, а затем говорит, что отставка — привилегия людей значительных, а он, инженер, к таковым не относится. Инженер — это на самом деле что-то вроде слуги, и даже не самый старший среди слуг. Он слуга, которого наняли по прихоти министра. Слуга, которого отпустят, когда в нем отпадет надобность. Таковы условия. Нарушить их значит полностью уничтожить всякую надежду на будущее продвижение по службе. Пожалуй, то, что инженер не понял этого сразу, выглядит скорее печально,

чем забавно.

— Так, значит, я должен оставаться здесь? И у меня нет иного выхода?

— Браво, месье. Вы наконец осознали очень важную вещь. А теперь позвольте мне продолжить и обсудить с вами то, ради чего я взял на себя труд сюда приехать.

Лафосс прибыл обсудить — хотя их беседы никогда не бывают похожи на обсуждения — новость, что каменоломня у Врат ада наконец готова к приему материалов с кладбища. Его светлость епископ окропил святой водой подвалы и проходы, где будут сложены кости. Повозки будут ездить ночью в сопровождении священников из духовной семинарии, что в Сен-Луи. По дороге им приказано громко молиться хорошо поставленными, мощными голосами. Будут кадила, факелы, черный бархат. Все, что должно свидетельствовать об особом внимании министра, о его благочинности…

— Могу ли я сообщить министру, — спрашивает Лафосс, — что вы уже в полном здравии? Что подобные приключения больше не повторятся?

Он ничего не говорит о надетом на инженера новом черном кафтане, который, кажется, тона на два темнее его собственного.

Глава 3

Ужин с Моннарами. Капуста, фаршированная каперсами. Телячьи почки в вине. Тыквенный пирог.

Месье и мадам едят в состоянии сильнейшей неловкости. Инженер, для которого любая еда теперь свелась к ощущению объема, количества, мягкости, поверхностной структуры и степени сухости, просто ест. Мари сияет.

Глава 4

Девятого марта в ночь, сразу после одиннадцати по часам инженера, вереница телег — крепких и поместительных, годных для перевозки камней, — готова двинуться к Новому мосту и далее, к каменоломне. Погрузка заняла более трех часов, однако костяные валы на кладбище с виду меньше не стали. Что до подземных склепов и захоронений над галереями, до них еще даже не дошло.

Лошади в постромках терпеливо ждут. Иногда какая-нибудь бьет по булыжнику копытом. Священники — бледные вымуштрованные молодые люди, соревнующиеся в набожности. Они берут факелы, переглядываются с соседями, смотрят на телеги с покрытым бархатом грузом.

— Будем надеяться, у этих ребят прочные башмаки, — говорит Арман. — К концу они пройдут путь до Луны и обратно.

На той стороне Рю-де-ля-Ферроннери собрались двадцать или тридцать зевак. До этой ночи людям особенно не на что было посмотреть. Дым костров, еженедельное появление шахтеров, похожих на моряков, отпущенных с корабля

в чужеземном порту, со взглядами, в которых чувствуется тяжесть скрытого знания. А теперь эта процессия — телеги и огни, священники в длинных, застегнутых на медные пуговицы одеяниях. Первое неоспоримое свидетельство конца кладбища Невинных! Первая партия останков. Нет — и не было — никаких протестов, никаких сожалений. Как бы сочувственно люди ни относились к этому участку зараженной земли, никто, кроме Зигетты Моннар, не попытался встать на его защиту.

В последний момент, когда все готово и зрелище вот-вот должно начаться, появляется отец Кольбер. Он выходит ощупью через дверь кладбища, втискивает свое мощное тело между Арманом и Жан-Батистом, сквозь цветные очки гневно глядит на них, потом на молодых священников. Из рук одного он выхватывает факел, шагает в начало процессии и встает во главе.

Инженер дает сигнал кучеру. Тот свистит лошадям. Раздается звяканье упряжи, скрежет железных ободов, катящихся по камням, а с телег доносится приглушенное постукивание и поскрипывание костей, которые от тряски пересыпаются под покрывалами.

Священники начинают петь псалом *Miserere*

mei, Deus[16], но ритм их шагов и пения перебивается грохотом сапог Кольбера, идущего в собственном ритме. Кольбер ведет телеги к реке, его раскрасневшееся лицо решительно обращено вперед, словно там, впереди, их ждет истинный ужас преисподней.

[16] Примечания: 16
Помилуй мя, Господи (*лат.*).

Глава 5

Общая могила у кладбищенской стены очищена и засыпана свежей землей. Две другие раскопаны. Инженер совершенствует методы работы. По мере весеннего убывания ночи он заставляет горняков трудиться усерднее, добавляет часы к рабочему дню. Убегает уже второй горняк, но через три дня возвращается, молчаливый и голодный. Что до остальных, кто знает? С виду кажется, что они примирились с такой работой, с ее особенностями, внутренне закалились. Жан-Батисту очень хотелось бы услышать, о чем они говорят, когда остаются одни. Он восторгается ими, их мужеством, ощущением независимости. Разве они не кажутся менее порабощенными, чем он? Не кажутся более свободными? Один горняк его особенно занимает, особенно волнует его воображение. Тот, с обрубком пальца и лиловыми глазами, который появляется и исчезает, точно призрак. Заметно, что остальные вежливы в общении с этим человеком, слушаются его и, находясь рядом, неизменно показывают уважение. Лекёр — надежный источник информации о рабочих — немногое может о нем рассказать,

кроме того, что он примкнул к ним вскоре после их отъезда из Валансьена: заменил одного шахтера, который заявил, что не может ехать дальше. Зовут Хоорнведер. Возможно, Хоорнведер. Хоорнведер или Тант, а может, Моэмус. Часто рабочие просто придумывают себе имена. У инженера есть какие-то основания для недовольства? Нет-нет, говорит Жан-Батист. Никаких оснований. Одно любопытство.

К середине месяца к Вратам ада уже отправляют по пять партий в неделю, и какое-то время эти процессии — завывающие священники, свечи, телеги с их скорбным грузом — входят в перечень городских развлечений. «Французский меркурий» печатает небольшой путеводитель, где указываются время выхода процессий и места, где их видно лучше всего (особенно рекомендуется переход через реку). Молодые парочки, чаще всего принадлежащие к высшим сословиям, торопятся насладиться этим зрелищем. Скрестив руки на груди, с суровой ухмылкой следят за ним моралисты. Путешественники-иностранцы пишут на родину письма, изыскивая подходящие метафоры, дабы представить всю Францию как петляющий караван костей. Потом город пожимает плечами. И ищет иные способы развлечься.

Кафе. Политика. Возможно, очередной бунт.

Глава 6

Арман добивается приглашения в дом Моннаров поиграть на фортепьяно Зигетты. Он вызывает — за счет Моннаров — мастера, способного, подобно зубодеру, безупречно, вслепую ремонтировать инструменты: цокая языком и гримасничая, тот залезает до половины внутрь фортепьяно и умудряется наконец его настроить.

Арман садится играть, и кажется, будто он стряхивает в клавиши звуки с кончиков пальцев. При первом же грохоте аккордов Рагу съеживается под сиденьем, потом вылезает и начинает яростно точить когти о ворс ковра.

— Ты убиваешь мой орган, — кричит Арман, перекрывая голосом собственную музыку, — но раз ты дал мне фортепьяно, я тебя прощаю.

— Я тебе его не давал, — говорит Жан-Батист.

— Право собственности, — отвечает Арман, — скоро станет гораздо более гибким понятием.

Жан-Батист страдает от головных болей. Теперь они будут мучить его всю оставшуюся жизнь. В самых тяжелых случаях мир вокруг покрыва-

ется синевато-багровой мембраной, как будто Жан-Батист выглядывает из трещины в собственной голове. Ему приходится сидеть совершенно неподвижно. Боль постепенно нарастает, пока не проходит вместе с обильной рвотой. Другие приступы менее серьезные, и их можно притупить — по рекомендации Гильотена — тремя-четырьмя чашками крепкого кофе.

Некоторые из забытых слов возвращаются к нему, точно голуби в свою голубятню. Обмакнув перо в черные чернила, он перечисляет их в конце дневника:

Бритва
Обруч
Линейка
Крепь
Шляпа…

Он до сих пор не может прочесть ни страницы из Бюффона, не может вспомнить, когда и зачем купил эту книгу. Задумывается, какая часть человеческой жизни — эта история, которую он рассказывает себе и о себе же. Размышляет, сколько из этой истории он утратил. И важно ли это.

В колонке, куда записываются плюсы, следовало бы указать, что его больше не беспокоят сны. Он спит крепко. Бутылочка с лекарством

тягучего *lachryma papaveris* стоит в его комнате на каминной полке, но после нападения он к ней не притрагивается, даже в те ночи, когда лежит, придумывая сотню различных вариантов того, что мог бы сказать ей, Австриячке, в сумерках на Рю-Сен-Дени.

На дне десятой общей могилы — останки тридцати или сорока детей. Нет времени подсчитать точно. Гильотен и Туре определяют возраст, в котором упокоились бедняжки: от четырех до десяти лет. Когда спрашивают про этих детей Монетти, тот кивает. Эпидемия в сиротском приюте в Плесси. Год 1740? А может, 1741? Наверняка он сказать не может. В могиле дети сложены «валетом» — именно так, должно быть, они спали в приюте. На рабочих это производит тяжелое впечатление. Они раскуривают трубки, перебирают амулеты. Доктора берут несколько черепов и, сложив их, точно капусту или репу, в одну из Жанниных плетеных корзин, уносят в лабораторию.

В последние дни марта начинается снегопад. Хлопья, словно растопленный воск, прилипают к черным стенам церкви, ложатся, переливаясь снежинками, на груды костей. Потом ударяют морозы. Рабочие не копают, а как будто скоб-

лят. Инструменты звенят, ударяясь о землю. Чтобы раскопать одиннадцатую общую могилу, приходится всю ночь жечь над ней костер. Это последнее возвращение зимы.

На следующей неделе земля оттаивает, превращается в грязь, в черную жижу. Когда вытаскивают гроб или череп, раздается хлюпающий звук, странным образом напоминающий о любовных утехах. Пальто расстегиваются, шляпы сдвигаются на затылок. Даже на кладбище — и даже тем, у кого обоняние такое же плохое, как у инженера, — воздух кажется другим и в непредсказуемые моменты вдруг обретает дразнящую чистоту, которая заставляет всех — мужчин и женщин, горняков и начальников — воображать, будто они находятся совсем в другом месте, быть может, отправились на долгую прогулку по деревне и теперь, гуляючи, спускаются к реке с растущими по берегу ивами.

Однажды утром, сразу после того, как инженер пришел на кладбище, его зовет Жанна. Ее лицо сияет от возбуждения. Она ведет его в северо-западную часть, в тот угол, где они очистили первую общую могилу.

— Видите? — спрашивает она, указывая на полоску маленьких желтых цветочков с листьями,

точно зеленые лопатки в пятнышках, а рядом кустик каких-то более высоких растений с малиновыми цветами.

— Семена лежали в земле, — говорит она, — но вы их раскопали, и они ожили.

Жан-Батист смотрит на них, на эти желтые и малиновые цветочки. И не говорит ни слова. Он совершенно обескуражен.

Глава 7

Он не видит ее, ничего не слышит о ней, и вдруг оказывается, что она стоит рядом. Сумерки, он собирается открыть дверь в дом Моннаров. Большой фургон — «Месье Гюло и сыновья. Перевозки для дворянского сословия» — грохочет по улице в сторону Рю-Сент-Оноре. Вздрогнув, он смотрит на женщину во все глаза, что, наверное, выглядит весьма комично.

— Вы хотели со мной поговорить? — спрашивает она.

— Но это же было несколько недель назад, — отвечает он.

— Значит, вы уже не хотите со мной говорить?

— Нет, хочу.

— Хотите?

— Да.

— Очень хорошо.

Она ждет, не отрывая взгляда от его лица. Сегодня на ней не красный плащ, а шаль или шарф из какой-то легкой ткани, покрывающей волосы. Ее лицо бесстрастно, губы плотно сжаты.

— Я вспоминал тебя, — начинает он, открыв рот и уже не подбирая слов. Слишком поздно

осторожничать, продумывать последствия. — Я вспоминал тебя. Часто.

Она кивает. Но этот жест ему никак не может помочь.

— Войдем, — предлагает он. — И поговорим в доме.

— В доме Моннаров?

— Они не станут возражать. Не в том они положении, чтобы противиться моим желаниям.

— Из-за дочери?

— Да.

— Из-за того, что она сделала?

— Да.

— Она была вашей подружкой?

— Не в том смысле, который ты в это вкладываешь.

— А какой смысл я вкладываю?

— Сама знаешь.

— Это не имело бы никакого значения.

— Неужели?

— Почему это должно иметь какое-то значение?

— Ну, — говорит он, — не знаю.

Они замолкают, будто оба разом поражены столь странным характером беседы, как, впрочем, и тем, что она вообще происходит. Первой

приходит в себя Элоиза.

— И вы это хотели сообщить мне? Что вы меня вспоминали?

— Не только.

— Что же еще?

— Я подумал, может, ты… придешь сюда.

— Зайти к вам?

— Может, ты останешься здесь. Если захочешь.

— В этом доме?

— Да.

— Давайте объяснимся начистоту, — говорит она.

— По-моему, я все ясно объяснил.

— Вы хотите взять меня в любовницы?

— Я хочу, чтобы ты осталась со мной.

— Что значит «осталась»? Вы хотите сказать, жила с вами?

— Да.

Вот сейчас, думает он, она откинет голову и расхохочется. С презрением скажет, что он не соображает, что говорит. И это правда. Не соображает. Это ли он хотел ей сказать? «Живи со мной»? Или просто произнес самое невероятное, что пришло в голову? Он готовится ответить что-то грубое, прогнать ее, лишь бы отомстить за свое унижение, но когда вновь раздается ее голос,

он звучит серьезно и тихо. Почти ласково.

— Вы когда-нибудь раньше жили с женщиной? — спрашивает она.

— Нет, — отвечает он. И потом, спохватившись: — Твой вопрос касается практической стороны дела? Ты боишься, что я не знаю, как вести себя с женщинами?

— Мы плохо знакомы друг с другом, — отвечает она.

— Но все же знакомы.

— Когда мы познакомимся ближе, возможно, вы сочтете, что у меня дурной характер. А я то же самое подумаю про вас.

— Ты не хочешь жить со мной?

— Я этого не сказала. Только мне кажется, вы не задумывались… обо всем, о чем надо было задуматься. Не задумывались как следует.

— Ты ошибаешься, — говорит он.

— Или вы ошибаетесь.

— Я не ошибаюсь.

— Ха! Не нравится, когда вам противоречат?

Она складывает губы трубочкой, как если бы на рынке торговалась с хитрым и упрямым продавцом. Потом опускает глаза и медленно скребет носком ботинка по булыжнику мостовой.

— Я вам нравлюсь, — говорит она.

— Да.

— Почему?

– Почему?

— Вы должны знать, — говорит она.

— Конечно, — отвечает он, хотя на самом деле ему никогда не приходило в голову, что для того, чтобы нравиться, должна быть причина. — Ты посмотрела на меня, — объясняет он.

— Я вас заметила?

— Да.

— Это правда, — говорит она. — Я действительно вас заметила.

— Ты покупала сыр, — напоминает он.

Она кивает.

— Вы казались каким-то потерянным.

— Ты тоже.

— Потерянной?

— Не на своем месте.

— Если бы я согласилась на ваше предложение, — говорит она после одной из пауз, во время которых она, похоже, осторожно взвешивает каждое его слово, — то мне бы хотелось быть свободной в своих поступках. Мне слишком много лет, чтобы подчиняться чьим-то приказам.

— Ты будешь свободна.

— Но если вы когда-нибудь меня ударите…

— Не ударю.

— Я слышала, одному человеку вы приставили нож к горлу. Тогда вечером на Сен-Дени.

— Это был не нож, а ключ.

— Ключ?

— Да.

— Потому что он меня оскорбил?

— Да.

— Он будет не последний.

— Значит, я буду с ними драться.

— Ключом?

— Ты могла бы переехать в ближайшее время, — говорит он. — У тебя много вещей?

— Одежда, — говорит она. — Книги.

— Книги?

— А вы думали, я не умею читать?

— Нет. Я так не думал.

— Мне бы хотелось иметь больше книг. Хороших изданий. А не этих по пятнадцать су, которые разваливаются в руках, стоит только раскрыть.

— Да, — соглашается он. — Не этих.

— И еще театр. Я так давно не была в театре.

— Театр, — говорит он. — Мне бы тоже хотелось пойти в театр.

Некоторое время они оба молчат, успокоенные. Даже на улице наступило временное затишье

— кругом ни души. Весьма вероятно, думает Жан-Батист, из одного из этих окон за ними наблюдает сейчас какой-нибудь сосед, знающий, кто они такие. Но инженеру решительно все равно.

— Это вы? — спрашивает она, повернувшись и глядя наискосок через улицу на ставни галантерейщика, где черной краской выведены слова — очередная угроза господина Кайло сильным мира сего. На сей раз говорится о печальной участи, ждущей коменданта Бастилии. Надпись появилась неделю назад, и ее до сих пор не замазали.

— Ты знаешь мое имя, — говорит он.

— Я знаю оба, — говорит она и впервые открыто улыбается ему.

Глава 8

Она не дает ему окончательного ответа. Ей надо подумать. Это важное решение. Она подумает и пошлет ему весточку. И он, полагает она, тоже должен как следует разобраться в своих желаниях. На самом ли деле ему хочется того, что он ей предложил. Действительно ли хочется.

Почти неделю Жан-Батист пребывает в состоянии ужасной неопределенности. На пятый день — пятую ночь — он точно знает, что ничего не произойдет. Это природное чутье, внезапное озарение. Ничего не произойдет, не может произойти. Вероятно, с полдюжины мужчин каждую неделю предлагают ей жить с ними — это те мужчины, у которых к вожделению примешивается что-то более нежное, то, чему не место в той профессии, которую она избрала. Она же женщина бесчувственная и не может быть другой: этот вывод подсказывает разум. Бесчувственная и опустошенная. Или, наоборот, добрая, бесконечно добрая и не переедет к нему ради его же блага. Для такого, как он, образованного, имеющего профессию, кому пристало стремление преуспеть и возвыситься, — для такого человека связаться с

женщиной подобного сорта означало бы обречь себя на публичное осмеяние и бесчестье. Аристократ вроде графа С. мог бы так поступить или же, напротив, человек незначительный, который уже добился всего, чего мог, и, утратив доброе имя, потеряет не так уж и много. Но для него — не знатного и не униженного — такой поступок невозможен. И она это понимает. А потому за счет собственного благополучия решает спасти его от его же глупости.

Ему хочется с кем-нибудь поговорить. Он никогда еще не казался себе таким чужаком, словно его жизнь превратилась в комнату, где все знакомые вещи заменены на подделки. Поговорить с Арманом? Но Арман слишком импульсивен, начнет слишком пылко выступать за или против, слишком явно над ним насмехаться. Гильотен? Гильотен его выслушает и, имея богатый жизненный опыт, посмотрит на это дело широко. Широко, но с медицинской точки зрения? Весьма вероятно. Возможно, это и будет правильный взгляд. Жан-Батист нездоров! Нездоров и не похож на самого себя, он не такой, каким должен быть.

Теплым утром он находит доктора в лаборатории — тот сидит на табурете, полируя череп

кого-то из усопших сирот. При виде столь унылого предмета, поблескивающего в руке у доктора, сама мысль о задушевном разговоре разом улетучивается из головы инженера. Вместо этого они говорят о костях черепа — лобной, теменной и затылочной. О том, что у младенцев и детей различные черепные кости еще не соединены накрепко между собой, и насколько это важно при рождении, когда череп подвергается огромному давлению, проходя по родовым путям.

— Они идеальны, — говорит доктор, передавая череп Жан-Батисту. — Не раскалываются, как дыни. Не разбиваются, как стеклянные шары.

Он встает, чтобы осмотреть рану инженера, осторожно раздвигает отросшие волосы и объявляет, что доволен состоянием шрама.

— У вас до сих пор нет никаких осложнений, кроме головных болей? — спрашивает он.

— Я… — начинает Жан-Батист, но потом пожимает плечами, — такой, как вы видите. И я был бы рад, если бы мы наконец договорились об оплате. Ваша доброта требует вознаграждения. Я все никак не могу отблагодарить вас как подобает.

Доктор лишь отмахивается.

— Если, конечно, мой дорогой инженер, вы не передумали завещать мне вашу замечательную

голову.

В сгустившихся сумерках Жан-Батист возвращается с кладбища, но вдруг, до этого скрытый тенью кладбищенской стены, вперед выступает мальчик и останавливается поперек дороги. Это немой, который помогал переносить сундук в ту ночь, когда инженер вселялся в дом Моннаров. Мальчик протягивает руку, и сначала Жан-Батисту кажется, что он что-то хочет, что он научился просить милостыню, но в руке мальчика что-то лежит, это сложенный квадратиком листок бумаги. Если выйти на середину улицы, будет достаточно света, чтобы прочитать записку. Она очень короткая: «Я приду, если вы не передумали».

Ему нечем написать ответ. Он спрашивает:

— Ты умеешь объясняться знаками? Можешь показать так, чтобы тебя поняли?

Мальчик кивает.

— Тогда иди к той женщине, что дала тебе записку. Скажи, чтобы приходила завтра. В три часа дня. А теперь покажи, как ты это передашь.

Мальчик показывает. Как будто все абсолютно ясно. Он дает немому монетку.

— Иди, — велит он. — И найди ее сегодня же.

Глава 9

По пути к дому и потом, поднимаясь вверх по лестнице к себе в комнату, он чувствует себя самым счастливым человеком в Париже. Свечу он не зажигает — сидит на кровати в прохладной полутьме, словно скрытый в пурпурной сердцевине цветка. Как все просто! И какие же мы все безумцы, когда превращаем свою жизнь в муку! Как будто *хотим* быть несчастными или боимся, что исполнение желаний разорвет нас на части! Но тут же — привычный рефлекс — он принимается исследовать свои чувства, называть их составляющие, стараться понять, что за механизм у этой новой радости, потом ложится на кровать, тихонько смеясь, и так, смеясь, почти засыпает, но вдруг снова садится, выпрямившись, в постели, и вновь все представляется ему сомнительным. Что именно она хотела сказать этой запиской? Не было ли там двусмысленности? Может, он не так ее понял, он, для кого слова стали такими ненадежными слугами? А потом еще послал с ответом немого, хотя, будь Жан-Батист капельку разумнее и терпеливее, можно было привести мальчишку в дом и написать все ясно и понятно!

Он встает, меряет шагами свое небольшое жилище, останавливается у двери, смотрит на комнату, в которой теперь все предметы различимы лишь по их слабым очертаниям, и понимает, что если Элоиза придет завтра (но почему *именно* в три часа?), они никак не смогут здесь находиться, жить здесь, провести вместе хотя бы одну ночь.

Он крадучись спускается по лестнице, минует дверь столовой, зажигает свечу у стола в холле и возвращается — перепрыгивая через ступеньку — на второй этаж. Остановившись у комнаты Зигетты, ловит себя на том, что начал было прислушиваться под дверью, шепотом сам себя ругает и, открыв дверь, входит в комнату.

Он не был тут с того вечера, когда приходил взглянуть, как выглядят забывшие себя девицы, и обнаружил и девицу, и комнату в полнейшем беспорядке. Сейчас комната более или менее прибрана, в застоявшемся воздухе, правда, немного чувствуется сырость, но это дело поправимое. Он поднимает свечу, осматривает крашеный гардероб, камин, туалетный столик с овальным зеркалом (в котором теперь мерцает огонек его свечи), кровать, достаточно широкую, чтобы там поместились двое. Остался ли тут запах Зигетты? Он не знает, не чувствует. Подходит к окну, еще

не закрытому ставнями, открывает его, ощущает, как вечерний воздух обдувает пальцы. Приступ сомнений уже миновал, а вместе с ним и головокружение, и чудесные минуты пронзительной радости. Он голоден. Ужасно голоден. Он спускается вниз к ужину. Моннары уже закончили есть суп, но супница еще на столе. Пришла пора сказать им, мадам и месье, каковы его планы и кто завтра — если знаки немого мальчика будут поняты правильно — поселится у них в доме. Ложкой заливая суп в рот, он пытается найти какой-нибудь изящный и убедительный способ выразить эту мысль, но, не успев заговорить, неожиданно начинает смеяться. Суп тоненьким коричневым ручейком стекает с губ назад в тарелку. Он вытирает рот, откашливается. Просит прощения.

* * *

Первые утренние лучи. Он надевает черный кафтан и идет разыскивать Мари, которую в конце концов обнаруживает в кухне. Та стоит, нагнувшись, у кухонного стола и держит в зубах кусочек вареного мяса — чтобы кот подпрыгнул и схватил.

— Мы играем, — объясняет она.

Жан-Батист кивает и спрашивает, не могла бы она собрать все вещи Зигетты, всех ее фарфоровых пастушек, все любительские акварельки, ракушки, раскрашенные наперстки, расписные веера и прочее и перенести из ее комнаты в его, где все это за ненадобностью можно покамест удобно сложить.

— Зачем? — спрашивает Мари.

— Мне она понадобится.

— Ее комната?

— Да.

— Вам?

— Мне. Да. Мне и… еще одному человеку. Женщине.

— Женщине?

— Она будет жить со мной.

— Женщина?

— Да. Женщина. А что в этом удивительного?

— Она ваша жена?

— Мы… договорились. Между собой. Разве мужчины и женщины из предместья Сент-Антуан, живя вместе, непременно состоят в браке?

— Нет.

— Ну, вот и мы тоже.

— Значит, вы хотите, чтобы я прислуживала и вам, — говорит она, — и ей.

— Я буду тебе доплачивать. В полтора раза больше, чем тебе платит месье Моннар.

— Когда она приезжает?

— Думаю, сегодня. Может быть, днем.

— Так вы заплатите мне сегодня?

— Дам кое-что, когда будет готова комната. У тебя найдется время, свободное от других… обязанностей?

Она кивает, улыбается ему лукаво и возбужденно. Во время разговора кот не сводит глаз со рта служанки.

В два часа, наврав Лекёру с три короба о том, что ему якобы надо идти к ювелиру на Рю-Сент-Оноре, дабы попытаться раздобыть дополнительные средства, Жан-Батист возвращается к себе. Зайдя в комнату Зигетты, с облегчением обнаруживает открытый пустой гардероб, туалетный столик, на котором не осталось ни булавки, и голые стены. Умница Мари! Надо будет не скупиться — дать ей столько, чтобы хватило на хорошее новое платье, пусть покажет себя во всей красе, когда приедет домой, если у нее есть дом или место, которое можно назвать домом.

Поменяла ли она постельное белье? Он стаскивает покрывало, рассматривает подушку: нет ли на ней светлых волосков, потом почему-то вдруг

заглядывает под кровать, находит там какой-то небольшой изящный предмет. Вытаскивает его и вертит в руках. Фиолетовый атлас. Нечто из фиолетового атласа, зашнурованное фиолетовой ленточкой. Вроде туфли, мягкое, похожее на туфлю… Какая разница, как это называется! Сейчас на это нет времени. Он складывает предмет пополам и сует в карман. Присаживается на край кровати, но тут же вскакивает и идет к окошку, высовывается, смотрит, нахмурившись, на улицу, бормочет себе под нос какую-то поговорку про женщин и пунктуальность, снова возвращается к кровати, потом подходит к зеркалу, рассматривает, оскалившись, свои зубы, вынимает часы, видит, что до назначенного времени надо ждать еще пятнадцать минут, снова садится на кровать, глядит на приставшую к башмакам грязь, кладбищенскую грязь, возможно, перегной того, что когда-то было мужчинами и женщинами, и неожиданно задумывается о гильотеновой Шарлотте, о сохранившейся покойнице с длинными ресницами, торчащими из серых впалых век, похожих на древние монеты. С чего это она вдруг пришла ему на ум? Неужели нельзя забыть о мертвецах хоть на час-другой? Раньше он никогда не думал о покойниках, ну, разве что об отце…

И что это за старая рожа уставилась на него из окна с противоположной стороны улицы? Так, значит, ты решил подглядывать? Очень хорошо. Жан-Батист встает, складывает руки на груди и тоже глядит на человека, насмешливо улыбаясь, пока не начинает подозревать, что перед ним вовсе не лицо, а что-то висящее, может, даже это тусклый отсвет небольшого зеркала, но тут слышит резвую рысь лошадей, ритмичный стук подскакивающих на мостовой колес. У наемных экипажей свой звук, и это точно наемный экипаж. Он бросается к окну, смотрит вниз, видит, как экипаж останавливается у дома, как старый извозчик плавно соскальзывает с козел и подходит к дверце, собираясь ее открыть. Через мгновение он уже видит голову Элоизы, самую макушку.

— Вот так, — говорит он. И его голос в теперешней пустоте комнаты отзывается актерскими нотами — такими же лживыми и странными, как у актеров. Жан-Батист стремглав несется по лестнице, его башмаки грохочут по деревянным ступенькам. Из гостиной выскакивает мадам Моннар и останавливается на лестничной площадке, ломая руки.

— У нас что, пожар? — кричит она пробегающе-

му мимо инженеру. — Месье! Месье!

Глава 10

Их первые совместные часы полны такой болезненной неловкости, что каждый неизбежно приходит к выводу, что они совершили серьезную ошибку. Он слишком много говорит, потом молчит почти полчаса. Она сидит на стуле у туалетного столика, и ей на плечи падает солнечный свет. Его мучает мысль, что вдруг каким-то непонятным образом она может оказаться не такой красивой, какой представлялась ему во время их встреч на улице. На ней белое платье, вышитое красными и розовыми цветами. Идет ли оно ей? У нее на груди, у шеи, небольшая отметинка, пятнышко, которое она попыталась скрыть под слоем пудры. Она заводит разговор о том о сем, так что становится ясно: она его жалеет. Вежливо справляется о работе. Работе! Он не многим лучше похитителя трупов. А ему, выходит, надо спросить о *ее* работе?

Свет в комнате меркнет, приближаясь к цвету воды в корыте прачки. Неожиданно инженер чувствует ужасную злость. Ему хочется брякнуть что-нибудь гнусное, идиотское о женщинах, о куртизанках и проститутках. Что-нибудь непро-

стительное. Но вместо этого он говорит:

— Нам нужно поесть.

— Здесь?

— Где же еще?

— Вы обычно едите с Моннарами?

— Конечно.

— Может, сегодня нам лучше поужинать в комнате?

— Рано или поздно тебе придется с ними встретиться. Так что давай сейчас.

Внизу в гостиной у камина сидит мадам Моннар. За недели, прошедшие с отъезда Зигетты, она утратила почти всю свою жизнерадостность. Нередко ее глаза наполняются слезами, к носу подносится скомканный платочек, раздаются вздохи, влажный взгляд устремляется вдаль, иногда слышны звуки, напоминающие кошачье мяуканье. Незаметно, чтобы она получала хоть какое-то утешение от своего супруга, да и вообще от кого бы то ни было. Временами создается впечатление, что она не замечает, что происходит вокруг, но на этот раз, при появлении в гостиной Элоизы Годар, в ней — обнадеживающе — просыпается изумление.

Мари, конечно, могла бы предупредить хозяйку, но предпочла этого не делать. Посетитель,

постучавшийся в дверь днем, был, насколько ей известно, просто знакомым месье Баратта, наверняка один из тех, что работают с инженером на кладбище. Не исключено, что этот жуткий тип, месье Лафосс. И вот — пожалуйста! *Она*! Неожиданное, почти призрачное появление женщины, чье имя (если предположить, что кто-то вообще знает ее настоящее имя) даже невозможно произнести в приличном обществе.

— Мадам Моннар, это мадемуазель Годар. Мадемуазель Годар будет теперь жить у нас в доме, — говорит Жан-Батист.

— Надеюсь, мадам, — говорит Элоиза, — это не создаст вам слишком большие неудобства.

— Я договорюсь с вашим супругом, — говорит Жан-Батист, — о дополнительной плате.

Мадам Моннар кивает. Переводит взгляд с инженера на женщину, крутя уголок небольшой, набитой лавандой подушечки у себя на коленях.

— Какая милая комната, — говорит Элоиза. — Изысканная и уютная. Обычно бывает либо одно, либо другое.

— Да? — шепчет мадам.

— Я, конечно, не так хорошо в этом разбираюсь, — говорит Элоиза, одарив пожилую женщину такой лучезарной и искренней улыб-

кой, что Жан-Батист отворачивается, чтобы не задохнуться от ревности.

Он поднимает со стола графин, наполняет две рюмки, дает одну Элоизе, а она передает ее мадам Моннар, та берет рюмку с таким видом, будто никогда не держала в руках ничего подобного, будто никогда не видела красного вина.

— Вы вышиваете, мадам? — спрашивает Элоиза, показывая на образчик незатейливого творчества, висящий на стене у камина.

— Вышиваю?

— Нитками на ткани, мадам. Когда я была молоденькая, я сделала вышивку, похожую на эту, но она была не столь аккуратна.

— Это вышивала моя дочь. Моя дочь Зигетта.

Впервые после нападения мадам осмелилась произнести имя своей дочери в присутствии инженера.

— Сразу видно, ее хорошо учили, — говорит Элоиза.

Мадам улыбается. Чистая благодарность, чистое утешение. Внутри нее зарождается нечто почти героическое. От живота к сердцу, от сердца к губам.

— Вам не кажется, мадемуазель, — произносит она, сильнее сжав подушечку, — вам не кажется,

что сегодня воздух немного теплее? Теплее, чем вчера?

Элоиза кивает.

— Да, мадам, полагаю, что, пожалуй, теплее.

Через полчаса — все это время журчал ручеек вежливой женской беседы — в комнату входит месье Моннар. Его появление, как обычно, сопровождается едким запахом, ибо при производстве ножевых изделий используется кислота. И его жена почти с радостью представляет ему Элоизу как «подругу месье Баратта». Но сообщить, что мадемуазель Годар отныне будет обитать в доме, приходится самому Жан-Батисту. Что она будет жить. С ним.

— Жить, месье?

— Да.

– *Здесь*?

— Да.

— В доме?

— Да.

В этот миг месье Моннар мог бы взбунтоваться. В этот миг он мог бы громовым голосом в самых недвусмысленных выражениях выгнать их обоих из дома, мог бы, наверное, сорваться и броситься на инженера с кулаками… Но мгновение прошло, поглощенное воспоминанием о дочери, лежащей

в постели, нагой и невинной, как младенец, а в ногах у нее — окровавленная медная линейка. Он стряхивает с рукава какую-то соринку, глядит в окно, где весенним вечером горят неровным огнем кладбищенские костры.

— Понимаю, — говорит он. — Разумеется.

Они садятся за стол. Вошедшая с подносом Мари первой подает Элоизе, служанка, видно, успела проникнуться восхищением к этой женщине. Сначала идет суп из редьки. На второе вместе с вареной зеленью и луком приносят круглые и длинные кусочки какого-то сероватого мяса в соусе того же цвета.

— Это угорь, мадам? — спрашивает Элоиза, и, когда мадам Моннар отвечает утвердительно, Элоиза весьма к месту сообщает с полдюжины интересных фактов об угрях. — Они удивительные, мадам. Мне рассказывали, что никто не знает, где они растят своих мальков.

— В детстве, — говорит мадам Моннар, — мне нравилось наблюдать за ними в корзинах на рынке. Я думала: что будет, если я суну в воду руку? Съедят они ее или нет?

— Черт бы их побрал! — ворчит месье Моннар.

— Месье? — переспрашивает Элоиза.

— Разве я что-то сказал, мадемуазель?

— Мой муж, — начинает мадам Моннар, — держит большой магазин на Рю-Труа-Мор. Ножевые изделия от самых простых до роскошных. Отец Пупар, настоятель церкви Святого Евстафия, режет мясо ножом, купленным у моего мужа.

— Я видела его, мадам. То бишь магазин. Все говорят, что он из лучших.

— Вы знаете отца Пупара? — спрашивает мадам, которая, судя по всему, произвела у себя в голове переворот, позволивший забыть, с кем, собственно, она сейчас ведет беседу.

— Встречала его на улице, мадам.

— У него такой приятный голос. Думаю, моей дочери он доставлял истинную радость.

— В такой большой церкви нужен сильный голос.

— О, да, мадемуазель. Вы совершенно правы.

— Мерзавец! — кричит месье Моннар, вскакивая с места.

Рагу, заразившись царящей атмосферой еле сдерживаемой анархии, прыгнул на стол и стащил кусок угря из тарелки хозяина. И тотчас же спрятался с ним под фортепьяно. Месье Моннар, получивший наконец возможность дать волю своим чувствам, с огромной силой швыряет в кота тарелку. Тарелка ударяется об угол инстру-

мента и разлетается брызгами фарфора и серого соуса. В наступившей тишине Жан-Батист встает из-за стола. За ним поднимается и Элоиза.

— Вероятно, вы устали с дороги, мадемуазель, — светским тоном замечает мадам Моннар.

— Как вы внимательны, — отвечает Элоиза, хотя она проехала всего-то по нескольким улицам. — Доброй ночи, месье.

Месье Моннар кивает, что-то бормочет, но не отрывает — не в состоянии оторвать — взгляд от пола, где Рагу, утащивший кусок угря, тщательно вылизывает соус из самого крупного черепка.

Они идут в комнату — в свою комнату, если ее можно так теперь называть. Вечер не так уж холоден, как, впрочем, и комната (а несколько недель назад они могли бы наблюдать, как у них изо рта идет пар), но Жан-Батист опускается на колени на коврик перед камином и начинает разводить огонь. Когда пламя разгорается, он отходит и смотрит. Потом, все еще глядя в огонь, говорит Элоизе, что ему надо вернуться на кладбище.

— Сейчас?

— Там начинается погрузка.

— Это надолго?

— Смотря сколько времени потребуется.

— И некому тебя заменить?

— Дело не в этом.

Жан-Батист быстро уходит. Элоиза смотрит на закрывшуюся дверь, слышит, как он спускается по лестнице. Вскоре хлопает и уличная дверь. Несколько минут она стоит на месте без всякого выражения. Потом поднимает руку, вытирает две слезинки — ей не хочется, чтобы они упали, — и подходит к туалетному столику. Распускает и снова завязывает полосатую ленту в волосах, скидывает ботинки, потирает внутреннюю сторону ноги, где ботинок жмет, потом начинает расстегивать крючки, расшнуровывается, перебирает петельки, развязывает бантики, откалывает булавки, пока не остается в нижней юбке, сорочке и чулках. Открыв матерчатую сумку — одну из трех больших сумок, в которых она привезла все свои вещи, — вынимает стеганый ночной халат и пару кожаных тапочек, флакон с апельсиновой водой, кусок ткани. Апельсиновой водой она освежает лицо, шею, подмышки, протирает между грудей. В углу комнаты устроена уборная, скрытая небольшим экраном из гофрированной хлопчатобумажной ткани на деревянной раме. Элоиза садится и, справив нужду, омывает апельсиновой водой складки бедер. Через несколько дней у нее начнется обычное женское недомо-

гание, она чувствует, как готовится организм, как внутри все слегка тяжелеет и разбухает. Она знала мужчин, которым были отвратительны женские кровотечения, но встречались и другие, которых — что довольно обременительно — они даже привлекали. Инженер, как ей кажется, относится к тому большинству, которое вообще не задумывается на эту тему.

Она застегивает халат, шевелит кочергой угольки в камине и начинает осматривать комнату. Совершенно очевидно, что это не та комната, где жил инженер до ее приезда, ибо в ней нет никаких его вещей. Гардероб пустой (она пока не будет вешать туда свои платья). Никакого свойственного мужчинам беспорядка. Ей бы хотелось взглянуть на кафтан, который она однажды на нем заприметила, — тот, салатного цвета, — но одежды здесь нет, даже рубашки. Так чья же это была комната, если не его? Она могла бы догадаться — и ее догадка, по всей вероятности, была бы верна, — но завтра она выведает все, что ее интересует, у этой довольно своеобразной служанки. Служанки всегда все знают.

Хорошо, что окно выходит на улицу, а не на кладбище. Клиентов на Рю-де-ля-Ленжери у Элоизы не было — тех людей, неожиданно столк-

нувшись с которыми, она могла бы испытать неловкость. Впрочем, она не собирается испытывать неловкость от чего бы то ни было. Она оставила свою старую жизнь — тому всего день или два, — но не опустится до унизительного притворства. Она жила публично, почти четыре года была публичной женщиной, занимаясь открыто у всех на виду той профессией, к которой своими действиями, если не словами, ее подталкивали родители в трактире на тракте Париж — Орлеан. Но четырех лет вполне достаточно. Это решено. Обида и гнев прошли, она протащила их, как терновые шипы, сквозь свое нутро, и они вычистили, ободрав, все, оставив тысячи мелких шрамов, но не убили ее. Теперь случилось другое. Началась новая жизнь. Новая жизнь с неловким сероглазым незнакомцем, которого, однако, она, как ей кажется, хорошо знает. С незнакомцем, который хочет ее — в этом нет никаких сомнений, — и не только, как старый Исбо, в первый вторник каждого месяца…

Вспомнив про книготорговца, она идет к своей матерчатой сумке и вынимает две книги. Идет к туалетному столику, садится и придвигает свечу. За что взяться? За «Влюбленного дьявола» Казота или за «Учение Ньютона для дам» Альгаротти?

Сегодняшний вечер она, пожалуй, проведет с Альгаротти и Ньютоном. Потом, когда инженер вернется домой, она сможет разрядить обстановку, попросив его объяснить что-нибудь из прочитанного. (Ему это понравится. Все мужчины это любят.) Усевшись поудобнее, она находит нужную страницу и уже собирается начать главу об оптике, когда слышит, как под дверью кто-то скребется.

На кладбище он не идет, никогда и не собирался. Его путь лежит в противоположном направлении, в сторону Пале-Рояль. Ему надо пройтись, подумать, перестать думать. Начинается очередной приступ головной боли? Как ни странно, нет.

Как горько, должно быть, она сожалеет о своем переезде! Этот ужин! Какая нелепость! А еще хуже его собственное поведение — занудство и грубость. Точно он на нее обижен! На нее, о которой он мечтал всю зиму! Почему нельзя просто хотеть, просто желать — без противоречий, без необъяснимых «нет», таящихся в каких-то неисследованных закоулках души? А теперь он еще и удрал вместо того, чтобы делать то, что сделал бы любой нормальный человек в обществе такой женщины, как Элоиза Годар. Арман уже начал

бы по второму разу. Да так, что из окон стекла бы повылетали. Неприятная мысль, конечно: Арман с Элоизой. Если он хоть пальцем к ней прикоснется…

В ночном воздухе Пале-Рояль сияет слишком много источников света — факелы, канделябры, гирлянды китайских фонариков. Если бы так осветить кладбище, можно было бы копать всю ночь. Нанять еще тридцать человек, одна смена спит, другая копает, на рассвете и на закате они меняются. На шахтах Валансьена так и делали: мужчины и женщины, помпы и лошади — все работали сутками. Господь знает, что ему нужно что-то придумать, изобрести какой-то новый способ, иначе придется выкапывать покойников аж до следующего столетия.

Он протискивается вперед, и его черный кафтан трется о кафтаны зеленые и красные, серебряные и золотые. Из толпы выплывают лица. Человек с сильно напудренным лицом показывает инженеру кончик языка. Две женщины, быть может, куртизанки, а быть может, и нет, живущие на первом этаже, глядят на Жан-Батиста, оторвавшись от своего развлечения — они дразнили обезьянку на серебряной цепи…

Перед кафе Корецца светловолосый молодой

человек, стоя на шатком стуле, произносит речь. О чем? Да все о том же. Сердца людей, естественные потребности, прогнозы философии, судьбы человечества, всеобъемлющая справедливость, добродетель… Не упомянул ли он Кайло? Кайло-мстителя. Невозможно ничего расслышать сквозь окружающий гул, болтовню, смех, нестройный топот ботинок потаскух и дворян, музыку полдюжины небольших оркестров, играющих во внутреннем дворе.

Он заходит в итальянское заведение и, заняв место у фарфоровой печки, заказывает коньяк. Ему кажется, что в последнее время его стали обслуживать быстрее. Из-за черного кафтана? Видно, строгое черное одеяние придает ему вид не то святоши, не то чиновника, во всяком случае, человека, обладающего некоей сомнительной властью. Или же дело в том новом, что раскрыла в нем Зигетта Моннар? Неожиданно обретенное желание прижать ключ к чьей-то глотке? Насилие вызывает уважение, уж чему-чему, а этому он научился. Возможно, оно даже входит в число тех добродетелей, о коих проповедует со стула молодой человек. Господа, стоящие в лужах крови, что доходит до пряжек на башмаках, с поклоном, красуясь друг перед другом, делают *un*

beau geste[17]. Насилие во благо. Необходимость насилия во благо. Насилие как долг. Именно это, скорее всего, и грядет.

Сунув руку в карман, чтобы расплатиться, он вытаскивает то, что нашел под кроватью у Зигетты, — атласную вещь, похожую на туфлю. Официант одаривает его особой, почти невидимой официантской ухмылкой. За порогом кафе Жан-Батист проходит мимо группы музыкантш, играющих на мандолинах, оставляет атласную вещь на подоконнике Салона номер семь и вновь погружается в темноту и нежданную тишину улиц на задах Биржи. Коньяк привел его в чувство. Он знает, что нужно делать. Дойдя до контрфорсов церкви Святого Евстафия, инженер пускается бегом.

Но, войдя в комнату, тут же испытывает разочарование, потому что Элоиза вовсе не выглядит такой несчастной, как ему мнилось. Признаться, она вообще не выглядит несчастной. Она улыбается Жан-Батисту спокойной улыбкой, поднимает книгу над головой Рагу, аккуратно свернувшегося у нее на коленях, и показывает какое-то слово в середине страницы.

---

[17] Примечания: 17
Красивый жест (*фр.*).

— Я не вижу, — говорит он.

— Но ты и не смотришь, — отвечает она.

— А ты разве не можешь мне прочесть?

— Рефракция.

— А-а, — говорит он со смехом, — это я знаю. Рефракция — значит преломление. Использование линз для изменения угла падения света.

Жан-Батист выносит кота в коридор (поставленный на пол, тот презрительно встряхивается), затем возвращается в комнату, снимает сапоги, кафтан, камзол. Они садятся рядом на кровати. Послюнив пальцы, она гасит свечу. От камина достаточно света. Они ложатся. Целуются. Сначала их губы кажутся обоим холодными, потом теплыми. Она хорошо справляется с пуговицами, что неудивительно. Он выбирается из кюлотов, прижимается лицом к ее груди, крепко обнимает. Она мягко высвобождается, поднимает сорочку, закатав ее до пояса. Когда Жан-Батист решается взглянуть, он видит, как пламя озаряет кожу ее бедер. Он чувствует, что под рубахой стал твердым, как бутылка, слишком твердым. Почти в тот же миг, как она дотрагивается до него, его сотрясают конвульсии и из горла вырывается сдавленный почти что крик — так он мог бы закричать в ту ночь, когда Зигетта Моннар раскроила ему череп

медной линейкой.

Минет неделя, прежде чем как-то раз днем, когда ни он, ни она даже не успели как следует раздеться, он наконец входит в нее. Тогда он склоняет к ней свой лоб, и их головы слегка прижимаются друг к другу. Большим пальцем она проводит по его шраму, по краю лишенной нервных окончаний кожи. С этой минуты Жан-Батист считает ее в душе своей женой.

Глава 11

На кладбище резко увеличилось количество крыс. Они стали попадаться на глаза. По мнению Гильотена, крысы покидают это место. Рабочие обзаводятся кошками. В каждой палатке есть хотя бы одна, правда, даже Лекёр, по-видимому, не знает, где горняки их раздобыли. У своих субботних подружек, наверное, у своих красоток. Иногда инженеру кажется, что среди кошачьего племени он замечает Рагу, делающего в сумерках обход территории, но на расстоянии все кошки похожи друг на друга. Ночью они устраивают грандиозные баталии. Одного кота задрали, но убито и множество крыс, чьи тела, целиком или по частям, валяются в растущей все выше траве, а бывает, специально положены на ступеньки склепов в качестве трофеев.

Начата новая общая могила — по счету четырнадцатая — неподалеку от южных галерей. Кроме того, инженер решает вскрыть первый из частных подземных склепов. Он отбирает небольшую команду — Слаббарт, Билоо, Блок и Эвербу — и ведет их к западным склепам, что под окнами домов на Рю-де-ля-Ленжери. Они начнут с семейства

Фласелей. Гробница была запечатана в 1610 году. С помощью стамески и деревянного молотка разбит застывший строительный раствор, который держит камень, и надгробие чуть подается. Затем под него подсовывается стальной лом, и рабочие напирают, пока камень не сдвигается. Вниз опускают лестницу, она едва доходит до дна. Склеп, судя по всему, имеет размеры, какие и подобают усыпальницам аристократов. Первым спускается Ян Билоо. Чем он ниже, тем хуже горит огонь. Где-то в конце лестницы пламя полностью затухает. Те, что наверху, зовут горняка, он не откликается. Тогда Жан-Батист и Ян Блок лезут за ним. Они задерживают дыхание, словно глубоководные ныряльщики. На ощупь находят тело горняка, волокут его, бесчувственного, вверх по ступенькам, пока Эвербу и Слаббарт не принимают у них тяжелую ношу. Билоо приходит в себя почти сразу же, но все трое — он, инженер и Ян Блок — несколько минут сидят, согнувшись, на траве у склепа, отплевываясь и шумно втягивая воздух.

Позже на кухне у пономаря Жан-Батист набрасывает чертежи приспособлений для дыхания — масок с фильтрами из очищенной шерсти ягнят или измельченного древесного угля. А также более сложного устройства: закрытого шлема

с трубкой для дыхания и клапаном, который позволил бы выходить наружу выдыхаемому воздуху. Инженер пытается заинтересовать Лекёра своими идеями, но мысли товарища витают где-то далеко.

— Месье Лекёр измучен, — говорит Жанна, возможно, более резко, чем ей хотелось бы. — Все измучены.

Жан-Батист кивает. Конечно, она знает об Элоизе Годар, весь квартал знает, хотя только Арман готов говорить с ним на эту тему. Инженер складывает чертеж и убирает в карман.

Лекёр сонно улыбается им обоим.

— Мы, Лекёры… — начинает он, — мы, Лекёры…

Потом пожимает плечами и, отвернувшись, вновь глядит в окно.

Глава 12

Каждое утро в прозрачных сумерках весенних зорь Жан-Батист просыпается после глубокого сна рядом с Элоизой. Иногда, пробудившись, он видит, что она на него смотрит, улыбается ему. А бывает, он проснется первым и лежит неподвижно, рассматривая милую неправильность ее черт, скрытую загадку ее сомкнутых глаз. После, когда она их откроет, ее взгляд, все еще обращенный к уходящим сновидениям, часто омрачен какой-то грустью — грустью, которую она всегда отрицает, если он спросит. Они лежат, разговаривая сухими губами о личных, несущественных вещах. Сухими губами целуются. Для него это подобно лекарству — эти утра, данные ему словно в подарок, эта щенячья теплота под одеялом, птичье пение на крыше соседа, стук второго сердца рядом. Он почти не замечает, как мало стал обращать на что-то внимание, сколь многим за пределами этой комнаты он перестал интересоваться.

Если Мари вспоминает, что жильцам надо принести поесть, Жан-Батист и Элоиза завтракают вдвоем в комнате. Если же забывает, то

Элоиза остается в постели, а он ест на кладбище с Жанной, Манетти и Лекёром. Ему всегда хочется знать, что Элоиза делала днем, пока его не было. Каждая мелочь обретает в его сознании исключительную значимость. Ему недостаточно услышать, что мадам Моннар жульничает, играя в трик-трак, он хочет узнать, как именно она это делает. С помощью костей? Или шашек? А после того, как две женщины сидели весь день у окна и вышивали, он просит, чтобы ему рассказали, что именно они вышивали и каков был узор. Розовые бутоны? Зигзаги? Павлиньи хвосты?

— О чем вы разговариваете?

— О тебе, конечно.

— Обо мне?

— Да нет, конечно. О тебе — никогда.

— О Зигетте?

— Случается.

— И о месье Моннаре?

— Бывает, и о нем тоже. О ценах на хлеб, о том, пойдет дождь или нет, о том, что лучше помогает от запоров — сенна или крушина.

— Ты снова сделала ее счастливой.

— Нет, Жан, не сделала. Ты ведь и сам знаешь, что не сделала.

Через месяц после появления Элоизы в доме на

Рю-де-ля-Ленженри, сидя в постели с чашечкой кофе, налитой из расписанного розами кофейника, она говорит, что хочет пойти в театр. Ведь он ей обещал, правда? Жан-Батист кивает. И отправляется к Арману. Арман все знает про театры.

— В Одеон, — говорит Арман. Они вместе стоят в зеленом ромбике света у креста проповедника. — Там дают пьесу Бомарше. Бомарше — из нашей партии.

— Из партии будущего?

— Конечно. Я иду с тобой. Лиза тоже. Ибо иначе ты не сообразишь, как себя вести.

— Я не против твоей компании.

— Мадемуазель Годар еще не так хорошо тебя знает. Она не изучила тебя, как я.

— Скажи-ка мне вот что, Арман. Как по-твоему, Элоиза принадлежит партии будущего?

— Элоиза? Они с Лизой будут там королевами.

— А я кем?

— Тебе дадут знать, дорогой дикарь.

— Дадут знать? Кто же?

— Обстоятельства. Зависит от того, что ты будешь делать и чего не будешь. Со временем с нами все станет ясно.

— Когда ты так говоришь, ты напоминаешь мне пастора. Пастора моей матери.

— А что он говорит?

— «В городе осталось запустение, и ворота развалились… Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю…»

Четыре дня спустя Жан-Батист и Элоиза наряжаются для похода в театр. Ничего веселее черного у инженера нет. Элоиза его дразнит. Где же тот кафтан цвета горохового супа? Фисташек, поправляет он, очищенных фисташек. Возвращен туда, где был взят. И хорошо, говорит она. Зеленый — не твой цвет.

Они переезжают на другой берег в наемном экипаже. Арман и Лиза сидят спиной к лошадям, Жан-Батист и Элоиза — лицом. Две женщины, впервые встретившись в холле у Моннаров, внимательно рассмотрели друг друга, хотя стояли словно в лесном сумраке, и, судя по всему, остались довольны произведенным впечатлением. Слава богу, думает Жан-Батист, потому что он привык целиком полагаться на суждения Лизы Саже. Оба окна в экипаже опущены. На реке играет лучами вечернее солнце. По Новому мосту, медленно двигаясь в противоположных направлениях, словно сквозь себя самое, течет толпа. Всякий раз, как экипаж приостанавливается, пе-

шеходы на секунду заглядывают внутрь. Девушка в соломенной шляпе запрыгивает на подножку и протягивает им букетики цветов. Арман уговаривает Жан-Батиста купить два самых больших и красивых. Кладбище за тысячу миль отсюда, со всеми своими могилами и кучами костей, оно уже превратилось в фантом, в отошедшую в прошлое неприятность, от которой они наконец избавились. Разве нельзя вот так ехать и ехать? Всего неделя — и они окажутся в Провансе, где жаркое южное солнце очистит их от кладбищенской скверны. Или перевалят через Альпы и доберутся до Венеции! И вчетвером поплывут в гондоле под мостом Риальто…

Экипаж останавливается у входа в театр. Обе пары присоединяются к толпе, просачивающейся внутрь между белых колонн. Жан-Батист никогда не был в Одеоне (его построили всего четыре года назад). Не был он и в Комеди-Франсез, и в других больших театрах. Последний раз он смотрел театральное представление на подмостках в Белеме — постановку, состряпанную на скорую руку, которую дважды в год привозят труппы бродячих актеров. Они приезжают шумно (с криками, с зазывными охотничьими рожками), а уезжают тихо (с украденными курами, яблоками

из чужого сада и поруганной честью кое-кого из местных девиц).

Ну а Одеон похож, скорее, на Версаль, хотя, конечно, менее театрален. Их провожает в ложу лакей в узкой ливрее цвета лаванды, который при всей своей грубости и оскорбительной невнимательности ни за что не уходит без чаевых. В ложе полно народу, и сцену видно плохо. Отхожее место позади ложи не опорожнялось, фитили свечек не подрезаны. А одно кресло, судя по всему, во время предыдущего представления лизнул огонь. Но это ровным счетом ничего не значит, ничто не может испортить им настроения. Лакея, удовлетворенного размерами чаевых, посылают за вином и…

— Что у вас есть? — спрашивает Арман.

— А чего господа желают? Апельсинов? Жареной курицы? Устриц?

— Вот именно, — говорит Арман. — Принесите.

Зал заполняется. Вокруг шум и гам. Люди окликают друг друга, приветственно машут шляпами и веерами. Некоторые женщины вопят пронзительно, точно павлины. У острых шипов перед сценой начинается потасовка.

— Там друзья автора, — со знанием дела поясняет Арман. — А там враги автора.

Появляется лавандовый кафтан. Выносят какого-то человека, машущего в воздухе руками и ногами, точно лежащий на спине жук.

— Вон министр, — тихо говорит Жан-Батист. — В ложе напротив сцены.

— Это тот, у которого лицо топором? — спрашивает Арман.

— Точно, — отвечает Жан-Батист. — Только не смотри так пристально. Я не хочу, чтобы меня вызвали объясняться.

— Ты имеешь право здесь быть точно так же, как и он, — говорит Элоиза.

— Все равно, — отвечает Жан-Батист. — Не хочу, чтобы его персона занимала сегодня мои мысли.

Они откидываются в креслах. За занавесом музыканты настраивают инструменты. Инженер не назвал им еще одного человека в министерской ложе — молодого человека в блестящем кафтане. Имя Луи Горцио Буайе-Дюбуассона им все равно ни о чем не скажет.

Сначала дают короткую бешеную пантомиму, потом следует длинный антракт и, наконец, сама пьеса. Зрители сидят при свете пятисот свечей, очарованные, беспокойные, слегка заскучавшие. Инженер, Арман, Элоиза и Лиза Саже сосут апельсины, обгладывают косточки остро

приправленной курицы и бросают их под кресла. Жан-Батисту пьеса кажется запутанной, а временами и вовсе непонятной. Кто такая эта Марселина? Почему Сюзанна не может выйти за Фигаро? И кто там прячется в туалетной комнате? Элоиза, приблизив губы к его уху, терпеливо объясняет. Он кивает. Смотрит на зрителей, на то, как они смотрят пьесу. Мертвых, без перьев и вееров, без шпаг, тростей, лент и драгоценностей, совершенно голых и сложенных слоями вроде бекона, — разве не смог бы он уместить их в одной общей могиле? Приходит такая мысль. Неприятная. Он ее прогоняет.

Приносят еще одну курицу, еще вина, миндаль, по вкусу напоминающий надушенные опилки. Захмелевший инженер наклоняется над горшком в конце ложи справить малую нужду, и его струя вливается в чью-то остывшую мочу. Вернувшись в свое кресло, он обнаруживает, что Сюзанна в конце концов все-таки выходит за Фигаро.

— Значит, они получат все, чего желали? — спрашивает он, но его вопрос теряется в шуме аплодисментов и возобновившейся стычке у сцены. Он осторожно наклоняется вперед, чтобы посмотреть, как министру понравилась пьеса. Министр стоит, а Буайе-Дюбуассон что-то шепчет

ему на ухо. Министр смеется. Буайе-Дюбуассон отступает на шаг, тоже смеясь. Под ними, словно пенистая вода, вытекающая сквозь отверстие в раковине, толкутся у выхода зрители. Министр, трясясь от хохота, кладет на грудь руку, будто хочет унять смех, и как бы невзначай кидает взгляд через плечо на ложу, из которой на него глядит Жан-Батист. Заметил ли министр инженера? Своего инженера? Да и помнит ли он его лицо? Министр все продолжает смеяться. Похоже, одна лишь смерть может положить конец такому неудержимому веселью.

Компания выходит из театра, но экипаж найти невозможно. Они бредут по маленьким улочкам, почти не думая, куда те их выведут, и вдруг (когда обеим женщинам туфли уже начинают натирать ноги) оказываются на острове Сите, съедают по миске потрохов в ночной лавочке под стенами Консьержери, нанимают ялик и плывут по черной ленте реки к причалу под Новым мостом.

Спотыкаясь, поднимаются по скользким ступенькам и на Рю-Сент-Оноре с объятиями и обещаниями повторить поход — притом в очень скором времени! — наконец расстаются.

Дома Жан-Батист зажигает свечу, и оба — он впереди, Элоиза следом — безудержно зевая, под-

нимаются наверх, к кровати. Когда они проходят мимо гостиной, распахивается дверь, и выходит Мари.

— К вам приходила девушка, — сообщает она.

— Девушка? — удивляется Жан-Батист. — Какая девушка?

— Ну, не Зигетта, — отвечает Мари, хихикнув. В пляшущих тенях от свечи ее лицо похоже на напяленную впопыхах маску.

— Будет лучше, — говорит Жан-Батист, — если месье Моннар не узнает, что ты баловалась его вином. Хотя ума не приложу, как ты ухитрилась от него опьянеть.

— Вы хороший жилец, — говорит она. И, обращаясь к Элоизе, добавляет: — До вас он всю ночь напролет говорил сам с собою. Бормотал, бормотал, бормотал. Бедную Зигетту прямо с ума свел.

Она шмыгает носом.

Элоиза, приблизившись, берет служанку за руку.

— Но что же это за девушка? — спрашивает она. — Та, что сюда приходила.

— О, я отослала ее обратно, — говорит Мари. — У него же теперь есть вы, так ведь?

— Да, — мягко соглашается Элоиза. — Да.

Он намеревался — намеревался, пока они

скользили по реке, — провести ночь или большую ее часть, усердно овладевая своей Элоизой, но, забравшись в постель, через несколько минут (он лежит на своей половине, смотрит, как Элоиза раздевается, и слушает ее рассуждения о таинственной посетительнице) Жан-Батист засыпает и впервые после нападения видит сон.

Будто он снова в театре, идет по потертой красной дорожке, положенной в коридоре за ложами. Ищет ту, где сидит министр. У него с собой рапорт, важный рапорт, который он должен вручить министру лично, но небольшие полированные двери лож не пронумерованы, а спросить не у кого. И вдруг, как это часто бывает во сне, перед ним возникает какой-то человек — долговязая фигура, прислонившаяся к стене под канделябром… *Лис*? Подкидыш Лис? Точно он. Тощая шея, обмотанная воротником из засаленной шерсти, сдержанная ухмылка на лице. Поклонившись Жан-Батисту, Лис указывает на дверь напротив, поворачивается и быстро уходит по пустому коридору. Тихо — без стука и царапанья — Жан-Батист открывает дверь и проскальзывает внутрь. Единственный свет, неяркое красноватое мерцание, идет снизу, из партера, словно там что-то горит, но его вполне достаточно, чтобы увидеть министра и

Буайе-Дюбуассона, сидящих рядом в креслах у края ложи. Неужели они не слышали, как он вошел? Так увлечены представлением? Из кармана он вынимает рапорт. Тяжелый, с заостренным концом и таковым же краем. Встает позади кресла министра, осторожно, но твердо закрывает ему ладонью глаза, чувствует, как под рукой подрагивают веки. Теперь нельзя нервничать. Нельзя колебаться. Он вырос в деревне и видел это множество раз. Вместе с братом они сидели и смотрели, как через зимние поля к их дому идет свинарь с веревками и холщовым мешком, в котором лежат ножи. Инженер делает свое дело, а министр дрыгает ногами, точно расшалившийся ребенок…

Просыпаясь, выныривая на поверхность своего сознания, словно его выбросило туда, где понять что-то еще труднее, чем во сне, Жан-Батист сразу же пытается объяснить свой поступок, найти ему оправдание. Он смотрит на свои руки, на простыни, но они идеально чистые, на удивление обычные. Элоиза трясет его за плечи. Он моргает, что-то бормочет, но она не слушает. Она пытается сказать ему что-то свое, наверное, поведать собственный сон.

— Тише, — говорит она. — Замолчи и вставай,

Жан. Надо идти. Тебя ждут.

Он садится. В дверях Мари со свечкой в руке. Она вроде бы полностью одета. Из открытой двери сквозит. С лестницы тянет холодным, застоявшимся воздухом.

Элоиза подает ему кюлоты. Он послушно их надевает. Странно, что он никак не может как следует проснуться. Он что, болен? В этом причина? Несвежая устрица в театре? Курица? Нет. Он не чувствует себя больным.

Сидя на корточках, она застегивает ему пуговицы под коленями. Сам он застегивает камзол. Его часы лежат на полу у кровати. Наклонившись, он открывает крышку.

— Полпятого утра, — произносит он, полагая, что это замечание должно вызвать хоть какое-то объяснение от окружающих, но в ответ ничего не слышит.

— Так и быть.

Он встает, проводит рукой по лицу, берет протянутую Элоизой шляпу, затем выходит вслед за Мари на лестницу. Ей он вопросов не задает. Ему прекрасно известно, что она, скорее всего, просто сочинит какую-нибудь историю.

Внизу, перед дверью в спальню, в сползшем набок ночном колпаке стоит месье Моннар.

— Будет ли в когда-нибудь покой этом доме? — хрипло, даже плаксиво спрашивает он. — Моя жена, месье, моя жена очень…

— Возвращайтесь в постель, — говорит Жан-Батист.

В темной прихожей маячит кто-то высокий и худой. Жан-Батист берет у Мари свечку и поднимает выше.

— Он ни слова не говорит по-французски, — сообщает Мари.

— Нет, говорит, — не соглашается Жан-Батист, но когда Ян Блок, захлебываясь, начинает объяснять, что он делает здесь в полпятого утра, инженер понимает его с величайшим трудом, да и то лишь призвав на помощь весь свой скудный, хоть и понемногу растущий запас фламандского языка.

На кладбище случилось несчастье. Так. Несчастье или какое-то происшествие. Пострадала Жанна. Месье Лекёр заботится о ней… или нет. Месье Лекёр *не* заботится о ней. Месье Лекёр… что сделал? Убежал?

— Хватит, — говорит Жан-Батист, ставя свечу на стол в холле и направляясь к выходу. — Я сам разберусь.

На улице висит молочный предрассветный

туман, похожий на сброшенную облаком шкуру, сырой, полный миазмов, он оседает на лицах капельками влаги. Блок уже на углу улицы. Оглядывается, молчаливо торопя инженера. «Черт меня побери, если я побегу», — говорит Жан-Батист, скорее, себе, чем Блоку. Он пытается вообразить, какой несчастный случай мог произойти с Жанной среди ночи. А Лекёр? Какого черта он скрылся? Или Блок хотел сказать, что Лекёр побежал за помощью? Возможно, искать Гильотена или Туре. Тогда в этой истории появляется какой-то смысл, хотя, думая так, Жан-Батист чувствует, что истина кроется в чем-то совсем другом.

Дверь кладбища, когда они подходят, распахнута, но внутри кладбищенских стен все выглядит вполне обыденно. У креста проповедника горит огонь, как горел все эти недели. Неизменной безумной тенью нависает церковь. Потом у южных галерей инженер замечает движение факелов, слышит рокот мужских голосов.

Блок несется туда. Жан-Батист, негромко чертыхнувшись, бежит следом. Горняки собрались на площадке между склепами и домом пономаря. Блок что-то кричит, и они замолкают. Смотрят на него, потом мимо него, на инженера. Затем

снова начинают что-то говорить, теперь громче, настойчивее. Некоторые указывают на склепы, машут, грозят кулаками. Такими он их раньше не видел. Блок куда-то исчез. Жан-Батист видит Жака Эвербу и спрашивает его, где Жанна.

— Дома, — отвечает тот.

Дома. Естественно. Где же ей еще быть? Он кивает Эвербу, дает совершенно ненужный приказ оставаться всем на своих местах и идет к дому пономаря. Сделав всего четыре или пять шагов, неожиданно, взмахнув в воздухе руками, он падает на черную траву. Встает и смотрит, что попалось ему под ноги, щупает это рукой. Мешок с известью, который оставил какой-то нерадивый глупец? Но его пальцы натыкаются на чьи-то волосы, на грубый пергамент кожи. Он отдергивает руку. Труп! Хотя, слава богу, не свежий. Одной из мумифицированных девушек? Гильотенова Шарлотта? Но почему труп *здесь*?

Еще десять шагов, и он в домике пономаря. На кухне горит лампа, а вокруг нее голубым сиянием переливается облачко тумана. Жанна — хотя не сразу понятно, что это Жанна, — лежит на кухонном столе. На ней одеяло. Веки сомкнуты. Рядом дед, который гладит ее по лбу. Пономарь издает тихий, но жуткий звук — такое мычание

вырывается из горла животного, чье потомство фермер только что увел в вонючий сарай. При звуке шагов позади себя пономарь моргает мутными глазами, оскаливает сточившиеся зубы.

— Это я, — говорит Жан-Батист. — Инженер.

Пономарь начинает жестикулировать. Пантомима, представление без слов. Слов у него больше нет. Жан-Батист подходит к столу. Четверть лица девушки занимает синяк, набухающий под левым глазом. Рот… по рту ее, наверное, били не один раз. Кулаком? Сапогом? Каким-то инструментом? Другие раны — а он уверен, что они есть, — не видны из-за одеяла. Но он только рад, что не видны.

Наклонившись, Жан-Батист шепотом зовет ее по имени. Глаз над синяком не может открыться, но открывается другой. Открывается и смотрит на него без всякого выражения. Он касается ее плеча, и все тело девушки передергивается. Он убирает руку.

— Лекёр? — спрашивает он.

Глаз говорит, что да.

— Он… на тебя напал?

Глаз подтверждает и это.

— Я привезу тебе врача, — говорит инженер. — Вызову женщин. Пошлю за Лизой.

Глаз закрывается. Жан-Батист выходит. На дворе стало явно светлее, но туман еще держится, его толстые клубки цепляются за решетки арок в склепах. Прислоненная к стене у двери дома стоит лопата в форме сердца. Он берет ее — черенок отполирован множеством рук — и идет туда, где его ждут горняки. Его встречает тот, высокий, с отрубленной фалангой пальца. Жан-Батист спрашивает, в галерее ли месье Лекёр.

— Там, — тихо говорит горняк. Потом, когда Жан-Батист уже отходит на шаг, рабочий останавливает его, дотронувшись до рукава. — У него пистолет.

— Я помню, — говорит Жан-Батист. В этот момент его так и подмывает попросить шахтера пойти вместе с ним, хочется, чтобы рядом была чья-то спокойная уверенность. Но он идет один мимо лаборатории врачей к первому открытому арочному проходу в склеп. Заходит внутрь, в неподвижный холодный воздух, останавливается и, склонив голову набок, прислушивается. Рабочие тоже перестают шуметь. И тоже прислушиваются.

Он идет вперед — без света, довольствуясь лишь редеющей тьмой, невозможно двигаться бесшумно по такой тропинке. Вокруг сплошные

руины. Осколки камней, обломки костей. Кто знает, что еще! Застать Лекёра врасплох, подкрасться к нему — дело безнадежное. Жан-Батист решает объявить себя.

– *Лекёр!*

Ответа нет, только эхо.

— Лекёр! Это Баратт!

Молчание.

Он идет дальше, полагаясь не только на глаза, но и на память. Справа виднеются арки, слегка отсвечивающие голубым на фоне пятнистого мрака галереи. Как бы то ни было, только дневной свет решит это дело. Свет сделает инженера хорошей мишенью. Но он же помешает Лекёру скрываться. А потом? Когда Жан-Батист станет хорошо виден? Есть лишь одна причина, по которой Лекёр, быть может, его не убьет — он не успеет перезарядить пистолет до появления шахтеров.

Жан-Батист смотрит назад, пересчитывает арки. Скоро он дойдет до двери, выходящей на Рю-де-ля-Ферроннери, двери, через которую выносят кости для погрузки. Не поэтому ли Лекёр убежал сюда? Чтобы незаметно пробраться к выходу. В домике пономаря наверняка был ключ. Вероятно, он прибрал его до того, как напасть на Жанну, — продумал бегство еще до совершения

преступления.

Сжав в одной руке лопату, другой Жан-Батист ощупывает стену, пальцы задерживаются на каких-то буквах, потом ощущают шершавость камня, потом безошибочно определяют выступающий край дверной петли. Он нашаривает железное кольцо, поворачивает его и тянет, снова тянет, на этот раз сильнее. Дверь заперта. Либо у Лекёра хватило хладнокровия и присутствия духа запереть ее за собой, либо он все еще здесь, на кладбище, среди склепов.

Жан-Батист собирается снова позвать Лекёра — его нервы больше не выдерживают этой игры в прятки, — как вдруг в галерее у себя за спиной он чувствует какое-то движение. Кто-то или что-то движется прямо на него, движется быстро, уверенно, безрассудно быстро. В первый момент ему в голову приходит даже не Лекёр, а существо, о котором рассказывал министр: полусобака-полуволк. Удобный момент для зверюги. Человек ночью забрался один в самое его логово. Кто бы это ни был, избежать встречи не удастся. На него надвигается сила, у которой есть цель. Жан-Батист принимается размахивать лопатой, вслепую рассекая черный воздух, и в то же мгновение слышит рев: «Осквернитель!»

Мощь нападающего чуть не сбивает его с ног. Жан-Батист отступает назад, пока его плечи не упираются в стену, затем, собравшись с силами, прижатый к камням, он три или четыре раза яростно тычет лопатой в темноту, но атака не повторяется. Он ждет, слышит, как колотится под ребрами сердце, потом крадучись, продвигается вперед, выставив лопату как пику. Под левым башмаком слышится треск раздавленного стекла. Он тянется вниз, дотрагивается до завитка проволоки, до гладкого осколка. Очки! Делает еще шаг, видит у одной из колонн ближайшей арки очертания чьей-то головы. Подходит ближе, приставляет острый край лопаты к груди человека и чувствует, как лопата начинает подниматься и опускаться.

— Кто это был?

Инженер резко оборачивается, держа свое оружие наготове.

— Кого ты ударил?

– *Лекёр*? Где ты? Я тебя не вижу.

— Пусть это тебя не беспокоит. *Я* тебя вижу прекрасно. Мои глаза давно привыкли к темноте.

— Это был настоятель.

— Кольбер?

— Да.

— Он убит?

— Нет.

— Чем ты его ударил? Что у тебя в руках?

— Лопата.

— Ха! Может, он принял тебя за меня? Хотя, возможно, и нет.

Судя по голосу, Лекёр в четырех-пяти метрах от него, не больше. Однако кажется, что он говорит откуда-то из-за стены.

— Ты надругался над Жанной, Лекёр.

— Правда?

— Ты сам знаешь.

— А ты?

— Что я?

— А ты разве над ней не надругался? Оскорбил ее жаждущее любви естество. Превратил в свою служанку. Заставил помогать тебе уничтожать ее маленький рай.

Теперь Жан-Батист понял. Лекёр наверняка сидит на ступеньках или присел на корточки на одной из лестниц, ведущих к верхним захоронениям. Хорошее место выбрал. Ему будет легко защищаться. Там темно даже средь бела дня.

— Но я ее не насиловал, — говорит инженер.

— Ну, значит, я немного хуже тебя. Браво! Тут все дело в степени, Баратт. И уверяю тебя, она не

святая. Я жил с нею в доме. Я хорошо ее узнал.

— Если рабочие до тебя доберутся…

— Рабочие? Что ты знаешь о рабочих? Ничего ты не знаешь.

— Думаю, они тебя не тронут, если я выйду с тобой.

— Станешь моим защитником? А потом что? Суд? Или меня отправят к той сумасшедшей, что раскроила тебе череп? Куда, кстати, ее отправили?

— В Дофине.

— Зачем ты вызвал меня сюда, Баратт? Неужели не мог оставить меня гнить в Валансьене? Воображаешь, что ты мне *помог*?

— Тогда давай я помогу тебе сейчас.

— Идиот! Ты и себе-то помочь не можешь. Ты только глянь — стоишь на вонючем кладбище со своей лопатой и думаешь, как подобраться ко мне поближе, чтобы ударить. Когда ты приехал на шахты, ты был нежным юношей. Скромным, как девушка. Когда я впервые тебя увидел, подумал… Я подумал: вот наконец человек, которому я могу открыть свое сердце.

— На это сейчас нет времени, Лекёр.

— Мы были друзьями.

— Я не забыл.

— Неужели в нашей дружбе не было ничего стоящего?

— Светает. Ждать больше нельзя.

— Светает! Да, светает. Скажи, она будет жить?

— Да. Я думаю, будет.

— Во мне все-таки было что-то хорошее, — убежденно говорит Лекёр. — Не давай им говорить, что не было.

Наступает молчание — напряженная тишина, точно в морской раковине, длиной в несколько секунд, — потом явственный механический звук взведенного курка. Инженер не двигается. Он ждет, четко очерченный пробуждающимся рассветом. Выстрел, когда он наконец звучит, кажется одновременно и громким, и приглушенным, как будто в одном из склепов кто-то ударил огромным каменным молотом по лежащим наверху плитам. Эхо, отраженный воздухом грохот и — тишина.

Жан-Батист делает шаг вперед.

— Лекёр? — зовет он. — Лекёр?

Но ответа не ждет.

Глава 13

Между восемью и девятью утра безжалостный ливень превращает костер у креста проповедника в груду черных дымящихся головешек, похожую на залитый водой развалившийся домик. Рабочие сидят в палатках. На завтрак у них только хлеб и больше ничего. Ничего горячего, пока позже Жан-Батист и Арман не сварят две большие бадьи кофе. Затем они добавят туда изрядное количество коньяка и поставят бадьи на мокрую траву.

Странная сонливость окутала кладбище. Никому и в голову не придет, что сегодня можно работать. Не сегодня уж точно, да и завтра тоже, пожалуй, не стоит. А послезавтра? А еще через день?

Гильотен (который, к вящему веселью коллег, нарек себя лекарем кладбища Невинных) осматривает Жанну в комнате наверху, где ее уложили на более удобную дедовскую кровать. Когда доктор спускается — тяжело и неторопливо ступая по некрашеной деревянной лестнице, — он сообщает всем, кто его ждет, что видит лишь одну непосредственную опасность, и эта опасность

кроется в сознании девушки, в болезненной реакции, которая является неизбежным следствием пережитого потрясения. Горе, ужас. Утрата девственности при таких неприятных обстоятельствах. И тому подобное. Раны, нанесенные ее телу, излечимы. Похоже, что есть перелом левой скулы, разрыв мягких тканей рта — губ, языка, десен и прочего. Синяки — обширные — на обеих руках и на теле…

— Она молодая и крепкая. У вас, мой дорогой инженер, есть все основания понять ее и посочувствовать, хотя, пожалуй, не сейчас. Должно пройти время, прежде чем она будет в состоянии вновь спокойно пребывать в обществе мужчин. Мадам Саже сможет остаться с ней?

— Она бы хотела, — говорит Арман.

— Прекрасно. Относительно того, ожидать ли нам появления потомства… будем надеяться, что нет. — Он ласково улыбается пономарю, который сидит у холодного очага и вряд ли до конца понимает, что говорит лекарь. — Нужно время, месье. Время лечит. Вы не потеряли свою Жанну.

Инженер провожает Гильотена в лабораторию. Там, на ближайшем к двери столе, лежит Лекёр.

— Я бы не сказал, что он был неприятным человеком, — говорит Гильотен, слегка присев и

внимательно рассматривая голову покойника. — Во всяком случае, ему хватило порядочности собственноручно погасить лампаду своей жизни.

— Я в нем ошибся, — говорит Жан-Батист.

— Ошиблись? Возможно. Однако человек бывает сначала одним, а потом вдруг — совсем другим. Его не отнесешь к числу безнадежных дегенератов из Сальпетриера[18]. Он был увлеченный, начитанный. Учтивый.

— Если бы меня не отвлекала работа… если бы я проводил с ним больше времени… Я хочу сказать, вне стен кладбища.

— Так вы полагаете, всему виной кладбище? Что он видел слишком много печального?

— Такое возможно, разве нет?

— Был этим отравлен?

— Ну да.

— И тогда в нем проявилась преступная слабость.

— Да.

— Он мне рассказывал, что когда-то вы вместе создали проект фантастического города. Утопию.

— Когда работали на шахтах.

---

[18] Примечания: 18
Дом для престарелых и душевнобольных в Париже.

— И как он назывался, этот ваш город?

— Валансиана.

— По названию шахт?

— Это всего лишь… игра, — говорит Жан-Батист.

— Вы были идеалисты. Мечтатели.

— Мы были молоды.

— Конечно. А умные молодые люди любят играть в такие игры. Теперь, полагаю, вы освободились от своего порока? — Доктор смотрит на Жан-Батиста, усмехается и, подойдя к другому столу, поднимает крышку гроба. — Бедная Шарлотта, — говорит он. — Эти посмертные приключения ее не украсили. Так вы говорите, что сами принесли ее назад?

— Да.

— Можно предположить, что он набросился на Жанну, когда понял, что Шарлотта ни при каких условиях не может откликнуться на его притязания. — Доктор кладет крышку на место, задумчиво по ней постукивает. — А настоятель? Есть какие-нибудь новости?

— Никаких.

— Исчез?

— Было темно, а потом вообще началась неразбериха. Мне думается, он где-то в церкви.

— Спрятался, да? А вам не очень-то хочется его разыскивать? Разве только с лопатой, чтобы было чем защищаться. Ну и утречко выдалось! Вам не позавидуешь. Однако не сомневаюсь, что министр разглядел в вас человека, на которого можно положиться в подобных обстоятельствах.

Несколько секунд оба смотрят на труп на столе. Полуоткрытые глаза придают обезображенному лицу выражение, как будто человек напряженно пытается что-то вспомнить. Затем инженер и доктор отворачиваются и отходят, словно покойник уже перешел ту грань, за которой его персона ничего более не значит.

Глава 14

На кладбище приходит Элоиза. Жан-Батист за ней не посылал, она приходит, повинуясь собственным дурным предчувствиям. Стучит в дверь. Один из рабочих — Йос Слаббарт — открывает. Хотя Элоиза часто смотрела вниз на кладбище из окон дома, она впервые оказывается внутри его стен. На миг она приостанавливается, чтобы охватить взглядом то, что ее окружает, — крест, каменные фонари, склепы, насыпи из костей, палатки, — потом Слаббарт ведет ее к домику пономаря. Услышав о том, что произошло, она кладет свою руку на руку пономаря, а затем снимает с гвоздика у лестницы Жаннин передник. Она напоминает Жан-Батисту, что выросла на постоялом дворе и что какими бы недостатками ни обладали ее родители (явно не отягощенные заботой о своем чаде), свое дело они знали хорошо и постарались обучить этому и дочь. Подоткнув юбки, Элоиза садится на корточки у холодного очага.

— Сперва огонь, — говорит она, и ее длинные пальцы быстро перебирают хворост.

Следом за Элоизой является месье Лафосс. В его

сен-жерменскую контору, едва успев собраться с мыслями, инженер отправил посыльного с письмом. Донесение, составленное за кухонным столом, по мысли Жан-Батиста, должно было стать сухим, почти формальным перечислением событий прошедшей ночи. Однако когда инженер, прежде чем запечатать депешу, перечел ее еще раз, она неожиданно показалась ему похожей на одну из тех волнующих драм, полных историй о не ведающих своей судьбы смертных и не подвластных человеческому разумению богах, которые ему довелось листать в библиотеке графа С. в дождливые дни, когда невозможно было заниматься постройкой озерного «украшения».

Он отводит Лафосса взглянуть на тело Лекёра, но, разумеется, не предлагает навестить Жанну, которая едва ли спокойно воспримет человека, похожего на вестника смерти, у своей кровати.

Выходя из лаборатории, Лафосс прикладывает носовой платок к кончику бескровного носа.

— Она будет жить? — спрашивает он.

— Жанна? Именно этот вопрос мне задал он. Лекёр.

— И что вы ответили?

— Да. Она будет жить.

— Тогда не предвижу никаких трудностей.

— Буду весьма признателен вам, если вы скажете, что мне делать.

— Мы ведь на кладбище, не так ли?

— Так.

— Сколько покойников вы выкопали из могил?

— Точно сказать не могу. Думаю, несколько тысяч.

— Значит, если вы похороните еще одного, это ни на что не повлияет. Счет все равно будет в вашу пользу.

— Похоронить его? На кладбище Невинных?

— Похороните. И его самого, и все его имущество. Уберите его имя из всех документов, записей. И больше никогда о нем не упоминайте.

— Это указание министра?

— Это указание к исполнению.

Они идут к воротам кладбища. Дождь прошел, его сменила странная теплая сырость, какая бывает при лихорадке.

— Одним ртом меньше, — говорит Лафосс. — Одним жалованьем меньше. Вы сможете кое-что с этого поиметь. Страна обанкротилась, Баратт. Министр платит за вашу работу из собственного кармана. — Лафосс оглядывает кладбище, и на его лице медленно проступает отвращение. — Как

вы это терпите? — спрашивает он.

Инженер открывает Лафоссу дверь.

— Мне кажется, у меня не было выбора.

— Не было. И все же…

— К этому привыкаешь, — говорит Жан-Батист.

В сумерках — среди облаков мелькает молодая луна — он провожает Элоизу на Рю-де-ля-Ленжери. Она готовила и убирала. Работала целый день. Он благодарит ее.

— Завтра опять приду, — говорит она. — И буду делать все, что делала Жанна. Схожу на рынок.

Жан-Батист хочет возразить — разве этого он желал для нее? Разве ему хочется, чтобы она стала хозяйкой на кладбище? Но он понимает, что не найдет никого более подходящего, на кого можно положиться.

— Я тебе заплачу, — говорит он.

— Да уж, заплатишь, — отвечает она, и оба улыбаются, глядя куда-то в сумрак. Впервые за этот день.

Они поднимаются к себе в комнату, не встретив по дороге ни Моннаров, ни Мари. Она зажигает свечу, он разводит огонь.

— Ты снова возвращаешься туда? — спрашивает она.

Он кивает.

— Я кое-что… не доделал.

— Конечно. — Она смотрит на свечу, гладит пламя рукой. — Мне страшно тебя отпускать.

— А мне, — отвечает он, — страшно, что если я не пойду сейчас, то больше уж никогда не смогу.

Глава 15

Он остановил выбор на общей могиле под номером четырнадцать. Ее только что опустошили, вычистили, землю горой навалили рядом. Могила достаточно удалена от палаток, поэтому есть надежда, что рабочие ничего не заметят. Самое подходящее место.

Кухня в домике пономаря пуста. Старик, верно, у Жанны наверху. А Лиза, скорее всего, пошла домой, к детям. Никто не будет любопытствовать, задавать лишние вопросы. Жан-Батист останавливается перед дверью архива, секунду медлит, испугавшись призрачного образа того, кто совсем недавно здесь обитал, затем решительно входит, кладет саквояж Лекёра на кровать и начинает быстро складывать в него те немногочисленные вещи, что покойный не поленился распаковать. Пару туфель с квадратными носами. Парик из конского волоса. Рубашку, наброшенную на конторку. Вязаный жилет. Две книги: «Прогулки одинокого мечтателя» Руссо и «Человек-машина» Ламетри. Пустой флакон из-под настойки Гильотена. Недорогие часы. Перевязанные ленточкой бумаги о Валансиане.

Инженер смотрит на собственные часы. Еще слишком рано для того, что ему надлежит сделать. Он вынимает «Человека-машину» из саквояжа и присаживается к кухонному столу. Эту книгу он не читал. О Ламетри осталась не слишком приятная память. Провинциал, как и Жан-Батист, негодяй и умница, умерший из-за того, что объелся паштетом. Инженер открывает книгу и умудряется прочесть почти полстраницы, прежде чем спотыкается на каком-то слове. Отводит взгляд, снова смотрит на ускользающее слово, пытается сосредоточиться. Ничего, однако, не проясняется. Жан-Батист краснеет — в последние месяцы он вновь познал стыд былых школьных времен. Но вдруг стыд уступает место ощущениям куда более насущным. Спазм скручивает кишки, где-то слева, глубоко внизу живота, в его мягких кольцах. Потом резь отпускает, но для того лишь, чтобы снова вернуться с удвоенной силой. Такой, что инженер стонет. Он сует книгу в карман, встает с лавки, выходит и бежит — неуклюже, припадая на одну ногу, словно подбитое животное, — за церковь, к выгребным ямам, завешанным прорезанной холстиной. Как глупо появиться в этом месте среди ночи без фонаря! Инженер хватается за шест, ощупывает ногою

землю, пытаясь найти дыру, одну из нескольких. Здесь? Здесь подойдет. Больше он терпеть не может. Спускает штаны (впопыхах теряет пуговицу) и освобождает кишечник от скопившихся нечистот, слышит, как жидкая масса шлепается поверх той, что уже есть в дыре. Замирает: тело как будто прислушивается к самому себе. Потом — новый спазм, почти сжигающий его изнутри. Не выпуская шеста из рук, Жан-Батист прижимает лоб к обструганной древесине, тяжело дышит и ждет очередного приступа. В нашу честь назовут площади, говорил тем утром в Валансьене Лекёр, и снег бился в окно. В честь тех, кто очистил Париж от скверны!

Теперь один из них мертв — лежит с простреленной башкой. А другой, вцепившись в шест, корчится над выгребной ямой с лужей из собственных испражнений.

Наконец он вырывает страницу из «Человека-машины», подтирается как можно тщательнее, бросает страницу, а за ней и книгу в дыру и натягивает кюлоты.

В домике пономаря он протирает руки уксусом. В очаге еле теплится огонь. Инженер ворошит угли, подкладывает полено. Ищет коньяк, но на этот раз не находит. Над его головой начинают

скрипеть половицы, однако никто не спускается. Жан-Батист вновь выходит из дома, вглядывается в окутанные темнотой палатки, возвращается на кухню, зажигает фонарь и несет его в лабораторию. Там ставит фонарь на гроб Шарлотты и, ухватившись за отвороты Лекёрова кафтана, пытается поднять труп в сидячее положение, но Лекёр, умерший уже восемнадцать часов назад, окоченел и стал несгибаем, словно глиняная курительная трубка. Отступив, Жан-Батист заставляет себя отнестись к делу как к некоей технической задаче, после чего подходит к ногам Лекёра (один чулок спустился, обнажив холодную белую лодыжку), берется за ступни и спускает их вниз, так чтобы тело само передвинулось на край стола. Более или менее получается. Лекёр поднимается, хотя теперь он больше похож не на глиняную трубку, а на свернутый ковер — тяжелый, промокший скатанный ковер. Что-то падает на землю между инженером и покойником. Пистолет? Потом надо будет за ним вернуться. В три приема он поворачивает тело к себе спиной, подхватывает его под мышки, приноравливается к ноше и шаркает, пятясь, к выходу, как вдруг слышит, что кто-то отодвигает холст, служащий дверью лаборатории.

— Ты мог бы положиться на мою помощь, — говорит Арман. — Или думаешь, я слишком впечатлительный?

— Возьми фонарь, — отвечает Жан-Батист. — И пистолет. Он на земле.

— Нам хватит лунного света, — говорит Арман, обходя инженера и беря Лекёра за ноги. — А пистолет ему там не понадобится.

Они идут молча, подносят тело боком к краю общей могилы, кладут у во́рота. Инженер возвращается в дом за саквояжем Лекёра. В кухне на своем стуле сидит Манетти.

— Я заберу кое-какие его вещи, — говорит Жан-Батист.

Пономарь с серьезным видом кивает. Но понимает ли он что-нибудь, неизвестно.

За дверью Жан-Батист снова ищет подходящую лопату.

Подойдя к могиле, он бросает саквояж на дно. Тот падает довольно тихо. Они втаскивают Лекёра в петлю, подобие люльки. Арман обматывает покойника цепью вокруг талии, отстраняется, берется за провисшую веревку, а Жан-Батист толкает петлю с телом вперед, так чтобы труп повис над ямой. Затем они начинают постепенно отпускать цепь, колесо ворота жалобно поскри-

пывает, точно механический гусь.

— Какая глубина у этой чертовой ямы? — хрипит Арман.

— Шестнадцать метров, — говорит Жан-Батист. И наконец: — Он на дне!

— Хочешь, я спущусь вниз? — спрашивает Арман.

— Я бы предпочел знать, что наверху кто-то есть. Кто-то, на кого я могу положиться.

Он бросает в яму лопату, подходит к лестнице, затем, перекинув ногу, встает на ступеньку. Арман был прав: облака рассеялись, и лунного света им вполне хватает. Хватает и темноты. Жан-Батист оглядывается на Рю-де-ля-Ленжери, на задние стены домов и окна, замечает, как в одном высоком окне — похоже, в его бывшей комнате — слева направо движется свет, словно кто-то подает сигнал. Он спускается до уступа в земляной стене, осторожно переходит на вторую лестницу и достигает дна ямы. Целую минуту разыскивает лопату (минуту, за которую все виды безумия грозят взорвать его мозг), затем идет к петле, высвобождает Лекёра и тащит его к островку лунного света в углу могилы. Там он начинает копать, лопата довольно легко входит в размякшую весеннюю землю. Для шахтеров

было бы поучительно увидеть, как он работает, как инженер и начальник в поту, без шляпы выполняет данное ему поручение.

Жан-Батист копает долго, так что даже лунный островок успевает немного сместиться в сторону. Потом отступает на шаг. Трудно разглядеть, каков результат его усилий: лунный свет слишком неверный, но инженер вдруг ясно понимает, что у него нет сил продолжать. Прислонив лопату к стене, он наклоняется, берет Лекёра, кладет у вырытой ямы и скатывает в нее. Саквояж ставит покойнику в ноги. Ни саквояж, ни тело не лежат глубоко, но этого и не требуется. Завтра вся могила будет засыпана землей с известью. Все шестнадцать метров — куда уж глубже. На секунду он склоняется над покойником и, затаив дыхание, словно втайне от самого себя, дотрагивается до его плеча. Потом поднимается, вновь берет лопату и начинает быстро закапывать труп. Сначала ноги, потом тело. И наконец лицо.

Часть четвертая

Ничто не исчезает, ничто не создается,
все лишь меняет форму.
Антуан Лавуазье

Глава 1

Они копают — копают и засыпают землей, как люди, которым не хватает изобретательности заняться чем-то иным. Общая могила под номером четырнадцать засыпана землей и известью на все шестнадцать метров. В следующей могиле, той, что находится в самом центре кладбища, кости лежат так плотно, что их можно вынимать, словно вязанки хвороста. Мертвецы больше не удивляются при встрече с нами, думает инженер, стоя на краю ямы под мелким весенним дождиком. Если раньше даже скелеты без всяких признаков плоти казались какими-то униженными, испуганными, точно этих мужчин и женщин на глазах у всех нагими вытолкали на улицу, то теперь они лежат смирно, словно невесты, в ожидании рук горняков, которые извлекут их на свет. Седьмая труба! Упокоившиеся, усопшие, они вновь собраны вместе бородатыми ангелами с глиняными трубками в зубах. Этой мысли достаточно — почти достаточно, — чтобы инженер усмехнулся. Бедные доверчивые черепа, которые воображают, что пришел конец их ожиданию во мраке!

К концу месяца закончены девятнадцать общих могил — почти половина из тех, что показала ему Жанна минувшей осенью. За двадцатую принимаются на первой неделе мая. Однажды теплым утром, когда рабочие уже ушли на глубину на восемь метров (пара черных дроздов клюет червяков из холмика, высящегося рядом с ямой), из дома выходит Жанна. Впервые после изнасилования она появляется на людях. Девушка идет под руку с Лизой Саже. Кажется, ее почти ослепил солнечный свет. Позади, в нескольких шагах от них, идет Элоиза в переднике, держа мясной нож в одной руке и заслоняясь от солнца другой. Горняки, те, что на поверхности, прерывают работу. На своем рабочем месте у насыпи из костей замирает, точно громом пораженный, Ян Блок, и Жан-Батисту впервые приходит в голову, что горняк влюблен, по-настоящему влюблен. А если учесть то, что произошло с Жанной, разве будет это плохой партией? Не потребуется никаких объяснений, он и так знает все, что надо знать. Нравится ли он ей? Или же мысль о любом мужчине, который дотронется до нее, вызывает у девушки отвращение, кажется ей невозможной? Инженер приветственно поднимает руку. Жанна вяло машет в ответ.

На улицах, в скверах, у рыночных прилавков, где люди толкутся, точно пчелы в улье, до сих пор ходят всякие слухи о случившемся в ту мартовскую ночь. Должно быть, некоторые горняки, несмотря на категорический запрет, разболтали о происшествии своим шлюхам, ибо прошла всего неделя, а о гибели Лекёра уже знали все, было известно, что Лекёра застрелили, кроме того, было известно точно, без малейших сомнений, что именно сероглазый инженер — а каков он в ярости, некоторые имели возможность убедиться однажды вечером на Рю-Сен-Дени, — спустил курок. История выглядела вполне логично. Люди же не дураки. Но вот *почему* инженер его убил, было не совсем понятно. Наверное, в той части истории, где дело касалось Жанны, горняки не стали распускать языки. Поэтому наибольшей популярностью пользовалась версия, что Жан-Батист застрелил помощника во время ссоры, возникшей из-за любовницы инженера, Австриячки. По всей видимости, помощник грубо сказал, кто она такая, и в результате заплатил за это жизнью. Конечно, убийство — дело ужасное и варварское, однако женщины квартала — чьи суждения всегда подводят итог, — не были склонны осуждать человека, убившего другого в подобной ситуа-

ции. Женщин оскорбляли повсюду совершенно безнаказанно, причем оскорбляли мужчины. Так что если кое-кто из них и поплатился жизнью за свою наглость, как этот помощник инженера, то он получил по заслугам.

Что касается Моннаров, то, хотя до них и доходили какие-то слухи и сами они наблюдали странные хождения людей с кладбища и обратно, это, по всей видимости, волновало их не так, как соседей, не так занимало их воображение, ибо слишком свежо было в памяти более раннее событие другой ночи, трагедия, куда более близкая сердцу несчастных родителей. Посему они не донимали Жан-Батиста расспросами, не интересовались, почему их разбудил среди ночи стук в дверь пришедшего с кладбища рабочего или что означал звук, похожий на треск сломанного бурей дерева, раздавшийся позже, перед самым рассветом. Лишь однажды возникла неловкость, когда во время ужина через неделю после Светлого воскресенья мадам Моннар — по-видимому, совершенно простодушно и искренне — спросила, не пожелает ли любезный месье Лекёр снова прийти к ним в гости. Жан-Батист не нашел ничего лучшего, как тупо уставиться на остатки супа на дне своей тарелки. Поэтому отвечать при-

шлось Элоизе, сообщившей хозяйке, что месье Лекёра срочно вызвали домой. Домой? Да, мадам, совершенно неожиданно. По семейным делам? По неотложным семейным делам, мадам.

В первые недели мая, когда начинают распускаться свежие листочки, бабочки пробуждаются от зимнего сна и маленькие цветочки упрямо пробиваются сквозь трещины в прокопченных стенах, Жан-Батист чувствует, что он все время чего-то ждет. Правда, не ведает, чего именно. Может, приезда сестры Лекёра? Сердитой, испуганной, озадаченной. Или неожиданного появления сурового государственного чиновника, такого, от которого не спасет даже министр. Удивительно часто инженеру приходится напоминать себе, что он не убивал Лекёра, что Лекёр застрелился сам. Такова правда. Но не должна ли она быть более убедительной, более очевидной?

Двадцать второго, двадцать третьего и двадцать четвертого мая у Жан-Батиста случается страшный приступ мигрени, самый тяжелый с тех пор, как ему раскроили череп. Он лежит в бывшей комнате Зигетты, в бывшей кровати Зигетты с тряпкой на глазах, сжимая и разжимая кулаки. На его грудь давят шестнадцать метров земли с известкой. Потом, как обычно, боль про-

ходит вместе со рвотой. Он полощет рот, делает несколько глотков воды, берет шляпу и, пошатываясь, выходит из комнаты.

В городе жара. После заката целый час, а то и дольше горячий воздух поднимается волнами от камней мостовой. На кладбище рабочим требуется добавлять в коньяк больше воды, им это необходимо. Они копают в одних рубахах. К середине утра ткань прилипает к спинам. Работа замедляется. В голубом небе над склепами резвятся стрижи и ласточки. Кажется, что всю зиму люди держались за какую-то идею, имели твердость, которую теперь забирает у них жара. Инженер ощущает это наряду со всеми и даже больше, чем все. Его томит желание все бросить, покончить с этим раз и навсегда. Чтобы не подавать виду, Жан-Батист подгоняет шахтеров, беспокойными шагами ходит взад-вперед по краю могилы, больше говорит, больше кричит. Когда кому-нибудь из рабочих не удается поднять лебедкой люльку с костями, инженер тянет веревку вместе с ним. Когда нужно установить шахтную крепь, он лезет на дно, чтобы лично руководить постройкой. Ночью он следит за погрузкой костей на каждую телегу, снует туда-сюда между улицей и кладбищем, разговаривает

с кучерами и даже с молодыми священниками, которые до сих пор в волнении поглядывают на двери церкви, опасаясь появления Кольбера, хотя никто не видел настоятеля уже много недель.

Под влиянием, как ему кажется, минутного порыва, а на самом деле скорее из желания в чем-то *признаться,* он рассказывает Элоизе, что стал забывать слова. Субботнее утро. Оба стоят на коленях в кровати, их чресла влажны, его семя блестит на ее животе. Тела их скрадывает тень от закрытых на две трети ставень.

Ему все равно трудно утаивать от нее этот недуг, да и от всех остальных тоже, трудно и утомительно, поэтому он рассказывает ей, как у него не получается прочесть страницу книги и не запнуться на каком-нибудь слове, как он до сих пор неожиданно немеет при виде самой обычной вещи. Говорит, что у него есть блокнот со списком забытых и вновь обретенных слов.

Она целует его в лоб, через голову натягивает сорочку, полностью открывает ставни и берет книгу. Ее написал какой-то англичанин с французской фамилией — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка». Держа книгу, чтобы было видно обоим, она медленно читает страницу вслух. Вторая страни-

ца достается ему, третья снова ей. Через час он спрашивает:

— Это правда?

Она смеется.

— Тебе понравилось?

Он кивает. Понравилось. Человек, заброшенный на остров. Его одиночество и изобретательность. Все очень близкое.

— За это, — говорит он, — я сколочу тебе книжный шкаф. Поставим его вон там, у стенки.

Она благодарит, а потом добавляет:

— Но не очень большой, чтобы проходил в дверь.

— В дверь?

— Мы же не всегда будем тут жить, — говорит она, — правда?

Рабочим теперь требуется больше грога, к тому же следует изыскать прибавку к их жалованью. (Надо распределить между горняками деньги, предназначавшиеся Лекёру.) Но так не пойдет. Не получится. Все равно не хватит. Да еще Гильотен предупреждает, что работать на жаре вредно, крайне вредно. Испарения, инфекция. Гнилостный воздух под жарким солнцем становится еще опаснее. Уже четверо — жильцы одной палатки — поражены лихорадкой, которая превратила

их в слабые, апатичные создания, похожие на вянущие цветы. Доктор рекомендует проводить все работы ночью, а еще лучше приостановить их до более прохладной осенней поры.

— Приостановить?!

— Разве это не самое разумное?

— Когда придет осень, — говорит Жан-Батист, — я тут останусь работать один.

— Думаете, они не вернутся?

— А вас не удивляет, что они вообще до сих пор не сбежали?

Лекарь и инженер прохаживаются вместе в конце дня, когда рабочих кормят ужином. Дойдя до западной границы кладбища, они, развернувшись, идут назад в тени от стены.

— А как насчет церкви? — спрашивает инженер.

— М-м-м?

— Можно взяться за церковь. Там прохладно.

— Начать разбирать церковь?

— Потребуются еще люди. Специалисты. Но немного.

— Она кажется исключительно крепкой, — говорит Гильотен, остановившись и глядя на поднимающийся, словно испещренная полосами скала, черный западный фасад.

— Здания — это главным образом воздух, — отвечает инженер, цитируя великого Перроне. — Воздух и пустое пространство. К тому же на свете нет ничего, что нельзя было бы разложить на составляющие. С достаточным количеством людей можно за неделю и Версальский дворец превратить в груду камней.

Чем больше инженер обдумывает эту мысль, тем сильнее убеждает себя, что она пришла к нему уже давно. Он делится своей идеей с Арманом.

— О, моя чудесная церковь! — начинает причитать Арман с широкой улыбкой на лице.

— Но это означает, что орган тоже погибнет, — говорит Жан-Батист.

— Естественно.

— Ты не против?

— Я уже говорил тебе. Той ночью, когда мы делали надписи. Нельзя обижаться на будущее, равно как и на его вестников.

— А будущее всегда прекрасно, что бы оно с собой ни несло?

— Да, — не колеблясь ни минуты, отвечает Арман.

— Я в это не верю.

— Подумай о свете.

— О свете?

— Церковь кладбища Невинных пять веков пестовала свои тени. Ты их освободишь. Впустишь в храм свет и воздух. Впустишь небо. *Это* и есть будущее!

— Это, — возражает Жан-Батист, — метафора.

— Метафора? Ты где учился?

— В Ножан-ле-Ротру.

Рассвет. Жан-Батист лежит в постели, глядит, нахмурившись, в смутное пространство над головой и пытается сообразить, как лучше снести церковь. Что именно мэтр Перроне говорил по этому поводу? Или они проходили снос зданий, когда Жан-Батист был дома, в Белеме, помогал ухаживать за отцом? Если бы церковь стояла где-нибудь на отшибе, он просто взорвал бы ее. Видит Бог, что он получил бы достаточно дымного пороха из калия, что в избытке содержится в кладбищенской почве. Но церковь, стоящая у самой середины Рю-Сен-Дени? В теории, конечно, здание можно взорвать изнутри: заложить заряд и обрушить его таким образом, чтобы осталось лишь небольшое облачко пыли над грудой камней. На практике же… он никогда не слышал, чтобы такое кому-нибудь удавалось. Пять или шесть лет назад в Риме произошел подобный слу-

чай — понадобилось быстро убрать одну старую базилику. В крипту заложили бочки с порохом, запалы, подожгли фитили и снесли с лица земли и базилику, и большую часть окрестных домов. Две сотни мужчин, женщин и детей взлетели на воздух. В Ватикане дрожали стекла. Жан-Батист не может вспомнить, что сталось с инженером. Продолжает ли он работать? Или его все-таки повесили?

Для церкви кладбища Невинных нужен более тщательный, более прозаический подход. Снять покрывающие крышу свинцовые листы и черепицу, перепилить стропила, убрать обрешетку, потом сбросить все это внутрь здания. Пусть церковь исчезает медленно, как воспоминание. Интересно, колонны цельные или собраны из отдельных камней? А фундамент? В такой близости от реки вся конструкция вполне может плавать в грязи.

Надо будет поговорить с Манетти. И с Жанной. Если он снесет церковь, та же судьба постигнет и их дом. А если будет снесен дом, то инженер, как и обещал, должен найти пономарю с внучкой новое жилье. Свинцовые листы и черепица, если их выгодно продать, должны принести средств более чем достаточно, чтобы обеспечить обоих

на долгие годы.

Как, к слову, у нее дела — у девушки, в чей дом он поселил насильника? Гильотен говорит, что левый глаз у нее стал хуже видеть, но в остальном здоровье Жанны с каждым днем все крепче. Сам же инженер, хотя уже прошло почти два месяца, старается не оставаться с ней наедине. Он помнит, как ее передернуло от его прикосновения в ту ночь, когда она лежала на кухонном столе. И он намерен ждать еще дольше, чтобы, окажись они наедине, рядом не явился бы Лекёр, вожделеющий и злобный. Но если ждать слишком долго, может возникнуть другая проблема, не замечать которую будет столь же трудно. Лиза Саже говорит, что Жанна тяжела, во всяком случае, хозяйка Армана поделилась своими опасениями с Элоизой. Полной уверенности пока нет. Нужно получить определенные подтверждения, но сама Жанна с ними не откровенничает. Впрочем, трудно себе представить, чтобы такая женщина, как Лиза Саже, ошибалась. Отразятся ли на младенце обстоятельства его зачатия? Многие уверены, что да.

Он поворачивает голову и смотрит на Элоизу, на ее слегка приподнятые волосы, лежащие на подушке. Ночью она что-то тихо бормота-

ла, произносила во сне какие-то обрывки слов обиженным, оскорбленным голосом, но сейчас, перед пробуждением, она спит спокойно, и ее дыхание не громче звука, который услышишь, если медленно, туда-сюда поводишь кончиком пальца по простыне.

Так колонны все-таки цельные или из отдельных камней? А фундамент? Может, вся конструкция плавает в грязи?

* * *

Они с Арманом идут по Рю-де-ля-Веррери, вечернее солнце греет им спину между лопатками, а впереди на мостовой колышутся их тени. С Верри на Руа-де-Сесиль, затем на Сент-Антуан, оттуда пять минут до Бастилии, где с одной из башен вяло свисает королевский флаг. Потом вниз по Рю-де-Фурси, мимо стен монастыря и снова направо на Рю-де-Жардан… Это район Сен-Поль. Даже слепой поймет: здесь живут каменщики. Арман и инженер останавливаются у открытой двери мастерской. В теплом воздухе кружится каменная пыль. После уличного света внутренность мастерской кажется черной, как чернила. Первым входит Арман и, споткнувшись о поддон, громко чертыхается. Звук молота замирает. Из

черноты появляется крупный человек в переднике и белом колпаке — посмотреть, кто пришел. Каждая складка на одежде и всё его лицо покрыты слоем каменной пыли.

— Вы кто такие будете? — спрашивает он.

— Баратт, — представляется Жан-Батист. — Инженер с кладбища Невинных. Мне нужно видеть мастера Саньяка. Я предупреждал его запиской.

— Я органист, — говорит Арман, чуть наклонив голову.

— Тоже с кладбища?

— Да.

— Ну, я Саньяк. В записке вы написали, что собираетесь снести церковь. И что вам нужны каменщики.

— Нужен мастер. И четыре-пять подмастерьев.

— А чернорабочие?

— Чернорабочие есть.

— И они не боятся высоты?

— Они шахтеры. Раньше были шахтерами.

Саньяк смеется.

— Тогда возьму несколько своих, — говорит он. — По крайней мере, до тех пор, пока у ваших не вырастут крылья.

— Как хотите.

— Слышал, за этим делом стоит сам король.

— Я получаю указания от министра, — говорит Жан-Батист.

Саньяк кивает.

— Все мы так или иначе работаем на них, верно? Хотите, я закуплю свежую древесину для лесов? У меня лучше связи, чем у вас.

— Но по хорошей цене, — быстро вставляет Арман. — У моего друга, может, и есть провинциальный акцент, но я-то парижанин и прошел школу жизни в Госпитале подкидышей.

— Сами увидите, не обману, — говорит Саньяк. — Зачем мне обижать несчастных сироток?

Один из подмастерьев, долговязый парень, покрытый пылью, как и его хозяин, ставит на улице, перед дверью, три табурета. Все трое садятся и, попивая белое вино, начинают торг.

— Я ему почти доверяю, — говорит Арман, когда они с инженером идут обратно на кладбище.

— Похоже, он знает свое ремесло, — отвечает Жан-Батист. — Но мы не станем ему платить за то, чего он не сделает.

— Смотрю, ты уже научился уму-разуму, — говорит Арман.

— Спасибо.

— Ты слышал последние новости о Жанне?

В понедельник десятого июня в полседьмого утра приходит Саньяк с четырьмя старшими подмастерьями — Пуле, Жюльеном, Буайи и Барассом. С ними еще с полдюжины чернорабочих в куртках и маленьких шапочках, у некоторых за поясом инструменты. Инженер водит мастера вокруг церкви. Они простукивают стены, проверяют почву, совещаются, снова простукивают и проверяют. Встречают пономаря и Жанну. Один из подмастерьев делает тщательную зарисовку здания. Другие разглядывают склепы, кучи костей, качают головами. Разглядывают они и шахтеров — это ободранное племя ангелов — и даже не пытаются скрыть свою неприязнь.

— Итак? — спрашивает Жан-Батист.

— Сначала построим леса здесь, вдоль южной стены, — говорит Саньяк. — Что это там?

— Лаборатория.

— Что-что?

— Ее можно убрать.

— Хорошо.

— Когда привезут доски?

— Первую партию можно получить завтра. И коли ваши люди знают, как вбивать гвозди, я скажу им, что надо делать.

Доски из свежей древесины. Простая гео-

метрическая конструкция из повторяющихся квадратов и треугольников растет вверх по церковной стене. И быстро расползается в стороны. Каждый день инженер карабкается по ней, по мере ее роста, и вскоре забирается выше склепов галерей, видит под собой Рю-де-ля-Ферроннери, Рю-де-Ломбар, вглядывается в окна на втором, третьем, а потом и четвертом этажах.

Его горняки не такие проворные, как рабочие каменщика, не перепрыгивают с балки на балку, не виснут беззаботно, держась за стойку, словно между прочим, лишь одной рукой, но и не показывают, что им страшна высота. Они таскают, связывают, заколачивают, превосходя местных силой мышц, упорством, спокойной деловитостью. Во время обеда обе группы держатся порознь. Люди каменщика едят на лесах, взяв с собой пищу, и глядят, болтая ногами, вниз, на шахтеров, а те, собравшись на своем обычном месте, нарочно не поднимают глаз вверх.

Неделю слышны крики и стук молотков, и вот наконец они добираются до церковной крыши. Жан-Батист лезет вслед за Саньяком.

— Воздух-то здесь получше будет, а? — говорит Саньяк, присев своим мощным телом на парапет, идущий по краю крыши.

— Как скажете, — говорит Жан-Батист.

Ему видно реку, крышу Лувра, четыре мельницы на Монмартре.

— Предлагаю начать вскрывать с этого водостока, — говорит каменщик, указывая подходящее место. — Посмотрим, что у нас тут.

— Прекрасно.

— Вы хотите сохранить черепицу?

— Как можно больше.

— Значит, понадобятся лебедки.

— У нас есть веревки, цепи, колеса.

Саньяк кивает.

— Для чужестранцев ваши люди хорошо работают.

— Они не все чужестранцы, — говорит Жан-Батист. — Но работают и правда хорошо.

— Все равно здесь сам черт не управится, — говорит Саньяк, пристально глядя на молодого инженера, как будто сейчас, в разреженном воздухе, видит его впервые.

Воздух в церкви как стоячая вода. Прохладный, застоявшийся. Спустившись с лесов, инженер входит внутрь вместе с Арманом и четырьмя горняками. Каменщик где-то над южным трансептом. Если стоять на полу, на потолке ничего не разглядеть, можно только представить, что

делается там, на крыше. Они вытягивают шеи, ждут, трут загривки, снова смотрят наверх. Приглушенный грохот вызывает шорох невидимых крыльев. За первым ударом следуют другие с перерывом в пару секунд.

— Это должно разбудить Кольбера, — говорит Арман.

— Если он здесь, — добавляет Жан-Батист.

— Не сомневайся. Он наверняка здесь.

— Чем же он питается?

— Воском. Литургией. Сосет палец.

Один горняк отходит в сторону, стряхивая что-то с лица.

— Пыль сыплется, — говорит Жан-Батист. — Отойдем-ка лучше.

Теперь грохот уже не такой приглушенный. Наступает временное затишье, а потом снова удары — двойные. Их местоположение определить труднее.

— Они прямо над нами? — спрашивает Арман.

— Нет-нет. Они там, с краю. Пытаются пройти между стропилами, у днища водостока.

Что-то падает на плиты. Это уже не пыль. Потом еще и еще — с каждым ударом молотка. Куски штукатурки, осколки каменной кладки. Затем в семи или восьми метрах от них валится

что-то огромное и рассыпается на мелкие части. Двойные удары переходят в тройные. Ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-ба-бам! Потом полминуты тишины. И два удара, выверенных и точных, словно бьющий обнаружил незащищенный участок на голове дракона, нечто уязвимое. Падает еще один большой кусок. Люди внизу отшатываются. В темноте, в той темноте, куда все смотрят, что-то мигает. Маленький белый глазок, маленький и такой яркий, что на него трудно смотреть.

— Пробили! — кричит Арман.

Серия ударов — и глазок увеличивается. Косой луч кружащегося, словно в водовороте, света прорезает тьму от крыши до пола и ложится не на какого-нибудь позолоченного ангела или гипсового святого, а на сапог шахтера — горняк тут же отскакивает, словно обжегшись.

Люди осторожно тянутся к этому лучу, к свету, проводят по нему руками. Еще десяток ударов — и они могут подставить под световой поток грудь, а потом и все тело. Элоиза должна это увидеть, думает инженер. Элоиза, Жанна… все должны это увидеть.

— Эй, там, внизу! — раздается крик. Это Саньяк. Его голова кажется размером с монетку.

Инженер встает в полосу света, глядит вверх.

— Мы здесь! — отзывается он. Странный получается у них разговор. Так, наверное, Адам говорил с Иеговой. — У вас все в порядке?

— Это как колоть панцирь улитки, — говорит Саньяк. («Улитки…» — повторяет эхо). — Балки насквозь прогнили. Лет через двадцать церковь сама бы рухнула!

Голова исчезает.

— Я хочу поиграть, — говорит Арман, разминая пальцы и потрескивая суставами. — Пусть двое из этих молодцов покачают для меня воздух.

— Разве сейчас время *играть*? — спрашивает Жан-Батист. И немного погодя добавляет: — Ты прав. Прав как никогда.

Спустя полчаса, пока Арман импровизирует на органе, инженер ведет всех посмотреть на свет. Элоиза сжимает его локоть. Пономарь смотрит вверх, моргает, как узник, полвека назад заключенный в потайную подземную темницу, в какой-нибудь сырой *cachot*[19], подобный тем, что, по слухам, имеются в Бастилии. Лиза облизывает губы, ее лицо раскрывается свету, словно цветок.

— Прямо философия какая-то, — негромко говорит Гильотен.

---

[19] Примечания: 19
Карцер, каменный мешок (*фр.*).

Жанна начинает беззвучно плакать. Поначалу она отказывается трогать свет. Жан-Батист — и в этот момент ему уже разрешается — берет ее за руку. Жанна больше не вздрагивает. Он поднимает руку девушки, и когда на нее падает свет, кажется, что кожа — кожа на руках их обоих — окружена легким голубоватым огнем.

В следующие дни по одной линии вдоль южной стены пробито два десятка дыр. Воздух наполняется пылью, но ночью пыль оседает или исчезает. Лучи света становятся все шире, пока некоторые не превращаются в неровную каемку, постепенно уходящую на север к Рю-о-Фэр. К концу месяца свет окутывает край нефа, полосами ложится на хоры, собирается в островки у подножия алтаря. Какое, оказывается, грязное все вокруг! Как зависела церковь от своего мрака! Скамьи — большинство из них так источены жучком, что на них страшно сесть, — сложены в груду под перекрестными балками потолка. Теперь, при свете, становится понятно, что все ценное — в денежном смысле — уже изъято, либо официально, либо каким-то иным способом. Целый час инженер с Арманом разыскивают самую знаменитую церковную реликвию — палец ноги столпника, сокрытый в железном ковчеге, но никаких следов

пальца не обнаруживается, и что-то, некоторая неестественность в движениях рыскающего по церкви Армана подсказывает Жан-Батисту: а не органист ли в самом деле украл достославную реликвию?

Арман признается, что так и было.

— Требовалось собрать средства для больницы, — объясняет он.

— И я должен этому верить? — спрашивает Жан-Батист.

Арман пожимает плечами.

Их предупреждают криком, если падает что-то большое — цепное колесо или дубовая консоль, пронзающая груды мусора, словно копье. А иногда камень или что-то еще, выбитое из своего обычного места и летящее на флаги нападающей армии по типу снарядов.

Половина горняков работает внутри сносимой церкви. В руках у них кувалды, кирки, ломы, и это как будто сообщает их работе некоторый налет сектантства. Остальные трудятся на крыше или крутят лебедки, спуская упакованную черепицу и сложенные свинцовые листы, спасенные от гибели. Жан-Батист снова начинает чувствовать себя инженером. Камень, пыль, гнилая древесина переносятся куда легче, чем черная земля

да кости. И потом, разве процесс разрушения не затягивает? Не потакает ли он нашим темным инстинктам, мальчишескому желанию швырнуть чем-нибудь тяжелым в стоящую перед тобой какую-нибудь дурацкую безответную штуковину?

Он пишет матери: «Я разрушаю церковь». Как обычно, вкладывает в конверт деньги, предлагает ей — полушутя — съездить на них в Париж посмотреть на своего сына, который с засученными рукавами и покрытым пылью лицом низвергает этого каменного слона. Может, пастор тоже захочет составить ей компанию?

Последнюю фразу он вымарывает. Вымарывает тщательно.

В одной из боковых капелл, в той, что из-за прорвавшегося в нее света в одночасье стала мирской и обыденной, он заканчивает книжный шкаф — конструкцию с пятью полками, которую он сооружает из древесины, найденной в церкви, — в основном из спинок и сидений скамеек (тех немногих, что не пошли в пищу жучкам). А сверху приделывает резную панель, взятую из запрестольной перегородки, с маленькими фигурками, вероятно, апостолов или просто обычных людей, которые вечно оказываются свидетелями чудесных или ужасных событий.

Гости на свадьбе в Кане Галилейской, сельские жители, наблюдающие прибытие солдат Ирода. Три полки Элоиза заполняет своими старыми книгами. После дня, проведенного в магазине Исбо, что вниз по реке, — оба ведут себя светски, делая вид, что забыли о прошлом, — заполняется и четвертая. Все новые книги, хорошие издания, а не те по пятнадцать су, которые разваливаются в руках.

В эти дни середины лета по городу появляются свежие надписи, намалеванные черной краской.

Рядом с церковью Девы Марии на Рю-Сент-Антуан: «Кайло съест епископа и выплюнет его кости. Кардинал — на десерт».

На набережной де л'Орлож у Консьержери (написано с лодки?):

«Месье Кайло утопит богатых в поту бедняков!»

На стене напротив Компании Обеих Индий:

«Кайло видел ваши злодейства! Скоро вам придется платить по счетам!»

На парапете моста Менял, с левой стороны, что уходит на юг:

«Лорды-кровопийцы! Месье Кайло сделает сиротами ваших детей!»

Обнаружить надписи, обнаружить их раньше

властей, которые теперь уже с бóльшим усердием уничтожают подобные выражения чувств, становится в городе своего рода состязанием. Люди обмениваются новостями об их появлении как бы невзначай, добродушно, однако в то же время с некоторым серьезным любопытством. Ибо что будет, если этот Кайло и в самом деле существует? Что, если в один прекрасный день он выполнит свои обещания?

Жан-Батист, которому о существовании надписей рассказывает Арман (неизменно отрицающий свою причастность), или доктор Гильотен, или Элоиза (не совсем забросившая свою прежнюю вольную привычку бродить по городским улицам), а как-то раз даже Мари, кивает и пожимает плечами. Какое ему до этого дело? Впрочем, инженер не может отрицать зарождающийся интерес к этому Кайло, даже иногда воображает, будто где-то, в какой-то зловонной берлоге в предместье Сент-Антуан и вправду обитает человек с мыслями, точно лезвие кинжала, палач-философ, убийца. Поднимется ли он, Жан-Батист, против такого человека? Выдаст ли его? Или сам последует за ним? Станет, как и он, беспощадным? Кровавым и беспощадным… Потом, очнувшись от фантазий, он принимается за работу. Камни,

пот, громкие приказы, летящие сквозь замусоренное пространство. Жан-Батист еще успеет поразмыслить о том, что творится в мире, к чему готовится мир. Но здесь, на кладбище Невинных, истории придется немного повременить.

Самое удачное и чрезвычайно удобное место, откуда хорошо наблюдать за работой в церкви, — это его бывшая комната в доме Моннаров. Он заходит туда в те дни, когда выдается свободное время, становится между кроватью и столом и глядит в окно. Душно. Бог знает, какая жара сейчас в каморке Мари под крышей. С кровати безжизненно свешиваются платья Зигетты, точно водоросли, которые вытащили из реки. Маленькая серебристая моль, та, что оставляет серебряное пятно, если раздавить ее между пальцев, перелетает с места на место, порхая над тканью. Рагу, судя по всему, не забывший былую дружбу, зимние ночи, когда он лежал в ногах у инженера, иногда присоединяется к нему и устраивается на каком-нибудь платье, взяв в привычку наполовину забираться внутрь, и тогда кот превращается в девушку, а девушка — в кота.

Субботним вечером в конце июля инженер с котом снова в комнате: Рагу тычется носом в муслиновые оборки, Жан-Батист, присев на край

стола, задумчиво смотрит на церковь. Приятно видеть, что здание уже поддается. Четверть крыши еще предстоит снести, на следующей неделе надо будет возвести леса с Рю-о-Фэр, и до сих пор еще не выкопан глубокий ров для исследования фундамента, но дело движется с приемлемой скоростью, более чем приемлемой, ибо даже месье Лафосс во время последнего визита не смог полностью скрыть свое одобрение, простоял целую минуту у окна в гостиной и лишь потом, обернувшись, (голосом, не лишенным сомнений) произнес, что министр, пожалуй, будет доволен, что его проект наконец-то осуществляется, как и подобает.

Только бы горняки работали с тем же усердием и дальше! Горняки, Саньяк. Да и он сам, конечно, особенно он сам. Наконец ему удалось найти для Жанны и ее деда подходящее жилье. Четыре приличные, хорошо освещенные комнаты в первом этаже дома на Рю-Обри-Буше, напротив церкви Сен-Жосс, в нескольких минутах ходьбы от рынка. Удобно для будущей матери — для матери, ибо более нет сомнений, что Жанна ждет ребенка. Она явно располнела, груди налились. Стала выглядеть моложе. Юная, застенчивая, витающая в облаках. Нельзя сказать, что несчастная. Она им

улыбается, мало говорит, кажется одновременно погубленной и спасенной — такой, наверное, когда-то виделась людям Матерь Божия. И всегда рядом с Жанной, все время ухитряясь очутиться на краю ее тени, бородатый, точно вырезанный из дерева человечек в больших сапогах — Ян Блок…

Лицо инженера расползается в зевоте. Нижней частью ладоней он трет глаза, ощущает постоянный, монотонный приказ своего тела, сердцебиение, отраженное в пульсе — это, это, это, еще это… Открыв глаза, понимает, что смотрит уже не на церковь, а на картинку на стене, гравюру с изображением венецианского моста Риальто, на его единственный высокий пролет — такой, чтобы пропускать корабли, независимо от уровня прилива, на его двадцать четыре узкие лавки со свинцовыми крышами. Картинка до сих пор висит на гвозде, в точности как в тот вечер, когда он впервые переступил порог этого дома, но прошло уже несколько месяцев, с тех пор как он ее разглядывал, с тех пор как задумывался о своих прежних честолюбивых замыслах, символом которых когда-то была эта гравюра. Мосты и дороги? Да, мосты и дороги, пересекающие Францию, соединяющие берега рек, связующие

города и деревни, словно жемчужины на нитке, и потом надежный, изумительно изогнутый мост, словно дар, положенный к стенам какого-нибудь сияющего города. И сам Жан-Батист на коне, а за ним — бригады рабочих. Люди, лошади, телеги, камни. Тучи пыли. Теперь он сможет его построить. Это вполне реально. Он не сомневается в себе, ему больше не надо, нервно напрягая волю, собирать себя по частям, чтобы вдруг в один прекрасный день не исчезнуть. Но не изменились ли его честолюбивые устремления? Не стали ли они, к примеру, менее честолюбивы? А если да, то что же пришло им на смену? Похоже, ничего героического. Ничего, чем можно похвастаться. Желание начать все сначала, только на этот раз более честно. Проверять каждую мысль в свете обретенного опыта. Стоять как можно тверже в фантастической грязи мира, жить среди нерешительности, хаоса, красоты. По возможности жить смело. Смелость ему понадобится, в этом нет сомнения. Мужество, чтобы действовать. И мужество, чтобы отказаться.

Кот безмятежно наблюдает за ним с кровати из глубины собственной тайной сути. Инженер усмехается.

— Думаешь, приятель, им удастся снова зата-

щить меня на ферму?

Потом его взгляд опять обращается к окну, к церкви, где через разбитую крышу валят клубы черного дыма. Дым поднимается, затем опускается, окутывает леса, уходит вниз до кладбищенской стены, опять поднимается, кружит в чистом воздухе, кружит, кружит, кружит и наконец устремляется на восток. Жан-Батист зовет Элоизу. Она бежит к нему через коридор.

— Они улетают! — кричит он. — Эти как их… летучие… черт! Летучие твари!

— Кто? Летучие мыши?

— Да-да. Сотни! Тысячи!

Она смотрит, куда он указывает, прищуривается, но над церковью не видно уже ничего, кроме ночной тьмы.

Глава 2

Середина августа. Рассвет в двадцать минут седьмого. Дни заметно короче. Он раздвигает ставни, рассматривает покрытые тенью дома напротив, задумывается, не глядит ли оттуда кто на него, но этого не определить. Сзади в постели шевелится Элоиза. Он спрашивает, нужна ли ей свеча, зажечь ли. Не нужна, отвечает она. Ей и так хорошо видно. Хотелось бы воды. Он находит стакан, вкладывает ей в руку, слушает, как она пьет.

На нем только та рубашка, в которой он спал. Он натягивает кюлоты, заправляет рубашку, берет чулки и садится на край кровати, чтобы их надеть. Элоиза снимает пеньюар с ширмы, куда он был повешен на ночь.

— Небо ясное, — говорит она.

— Да.

— Несколько недель не было дождя.

— Да.

— Хорошо бы прошла гроза, — говорит она, — и умыла бы улицы.

Их разговор чуть громче шепота. Он застегивает кюлоты, она удаляется за ширму. Над верхушка-

ми труб на той стороне улицы появляется тонкая золотистая полоска рассвета. Розово-золотистая, оранжево-золотистая.

— Что, если мы уедем? — спрашивает он.

— Уедем?

— Недели на две.

— А ты сможешь?

— Я бы попросил Саньяка взять все в свои руки. Ведь сейчас в основном идет его работа.

— А куда мы поедем?

— В Нормандию. В Белем. Там прохладнее. Гораздо прохладнее. И не пора ли тебе познакомиться с моей матерью?

— С твоей матерью?

— Да.

— Но вдруг здесь что-нибудь случится? — спрашивает Элоиза, выходя из-за ширмы и протирая лицо апельсиновой водой. — Что, если твои рабочие не станут слушаться Саньяка?

— Почему это они не станут его слушаться?

— Может, он им не нравится.

— Он и не должен им нравиться. Не уверен, что я сам-то им нравлюсь. К тому же мы уедем всего на две недели. Или меньше, если тебе угодно. Разве ты не хочешь познакомиться с моей матерью?

— Хочу, — говорит Элоиза. — Только немного

боюсь, вот и все. Мы с тобой живем… не как положено.

Он подходит к ней ближе. Как приятно смотреть по утрам на ее лицо!

— Моя мать добрая, — говорит он, беря ее холодные от воды пальцы.

— Добрая?

— Да.

Она начинает смеяться. Он тоже — тихим свистящим смехом, который прерывается невероятно громким чиханием, доносящимся из комнаты внизу. За первым приступом следует быстрая череда других.

— Месье Моннар, — говорит Элоиза, — заразился простудой от Мари.

— Я все думал, — говорит Жан-Батист, — Моннар… он и Мари… это возможно?

— В прошлую субботу, — рассказывает Элоиза, — я слышала очень подозрительные звуки, доносившиеся с чердака.

— Звуки?

— Как будто кто-то сек розгами ребенка.

— А теперь они вместе простудились, — добавляет Жан-Батист.

— Бедная мадам, — вздыхает Элоиза.

— Ей надо уехать в Дофине, — говорит Жан-Ба-

тист. — Не понимаю, почему она не уезжает.

— Или *та* должна вернуться сюда.

— Кто? Зигетта? Ты могла бы спать спокойно, зная, что в доме убийца?

— Она не убийца, Жан. Хотя нет, я не могла бы жить с ней в одном доме. Нам нужно найти другое жилье. К примеру, Лиза говорит, что есть хорошая квартира рядом с нею на Рю-дез-Экуфф. Ее снимают нотариус с женой, но к сентябрю они должны съехать.

— Говоришь, к примеру?

— Зато там нам бы никто не мешал, — продолжает она.

— Но соседом у нас был бы Арман.

— Это можно пережить, — говорит она. — Ты подумаешь, Жан?

— Подумаю.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Они расходятся. Продолжают одеваться. Он застегивает камзол, стоя у окна, и смотрит вниз на качающийся полотняный навес фургона, уже виденный им однажды: «Месье Гюло и сыновья. Перевозки для дворянского сословия».

Что подтолкнуло его к разговору об отъезде? Свет над колпаками дымовых труб? Неужели?

Получается, в доброй половине случаев человек вообще не знает, о чем думает, чего хочет. Однако идея покинуть Париж не столь уж несбыточная. Саньяк, скорее всего, согласится занять его место. Конечно, за разумную цену. А что до шахтеров, то с чего им возражать, если они будут получать причитающееся им жалованье? Он пытается нарисовать себе картину: он и Элоиза беззаботно гуляют по зеленой траве, по лесам, полулежат, откинувшись, в стогах сена, выслеживают форель в ручье. Получают благословение матери…

Но как бы ни хотелось, ему не так-то легко себе это представить. Гораздо проще увидеть, как он постоянно терзает себя мыслями о кладбище, а потом придумывает причину, почему необходимо срочно вернуться в Париж.

— Сегодня я куплю бычьи хвосты, — говорит Элоиза. — Мясник Самсон обещал их для меня оставить. Рабочим понравится. Я их приготовлю с луком и чесноком, с помидорами и тимьяном, добавлю побольше красного вина и, может быть, свиные ножки. Свиные ножки очень хороши для тушения. От них соус делается гораздо насыщеннее. Тебе мама никогда не готовила свиные ножки, Жан? В Нормандии едят такое блюдо? Жан… что ты делаешь?

Он перешел от окна к туалетному столику и сидит, уставившись, в голубое сияние зеркала.

— У тебя начинается мигрень? — спрашивает она, подходя и ласково обхватывая руками его голову.

— Нет, — отвечает он, — вовсе нет.

— Мне не надо было вспоминать про Зигетту.

— Она тут ни при чем.

— Но ты хмуришься.

— Я только что заметил, — говорит он, — что начинаю походить на старого Дюдо.

— Дюдо? Кто такой этот Дюдо?

Встретившись с ней в зеркале глазами, Жан-Батист усмехается.

— Один наш родственник, крестьянин, — говорит он. — Чистейшей воды крестьянин.

Воздух уже раскалился от солнца. Жара изливается на Рю-о-Фэр, изливается прямо ему в череп. В самом конце улицы он видит темные очертания прачек у итальянского фонтана, а блестящие капли воды вокруг них напоминают ему рой пчел. Он открывает дверь кладбища — она не заперта и не запиралась с той ночи, когда застрелился Лекёр. Не помогла ему запертая дверь. И уж точно она не помогла Жанне. А что касается воришек, всегда готовых стащить немного дров, то эти тем-

ные личности вообще не склонны пользоваться дверями.

На церковной крыше уже заняли свои места каменщики и чернорабочие. Хотя судя по звукам, доносящимся сверху, они скорее добродушно подшучивают друг над другом, чем по-настоящему работают. Жан-Батист оглядывает леса, парапеты, но Саньяка не видит. Наверное, он еще не пришел, и подмастерья пользуются неожиданной свободой.

Дюжина шахтеров сидит кружком у креста проповедника, их сапоги тонут в высокой траве. Одни курят трубки, другие жуют оставшийся от завтрака хлеб. Инженер желает им доброго утра и идет дальше, в домик пономаря. Кухня теперь совсем пуста, из нее убрано все, кроме самого необходимого для приготовления пищи рабочим. В бывшей комнате Лекёра стоят упакованные в ящики церковные книги, но что с ними делать, куда отправить, кому они могут понадобиться, пока неясно. Большую кровать наверху разберут завтра или послезавтра и по частям перенесут на Рю-Обри-Буше. Еду теперь будут готовить на новом месте, в западном конце кладбища. Вскоре находиться в доме станет слишком опасно. Любой упавший с церкви камень с легкостью проломит

крышу, точно пушечное ядро.

В конце стола движется какая-то тень, постепенно становясь все более явственной. Это пономарь, его серебристые волосы расчесаны и аккуратно завязаны, но ни кафтана, ни камзола на нем нет, только старая сероватая рубаха из небеленого льна, расстегнутая до середины груди. В руках он держит куриное яйцо, с которого аккуратно счищает скорлупу.

— Вы уже почти все здесь собрали, — говорит инженер.

Манетти кивает, не отрывая глаз от яйца.

— Наверное, будете скучать по дому, по чему-нибудь, к чему привыкли?

— По огороду, — говорит пономарь, — у нас больше не будет огорода.

— Огорода? Да, не будет.

Из кухонного окна Жан-Батист видит узенький полумесяц маков, выросших на месте могилы Фаселей. И уже заметны молодые стебли иван-чая у склепов западных галерей, а рядом щавель, который любят жевать рабочие.

— Это правда, — спрашивает Жан-Батист, — что когда-то здесь косили траву на сено и пасли скот?

— Правда.

— Мне Жанна рассказывала. Когда я в первый раз сюда пришел. Она запомнила все ваши истории, месье.

— Есть истории, — говорит пономарь, устремив на Жан-Батиста прямой и не совсем дружелюбный взгляд, — которые ребенку не рассказывают.

Наступившую тишину прерывает заглянувший в дверь доктор.

— Превосходное утро, — говорит он, сияя. — Желаю вам обоим здравствовать. — Потом обращается к Жан-Батисту: — Направляетесь в церковь? А где же красавица, которую вы непостижимым образом уговорили с вами жить?

— Она скоро придет, — отвечает Жан-Батист.

Снаружи, по дороге в церковь, доктор тихо произносит:

— Боюсь, рассудок начал ему изменять.

— Кому? Манетти? Мне показалось, что он в совершенно здравом уме.

— Ах, вот как!

— Как дела у Жанны? — спрашивает Жан-Батист.

— Вас интересует мое профессиональное мнение?

— Да.

— Для нее самое насущное теперь — дитя. Это важнее всего. Я вызвался быть ее акушером, когда подойдет срок. Бесплатно. Сам себя назначил кем-то вроде дядюшки.

— У вас уже есть племянница в Лионе, если не ошибаюсь?

— Да. Моя драгоценная Шарлотта.

— А что будет со второй?

— С кем?

— Со второй Шарлоттой. Что вы с нею сделали?

— Ах, с этой! Ее, бедняжку, пришлось сжечь. Она разложилась.

Они подошли к западным дверям церкви. Входить через южный трансепт теперь стало небезопасно. Жан-Батист спрашивает доктора, не хочет ли тот взять себе что-нибудь из церковного имущества.

— Раз уж вы задали этот вопрос, — отвечает Гильотен, — то в одной из капелл есть парочка небольших картин. Знаете, такие обычные картины. Подернутые дымкой пейзажи с чем-то ненавязчиво религиозным вдалеке. Если их почистить, думаю, они будут хорошо выглядеть на стене моего кабинета. Вы, насколько я понимаю, не против?

— Пожалуйста, возьмите. Иначе их поглотит огонь.

— Огонь! Мой любезный инженер, в вас есть что-то от гунна. Подумать только, сжигать искусство!

В церкви они идут друг за другом. Солнце уже поднялось за линию крыши, а там, где крыши больше нет, свет падает под углом на противоположную стену, выхватывает с ненужной четкостью канелюры колонны, скошенный край арки, каменное лицо, глядящее выпученными глазами на некое чудо, творящееся перед ним. Рабочие и подмастерья Саньяка продолжают свой птичий гомон. Какой-то предмет, промелькнув сквозь свет, падает в скопившуюся внизу тень, с жутким грохотом ударившись о груду сваленных на пол скамеек.

Северный неф все еще скрыт сводами и темен, как старые бревна. Подойдя ближе, они видят Армана и двух шахтеров, Слаббарта и Блока. Все трое, склонившись над органом, копаются в механизме. Арман выпрямляется и смотрит на Жан-Батиста. По его щекам текут слезы.

— Этот гадкий провинциал, — говорит он доктору, и его палец, нацеленный в камзол инженера, не достает до него лишь на ширину

монеты, — заставляет меня ломать мой собственный инструмент.

— О, месье, — ласково отзывается Гильотен, — месье, месье! Я уже обозвал его гунном. Но уверен, он найдет для вас что-нибудь хорошее. В качестве компенсации.

— Чем это вы заняты? — спрашивает Жан-Батист.

— Вынимаем мануалы. Если у меня останутся мануалы, я смогу репетировать.

— Регистры тебе тоже понадобятся?

— А ты разве можешь их извлечь?

— Конечно, — говорит Жан-Батист, дотрагиваясь до круглого набалдашника ближайшего регистра. Он уже выучил их названия, во всяком случае, некоторые из них: крумгорн, труба, небесный голос, регаль. — Моя воля, я сохранил бы их все.

— И что бы ты с ними делал? — спрашивает Арман, чей приступ горя, кажется, пошел на убыль. — Орган отжил свое. И свое отыграл. Пусть гибнет вместе с церковью.

— Тогда приходи сегодня вечером ко мне и поиграй нам, — приглашает Жан-Батист. — Приводи с собой Лизу. Возможно, мы уговорим и Жанну с дедом нас навестить. Вам, доктор, мы

тоже будем рады.

— Небольшой концерт? — спрашивает Арман.

— Если захотим. Уверен, Моннары будут не против.

— Моннары? — переспрашивает Арман, отдавая инженеру свою стамеску. — Нет, они уж точно будут не против. Моннары никогда не станут тебе перечить, не так ли? Между прочим, ты не думаешь, что, может, уже пора оставить их в покое? Ты и так достаточно их наказал. Послушайся Элоизу.

Полчаса в пыльной прохладе северного нефа Жан-Батист работает со Слаббартом — вывинчивает мануалы, потом принимается за обшивку вокруг регистров. Горняк умело обращается с инструментами, с ним вместе приятно работать. Но как только становится ясно, что Слаббарт вполне может закончить дело сам, Жан-Батист идет вдоль стен к западным дверям и вновь выходит наружу. Впереди, над склепами галерей, солнце заливает задние стены домов на Рю-де-ля-Ленжери, и каждое окно в них слепит ему глаза отраженным светом. Неужели он и впрямь *наказывает* Моннаров? Наказывает за то, что у них сумасшедшая дочь? Ему ни разу не приходило в голову посмотреть на это под таким углом зре-

ния. Наоборот, его поведение с хозяевами — а он относится к ним с подчеркнутой вежливостью, рассчитывает, что Зигетта будет без конца сидеть в ссылке, делает в доме все, что ему заблагорассудится, поселяет к себе Элоизу, — представлялось ему абсолютно разумным. Справедливым и разумным. Однако теперь он вдруг понимает, что ведет себя по отношению к ним примерно так же, как Лафосс ведет себя по отношению к нему, и так же, как министр ведет себя по отношению к Лафоссу. Он ни во что их не ставит. Унижает.

С крыши все так же доносятся гиканье и улюлюканье. Инженер выходит из церковной тени, прищурившись, глядит на леса и решает, что надо туда залезть и поговорить с Саньяком. Нет, сначала он поставит людей складывать кости для завтрашней отправки. После этого они смогут взяться за слом железных решеток, закрывающих склепы вверху галерей. Он уже обследовал бóльшую часть и заметил (сидя на приставной лестнице), как выветрился камень у прутьев и как проржавели сами прутья. Выдрать прутья — и кости можно просто выгрести из склепов. Задача куда менее сложная, чем носить останки в руках по узким черным ступеням к арочным проходам. Выгрести их на широкую просмоленную

парусину, связать и подтащить ко входу. Пригодился бы осел. А два осла — еще лучше. Станет ли Луи Горацио Буайе-Дюбуассон заниматься приобретением столь низменных существ? Трудно поверить, что откажется.

Жан-Батист собирает вокруг себя людей. Рабочие подходят неторопливым, спокойным шагом — закатанные рукава, расстегнутые воротники. Загорелые шеи, загорелые руки. Сейчас они больше похожи на фермеров, чем на шахтеров. Инженер начинает — как всегда, на исковерканной смеси французского и фламандского — делать распоряжения, объяснять, что он думает о верхних склепах и решетках. Краем глаза он видит, как с рынка возвращается Элоиза с двумя большими соломенными корзинами в руках. Один из шахтеров, Элей Винтер, спешит ей помочь.

— Наш ужин, — говорит инженер.

Он улыбается рабочим, затем оглядывается на церковь. За неугомонными криками вдруг следует странная тишина. Никто больше не стучит молотком, никто не пилит. Рабочие на крыше — те, кого видно с земли, — кажется, просто стоят и смотрят вниз, в нутро церкви. Рабочий день заканчивается. Со своей извечной прелестью на

землю падает свет. Шахтеры первые понимают, что что-то случилось. Их многому научили шахты Валансьена. Это несчастье, которое ощущаешь как легкую вибрацию под сапогами, как внезапно наступившую тишину. Они бегут мимо инженера, оттолкнув его, прямиком к церкви. После секундного замешательства и он торопится следом.

— Что случилось? — кричит Элоиза. — Не входи туда, Жан!

— Подожди! — кричит он ей в ответ.

— Жан-Батист!

— Подожди!

Внутри церкви шахтеры уже сгрудились между двух колонн в северной стороне нефа. Жан-Батисту приходится с силой дернуть за руку одного рабочего, толкнуть в плечо другого и возвысить голос, чтобы пробить себе дорогу. На земле в середине образовавшегося круга лежит, распластавшись, человек, а рядом на камнях отпиленная балка. Вокруг его головы уже расплывается неровная лужица крови, хотя рану не сразу заметишь. Откуда льется кровь, изо рта? Или из раны на лице? Один горняк сидит на корточках рядом с лежащим. Жан-Батист встает на колени с другой стороны.

— Слаббарт, — говорит горняк.

— Найди Гильотена, — велит Жан-Батист. — И приведи его сюда.

Горняк встает, другие расступаются, давая ему дорогу. В движениях людей все еще ощущается суетливость, хотя это всего лишь нездоровое возбуждение, вызванное трагедией. Слаббарт, несомненно, мертв. Наверное, он умер мгновенно, умер на полдороге, возможно, успев лишь взглянуть вверх, в ответ на предупреждающий крик, когда его ударила, развернув вокруг собственной оси, деревянная балка.

— Кто это? — спрашивает, протиснувшись, Арман.

— Слаббарт, — отвечает инженер, потом смотрит вверх, на лица, глядящие с края крыши.

Жан-Батист поднимается на ноги. Ткань на коленях, темная от крови, прилипает к коже. Он выходит. Он словно оглох. Видит Элоизу, но почти не слышит, что она ему говорит. Лезет на леса — приставляет лестницы, если находит, или карабкается так, по доскам, если ничего не подворачивается под руку. Забираясь все выше с безрассудной торопливостью, он замечает непривычные, крутящиеся, точно в кардановом подвесе, картинки: большая подвода повора-

чивает на Рю-Труфеваш, молодая женщина в соломенной шляпе прогуливается с женщиной постарше, открытая дверь на Рю-де-Ломбар…

Когда он добирается до верхней площадки лесов, небо словно встает на дыбы. Как будто он только что вылез из самой глубокой могилы кладбища Невинных, вылез, задыхаясь, на поверхность. Перед ним потрясенные, испуганные лица. Подпоясанные тела. А дальше, на стремянке над нефом, две физиономии, застывшие от ужаса, застывшие от страха, застывшие — как представляется инженеру — от чувства вины. Подтянувшись, Жан-Батист забирается на парапет и бежит прямо на них. Наверное, эти двое никогда не видели, чтобы человек так бежал по верху узкой стены на высоте пятидесяти метров над землей. Его глухота прошла. Он слышит, как все кричат. Словно вокруг него стоит гомон морских чаек. У тех двоих теперь вид как у слабоумных. Они отползают от него по черепице, все больше приближаясь к краю крыши, к своему падению. Потом все голоса покрывает голос Саньяка:

— Баратт! Баратт! Ты убьешь их! Черт возьми, ты убьешь их!

Вероятно, так и есть. Они свалятся. Кто-нибудь

да свалится. Свалится сам или будет сброшен. Этого он хочет? Он останавливается, оглядываясь. Саньяк неуклюже пробирается по глубокому водосточному желобу между крышей и парапетом. Каменщик поднимает руки кверху, ладонями наружу. Такой жест — примирительный, защитный — обычно адресуется человеку, чье поведение совершенно непредсказуемо.

— Это несчастный случай, — говорит Саньяк. — Никто не хотел сделать ничего дурного. Но я их примерно накажу. За неосмотрительность. Даю слово. Они получат по заслугам. — Он смотрит на инженера, смотрит внимательно, потом произносит тихим голосом: — Ради всего святого, Баратт! Один из них мой зять.

Теперь, когда все замерло, Жан-Батист чувствует, как печет солнце. Здесь, наверху, жара страшная, усиленная отражением от еще не снятой черепицы. Он не может как следует разглядеть тех, что внизу, в церкви, не может разглядеть Слаббарта. Зять и второй рабочий прижались друг к другу, как испуганные дети. Они его больше не интересуют. Внизу, далеко на освещенной солнцем земле, стоят Элоиза и Жанна — две легкие фигурки на траве у креста проповедника. Он кивает им и проводит по воз-

духу рукой, как будто машет, потом начинает спускаться по желобу.

* * *

Внизу, у лесов, его ждет женщина, и первое, что она делает, это наносит ему удар в плечо, неумело, по-женски, внутренней частью кулака, ничего при этом не говоря. Потом она уходит, плотно прижав к груди руки. Инженер возвращается в церковь. Пришел Гильотен. Слаббарта перевернули на спину. Рана — сочащийся разрез, длиной с безымянный палец взрослого человека, — находится почти на том же месте, куда Жан-Батиста ударила Зигетта медной линейкой. Но дерево прошло дальше, чем медь, задев не только кость, но и нежную ткань под ней, пронзив ее. Гильотен старается не испачкать в крови носки своих туфель. Он глядит на Жан-Батиста и едва заметно пожимает плечами.

— Возьмите одеяло, — говорит инженер стоящим рядом шахтерам. — Заверните тело и отнесите в ту дальнюю капеллу. — Он показывает в северо-западный угол, за органом, потом делает шаг, как будто снова собираясь наклониться или опуститься на колени у тела, но чьи-то руки останавливают его, поворачивают, подталкивают

и выводят из круга горняков. За ним с той же почтительной настойчивостью выводят и Гильотена. Затем Армана. Потом круг смыкается.

Выдворенные — те, кто еще совсем недавно были начальниками, — смущенно и молчаливо стоят за спинами шахтеров, потом вместе выходят из церкви навстречу яркому утреннему свету.

— Они верующие? — спрашивает Гильотен.

Жан-Батист качает головой. Во рту у него сухо, как в печке, а сердце все еще не унялось после карабканья по лесам.

— На шахтах была церковь, но никто из них туда даже не заглядывал. Управляющие считали, что они ни во что не верят.

— На свете нет человека, который не верил бы хоть во что-нибудь, — говорит Гильотен.

— Мне надо выпить, — признается Арман.

— С удовольствием к вам присоединюсь, — откликается Гильотен. — И вам, мой дорогой инженер, необходимо пропустить рюмочку. А лучше две или три.

— Если я расскажу Лафоссу, — говорит Жан-Батист, — он прикажет похоронить его здесь.

— Как нашего старого друга, — тихо добавляет Арман.

— Ах, это вы о месье Лекёре? — спрашивает Гильотен, поглядывая на них поверх своего крючковатого носа. — Я как раз думал, не на кладбище ли его похоронили. Жанна знает?

Инженер качает головой, потом смотрит на крышу церкви. Что они там делают? Сидят? Разговаривают? Ждут?

— Покойника можно похоронить на кладбище в Кламаре, — предлагает Гильотен. — Туда теперь отправляют тех, кого должны были хоронить на кладбище Невинных. Вполне приличное место. Или есть еще протестантский погост в Шарантоне. Если он больше подходит.

— Я спрошу, — говорит Жан-Батист. — И сделаю, как они решат.

— Я плакал по своему органу, — говорит Арман, — а сейчас у меня ни слезинки. Не понимаю, что я за человек такой.

— Нельзя оплакивать нечто абстрактное, — отвечает доктор. — Кем Слаббарт был для вас? Для любого из нас? А вот и наши женщины. — Доктор потирает руки и улыбается приближающимся Жанне, Элоизе и Лизе Саже. — Женщины всегда знают, что делать, — говорит он. — У них *чутье*.

Чутье подсказывает женщинам — по крайней мере, Лизе Саже, — что нужно готовить обед.

Тушить бычьи хвосты. У них есть двадцать буханок хлеба, в меру черствых, чтобы макать их в подливку. Вино, охлажденное в склепах галерей.

К часу дня, когда Лиза бьет поварешкой по кастрюле, Саньяк убирает своих рабочих — незаметно выводит их с кладбища через дверь на Рю-де-ля-Ферроннери. Из церкви довольно мирно друг за другом выходят горняки. Ничто в их поведении, в голосах, которыми они переговариваются, не свидетельствует ни о чем предосудительном. Они берут свои оловянные миски, ложки, встают в очередь у кухонной пристройки. Потом несут еду к кресту проповедника, садятся и принимаются за обед.

— Прости меня, Жан, — говорит Элоиза Жан-Батисту. Они стоят вдвоем поодаль, в тени домика пономаря. — Но ты меня ужасно напугал. По-моему, даже Рагу не смог бы бегать на такой высоте.

— Значит, и ты меня прости, — отвечает он. — Но потерять человека таким образом…

— Это был несчастный случай?

— Другое мы не докажем.

— Что ты собираешься с ним делать?

— Со Слаббартом? На ночь оставлю в церкви, но завтра придется принимать какое-то решение. На этой жаре…

— У него была семья? Может, жена? Дети?
— Не знаю. Спрошу.
— Им можно дать денег.
— Денег!
— Деньги будут не лишние, Жан. Все равно ничего другого ты им дать не сможешь.

Долгий летний день. Над кладбищем, как и над всем кварталом, царит безмолвие. Небо высокое и бледное, на нем лишь несколько перышек облачков. Позже солнце начинает скользить в сторону Рю-де-ля-Ленжери, и как только оно прячется за края крыш, незаметно подступает освежающая прохлада. Выходит луна, жирная и оранжевая. С каменоломни возвращаются телеги. Шахтеры, проведшие большую часть дня у входов в свои палатки, принимаются за дело без обид и скрытых жалоб, правда, Жан-Батист все же останавливает работу, как только решает, что костей погружено достаточно, чтобы ответственный за работы во Вратах ада не ворчал, называя погрузчиков с кладбища лентяями. Священники выстраиваются вереницей и пускаются в путь. Края сутан белеют от пыли. Песнопения нестройные, вялые. Будь их воля, они вышвырнули бы все эти кости в Сену. Август в Париже не способствует благочестию.

На часах уже почти одиннадцать, когда Элоиза, Арман, Лиза Саже и Жан-Батист уходят с кладбища. Гильотен удалился давно, а Жанну с дедом приглашать не стали: слишком поздно, да и не до концерта сейчас, не до веселья. Арман предлагает пойти в Пале-Рояль, найти какое-нибудь укромное местечко и напиться до бесчувствия. Элоиза против. Пале-Рояль с его бесконечными развлечениями будет их только стеснять. Выпить можно и дома. Моннары, скорее всего, уже отошли ко сну, на кухне есть коньяк — и бутылка бренди наверху, в комнате. А еще, разумеется, вино месье Моннара. Неужели этого недостаточно?

Они идут домой. В прихожей воздух душный, как войлок. А во всем доме темно и тихо. Моннары действительно уже легли. И Мари тоже, хотя, кажется, коньяк она прихватила с собой в постель — может, чтобы подлечить простуду. Элоиза приносит бренди. В гостиной Арман до половины наполняет вином четыре рюмки, потом до самых краев доливает бренди.

— Так будет больше похоже на вино, — говорит он. — Помянем Слаббарта.

Они поднимают рюмки, пьют.

— Какое у него было имя? — спрашивает Элоиза.

— Йос, — отвечает Жан-Батист.

— Йос, — тихо повторяет Элоиза.

— Сыграй нам, Арман, — просит Лиза Саже.

Арман трясет головой.

— Музыка только добавит лишних эмоций. Нам и без того хватает тех, что есть.

— Все равно сыграй, — настаивает она, дотрагиваясь до его руки и гладя рыжие волоски на его пальцах.

Арман пожимает плечами, садится за фортепьяно, перебирает ноты на пюпитре — пьески, которым пытался обучить Зигетту Моннар сеньор Банколари, — потом кидает ноты на пол и начинает играть по памяти.

— Инструмент уже расстроился, — говорит он. — Все звучит по крайней мере на полтона ниже.

— Но как прекрасно! — говорит Элоиза. — Пожалуйста, продолжай.

Жан-Батист прошел через комнату к окну и стоит там, сложив руки на груди и глядя на улицу. Поскольку в комнате всего две свечи и обе стоят на фортепьяно, ему нетрудно разглядеть, что творится там, за окном. Луна высоко, почти прямо у него над головой, она стала меньше и утратила оранжевый цвет. Арман играет несколько минут

какую-то пьесу, в которой красоты на самую малость больше, чем печали, — но только на самую малость.

Когда музыка стихает, Жан-Батист говорит:

— Они пошли в церковь.

— Шахтеры? — спрашивает Элоиза.

— Да.

— Ночное бдение над усопшим, — предполагает Арман.

— Забудьте о них хоть ненадолго, — просит Лиза. — Пусть делают, что считают нужным.

Кивнув, Жан-Батист присоединяется к остальным у фортепьяно.

Арман начинает играть какую-то новую, более жизнерадостную вещь.

— Помните пьесу, которую мы смотрели? — спрашивает он. — Про слуг и господ. Это ведь опера.

Он играет увертюру, две или три арии. Как он и предупреждал, возникают новые эмоции. Атмосфера меняется, становясь — при пробужденных выпивкой беспокойстве и меланхолии — почти веселой. Когда он умолкает, женщины аплодируют. Арман кланяется.

— Они все еще там, — говорит Жан-Батист, который во время исполнения последней арии

не удержался и потихоньку вновь подошел к окну. — Там у них свет. Огонь.

Поднявшись с табурета, Арман подходит к нему и становится рядом, у ставней.

— Ну, в темноте-то им делать нечего, — говорит он.

— Что ты о них знаешь? — тихо произносит Жан-Батист.

— О шахтерах?

— Да.

— Не больше и не меньше твоего. Они загадочные, как угри.

— Мне надо взглянуть, — говорит Жан-Батист.

— Взглянуть? Взглянуть на что?

— Он хочет посмотреть, что они делают, — подает голос Элоиза. — Ты беспокоишься, Жан?

— Но что плохого они могут сделать? — удивляется Лиза. — В полуразрушенной церкви среди ночи.

— Понятия не имею, — отвечает Жан-Батист, беря со стола шляпу. — Я ненадолго.

— Сходи с ним, — говорит Лиза Арману.

— Как прикажешь, моя голубка, — отвечает Арман, закатывая глаза. Шляпы у него нет. Он выходит из комнаты вслед за инженером. Женщины переглядываются.

— Кто мы теперь такие? — спрашивает Арман, когда они останавливаются в тени кладбищенской двери. — Шпионы?

— Тише, — говорит Жан-Батист. — Тише.

Они идут к церкви по траве. В окнах над западным входом мелькают всполохи света. У креста проповедника инженер и органист снова приостанавливаются, вглядываясь и прислушиваясь. Те голоса, что им слышны, — неужели они доносятся сквозь балки с крыши?

— Если уж собрались входить, — шепчет Арман, — то давай, ради бога, войдем!

Западная дверь, открытая настежь весь день, теперь притворена. Жан-Батист поднимает щеколду, толкает деревянную дверь. Входит. Через четыре шага перед ними вторая дверь с кусочками рваной кожи на петлях. Она открывается довольно тихо, но сразу же возникает ощущение — уверенность, что все, что двигалось в церкви, сразу же замерло. Дюжина огней отмечает те места в нефе, где вокруг груды скамеек собрались шахтеры. Первый человек, которого узнает Жан-Батист, — это Жак Эвербу. Позади него — кто? — Рав? Слева от него Дагуа, Жори, Агаст. Никто не двигается. Все смотрят, напряженно смотрят на вновь прибывших.

— Чувствуешь запах? — шепчет Арман.

— Чего?

— Спиртного. Он повсюду.

— Это этанол, — говорит Жан-Батист и указывает головой на две большие плетеные бутыли. Они распечатаны и поставлены рядом со скамьями.

Какое-то движение… Вперед выходит человек, неспешно появившись из-за спин остальных. Он одет во все белое — белая рубашка, белые штаны, белый платок на шее. Приближается на расстояние, подходящее для переговоров. Его тень, падающая вперед от факела в руках горняка, стоящего у него за спиной, ложится на каменный пол к ногам инженера. Это шахтер с отрубленной фалангой. Тот, с лиловыми глазами. Единственный, которого не знал Лекёр. Хоорнведер? Ламсен? Как бы его ни звали, ясно одно: он здесь главный.

— Мы не собирались, — начинает Жан-Батист, с трудом найдя в себе силы заговорить, — вас беспокоить. Мы увидели огни. И я был…

— Это Слаббарт? — спрашивает Арман, указывая на спеленутую фигуру, лежащую на скамье, поставленной поверх всей груды.

Шахтер в белом кивает.

— Наш брат был сегодня убит, — говорит он. — Ночью мы с ним простимся.

— Проститесь? — переспрашивает Жан-Батист. — Куда вы его денете?

— Он там, где ему до́лжно быть, — отвечает шахтер. — Мы простимся с ним здесь. — Он смотрит на инженера и терпеливо ждет, пока до того дойдет смысл его слов, пока он сложит все детали картины — ночь, этанол, спеленутый труп.

— Вы что, хотите его сжечь? Здесь?

— Его убило здесь, — говорит шахтер. — Нашего брата. Мы приняли решение.

— Но если вы сожжете его здесь, сгорит и церковь! Не исключено, что и весь квартал!

— Сгорит только церковь, — говорит шахтер. — Дальше мы огонь не пустим.

— Но если церковь загорится, никто уже не сможет ничего сделать…

— Мы знаем, что и как горит, — отвечает шахтер. — В этих делах мы хорошо разбираемся.

— А как же Жанна с дедом?

— Я их выведу, — раздается другой голос — голос, который инженер сразу же узнает. Ян Блок.

— Послушайте, — говорит Жан-Батист, лихорадочно подыскивая более подходящую интонацию, чем просто крайнее изумление. — Ваш брат сегодня погиб. И я приношу вам соболезнования. Искренние соболезнования. Каменщик пообещал

мне, что те, из-за чьей беспечности произошел несчастный случай, будут наказаны. Он дал мне слово. Возможно, будет даже… некоторая компенсация.

— Что делать каменщику, — говорит шахтер, — решать только ему. Нас это не касается.

— Но зачем? Зачем идти на такой риск?

— Вам ведь тоже приходится рисковать. Вы рисковали в ту ночь, когда пошли в галерею за месье Лекёром, разве не так? А теперь вы явились сюда — тоже риск.

— Пусть сжигают, — взволнованно шепчет Арман. — Ты тут больше не начальник. Они не станут тебя слушать. Все кончено.

Отвернувшись от них, шахтер уже отдает приказы. На своем языке. Голос звучит ровно. Из капеллы, где хранятся бутыли, приносят еще этанола. Печати ломают и поливают жидкостью дерево. Наконец двое шахтеров забираются на груду скамеек и выливают оставшиеся полбутыли этанола на спеленутое тело. Когда они спускаются, шахтер в белом делает всем знак отойти. Произносит то ли молитву, то ли какие-то ритуальные прощальные слова, затем берет факел у стоящего рядом рабочего, делает шаг к скамьям, останавливается, смотрит на инженера

и, взяв второй факел, подходит к нему.

— Вместе, — говорит он.

— Что?

— Вместе.

— Сожжем церковь? Мне в этом участвовать?

— Бери чертов факел, — говорит Арман. По его движениям похоже, что он готов — и даже хочет — взять его сам. — Бери, пока нас не уложили рядом с беднягой Саббартом.

Оказывается, это не так трудно сделать. Жан-Батист смотрит в глаза шахтеру, в их холодную лиловую глубину, но не видит там ни угрозы, ни опасности. Но что же тогда он видит? Здравомыслие? Философию? Сумасшествие? Или себя, свои собственные глаза, собственный отраженный взгляд? Он протягивает руку. В тот момент, когда он берет факел, когда его пальцы сжимаются на рукоятке факела, все действо принимает характер какого-то обряда, заранее отрепетированного и разворачивающегося по своим непреложным правилам. Вместе они подходят к погребальному костру, останавливаются перед кучей досок, в шесть или семь раз выше человеческого роста. Первым бросает шахтер. Его факел падает на две трети высоты костра. Жан-Батист после недолгого последнего колебания бросает свой — он

падает чуть ниже. Некоторое время оба факела едва горят, и кажется, что они вот-вот потухнут, но ночной ветерок, влетевший сквозь крышу, оживляет огонь, и с концов факелов начинают подниматься голубые язычки пламени, они бегут все выше, собираются вокруг одеяла Саббарта, потом, следуя по струйкам этанола, опять спускаются вниз на каменный пол, к бутылям, которые немедленно наполняются волнующимся голубым сиянием.

«Что я наделал? — думает Жан-Батист. — *Что я наделал?*» И все-таки ему хочется смеяться, ему чудится, что он поджег не только эту ненавистную церковь, но и все, что угнетало его в жизни, — явно или не слишком. Лафосс, министр, насмехающийся граф С. Родной отец. Собственная слабость и неуверенность…

Они стоят и смотрят. Дерево, хорошо просушенное на летнем солнце в течение нескольких недель, потрескивая, начинает разгораться. Иногда кажется, что горит сам воздух. Потом раздается небольшой взрыв — одной из бутылей? — и шахтеры начинают уходить, выбираются из здания быстро и тихо. Пока нет никакой паники. Но скоро начнется.

Арман хватает за руку Жан-Батиста, вырвав его

из оцепенения.

— Кольбер, — говорит он.

— Кольбер? Но мы даже не знаем, здесь ли он!

— Есть еще помещения за алтарем.

Они обходят горящие скамьи, перепрыгивают язычки пламени, дрожащие на струйках этанола, минуют хоры и алтарь. Направо видны две двери. За первой — тьма, они быстро обследуют маленькую комнатку. Вторая заперта. Они стучат, зовут настоятеля по имени, пытаются выбить дверь плечом, потом ногами.

— Возьми это! — кричит Арман, скидывая деревянную статую, одну из тех, что за ненадобностью никому не пришло в голову украсть, — неумело вырезанную фигуру Жанны д'Арк, святую в деревянных доспехах, которая держит перед собой крест, словно букет. Со второй попытки дверь поддается. При третьей распахивается.

— Он наверняка здесь, — говорит Арман, с отвращением отшатываясь. — Воняет, как в лисьей норе.

Им помогает зарево пожара — его свет и собственные руки, которыми они шарят вокруг. В конце комнаты еще одна дверь, тоже запертая. Она ведет на улицу. Настоятеля находит Жан-Батист, распознает его в неясном белом пятне

— кто-то свернулся на кровати у стены. Кожа липкая — потная от лихорадки или от голода, — но человек еще жив. Вдвоем они берут его и несут, точно мешок с овсом. Уже выйдя из комнаты, обнаруживают, что Кольбер совершенно голый. У настоятеля начинают подрагивать веки, потом глаза широко открываются. Выражение лица такое, словно его разбудили дьяволы и тащат несчастного в печь.

Еще один взрыв. Скамьи и балки погребального костра корежатся в пламени. Сам Слаббарт не виден за стеной огня, языки которого рвутся все выше и выше к небу. Занялись хоры, пламя прокладывает себе путь по узким деревянным аркам. Дважды, держа болтающегося между ними настоятеля, Арману и Жан-Батисту приходится перепрыгивать через широкие полосы извивающегося огня. Боже, спаси и помилуй, а вдруг шахтеры заперли двери? Но двери открыты — путь свободен. Выбравшись наружу, они плетутся, спотыкаясь, к палаткам. Там никого. Они опускают Кольбера на траву, вытирают о траву руки и выкашливают из глоток дым. Поднята ли тревога? Пламя хорошо видно через западное окно, а теперь уже должно быть столь же заметно и через окна, выходящие на Рю-Сен-Дени.

Жан-Батист ищет взглядом шахтера в белой одежде, но первым ему попадается на глаза Блок — Ян Блок, который торопится увести Жанну и Манетти подальше от домика пономаря. Инженер бежит к ним, вынимая из кармана ключ от своего дома. Сует его Яну Блоку.

— Отведи их на Рю-де-ля-Ленжери. Скажи тем, кто там, чтобы нас ждали. И сам жди. Если огонь подберется слишком близко, веди всех к реке. Понял?

Блок кивает.

— Вы тоже должны идти! — говорит Жанна.

— Я скоро буду, — отвечает Жан-Батист. — Идите!

Она протягивает ему руку. На секунду он сжимает ее пальцы.

— Прости меня, — бормочет он, но не уверен, что она его слышит.

Жан-Батист смотрит, как они уходят — шахтер, старик и беременная девочка, смотрит на их удаляющиеся спины, на их хрупкие фигуры, которые становятся все меньше и меньше. Это похоже, думает он, на начало и конец какой-нибудь истории.

Сколько времени прошло с тех пор, как они бросили факелы? Десять минут? Полчаса? Огонь

издает какой-то сверхъестественный гул, стонет, ворчит, шипит. Что питает его в полуразрушенной церкви? Какие горючие испарения скопились в подземных склепах и только ждали искры? Флогистон! Скрытый огонь каждой вещи разбужен и выпущен на свободу! В западном окне начинают лопаться алмазные стекла. Сначала идут отдельные щелчки, потом целые серии, похожие на выстрелы.

И наконец набат! Настойчивые, неравномерные удары. С колокольни Сен-Жосс? Сен-Мерри? Инженер бежит к выходу на Рю-о-Фэр, потом на улицу. Там уже собралось множество людей, которым не нужен предупреждающий звон колокола. Зеваки толкутся в ночном белье — кто-то кричит, кто-то молча щурится, глядя на церковь, кто-то явно веселится, будто пришел на карнавал. Инженер движется вместе с толпой, покачиваясь на ее волнах. Было бы неплохо, если бы он был чуть выше ростом, однако ему все равно видно шахтера в белой одежде: тот стоит на краю итальянского фонтана, одной рукой держась за голову каменного тритона, другой указывая куда-то, направляя своих товарищей, своих братьев. Время от времени они поглядывают на него — точно музыканты на капельмейстера, — но,

похоже, давно знают, что именно им следует делать. Они оттесняют назад толпу, отводят ее от стен, ставят оцепление. У некоторых в руках специальные орудия, самодельные крюки, чтобы разбрасывать горящие обломки. В подготовке людей нет ничего случайного. Строгая дисциплина. *Мы знаем, что и как горит*, говорил шахтер. *В этих делах мы хорошо разбираемся*. Так это первая, вторая или третья церковь, которую они предали огню? А что еще? Фабрику? Замок?

Из подожженной снизу церкви дым валит через крышу грязно-оранжевыми клубами. Инженер следит за его движением вверх, видит, как, поднимаясь, он отклоняется к западу… Восточный ветер! Не очень сильный, но, возможно, все же достаточно сильный. Будь ветер с запада — пламя с легкостью перепрыгнуло бы на Рю-Сен-Дени. Ну, а сейчас — если ветер не переменится, — на пути огня одно лишь кладбище. Кладбище и склепы галерей. И конечно, Рю-де-ля-Ленжери, хотя едва ли огонь туда доберется. А вдруг доберется? Можно ли надеяться, что Блок выполнит все, что требуется? Инженер больше рассчитывает на Элоизу и Лизу: трудно даже представить, с каким бедствием этим двум женщинам справиться не под силу.

Он оглядывается в поисках Армана, но человек, стоящий рядом с ним в толпе, вовсе не Арман. Человек этот указывает в небо, где искры размером с диких голубей сквозь черепицу взмывают вверх. Но эти искры *и есть* голуби — голубки, голуби или какие-то другие ослепшие создания, которые до сих пор прятались у себя под крышей, а теперь, обезумевшие и горящие, делают жалкие попытки спастись.

— Человечьи души! — кричит человек. — Человечьи души! — и в исступлении хватает за рукав Жан-Батиста.

Инженер кое-как вырывается, протискивается вперед, заставляет расступиться двух шахтеров (Рава и Рапа, для которых, вероятно, он еще не совсем перестал быть начальником, еще сохранил авторитет). Он мчится прямо в ведущую на кладбище дверь. Зовет Армана, бежит, снова зовет охрипшим голосом и наконец слышит ответный крик откуда-то со стороны домика пономаря. Домик, судя по всему, тоже подожгли. Черепица уже темнеет, и в одном из окон дрожит зарево пожара. Вот уже и Арман несется к нему. Рыжие волосы светятся в темноте. В руках трофей. Сверкающая зеленая бутылка.

— Я знал, что одна там осталась, — говорит

он, останавливаясь, чтобы выкашлять дым из легких. — Правда, искать пришлось долго…

Он вытаскивает пробку и не отрываясь — с наслаждением — пьет из горлышка.

— За партию будущего! — провозглашает он.

Вытирает губы и передает бутылку инженеру. Жан-Батист берет, пьет, а потом горлышком бутылки указывает куда-то за спину Армана.

— Трава горит, — произносит он.

И это правда. Сотни горящих кончиков травы видны между церковью и крестом проповедника, и каждый кончик — нежнейший цветок, расцветающий лишь на секунду-другую. Какая неожиданная красота! Невозможно оторвать глаз.

У них за спиной в тени огня принимается выть голый, как червь, старый настоятель.

Глава 3

Человек — не молодой и не старый — сидит в приемной одного из крыльев Версальского дворца. Если не считать отражения его собственной черной фигуры в зеленоватой дымке зеркал, он один. На этот раз напротив него в узком кресле уже нет элегантного незнакомца. Но снова октябрь, и в этом одном достаточно сходства.

В конце приемной — закрытая дверь министерского кабинета (и в этом тоже сходство). Через некоторое время, если желтоглазый слуга до тех пор не выйдет, чтобы впустить человека, он подойдет сам и постучит или же поскребется в дверь, а потом вручит свой отчет — тридцать аккуратных, перевязанных ленточкой страниц, которые лежат у него на коленях, с подробным описанием — при изрядном количестве необходимых опущений — того, как было уничтожено кладбище Невинных вместе с кладбищенской церковью.

Сидящий поглаживает обложку отчета краем ладони, стряхивая какую-то воображаемую соринку — вероятно, частичку пепла. Весьма поучительно осознавать, сколько всего может

вместить документ, бесстрастный и с виду безобидный, как сложенная салфетка! Целый год костей, могильной жижи и беспрерывного труда. Мумифицированных трупов и песнопений священников. Год, не похожий ни на один из тех, что ему довелось прожить. А может, и тех, что еще ждут впереди? Год изнасилования, самоубийства, гибели человека от несчастного случая. Но и дружбы тоже. Вожделения. Любви…

Что до пожара, который положил конец всему, то это тема последних пяти страниц отчета, причем выяснилось, что их не так трудно написать, как он опасался. Подпустить немного лжи о том, как и когда он обнаружил, что горит церковь, добавить несколько фальшивых предположений о причинах возгорания. А после кратко рассказать о самом пожаре: как все горело до середины следующего дня, как огонь полностью уничтожил церковь и домик пономаря, сжег склепы на галереях (за исключением западных), повредил два здания на Рю-Сен-Дени и одно на Рю-де-ля-Ферроннери, однако все три могут быть отремонтированы. Не было нужды описывать — ибо какое дело до всего этого министру? — что трава на следующий день стала похожа на стеклянные черные палочки, рассыпавшиеся у

них под ногами, что крест проповедника торчал вверх, словно черная рука тонущего в пучине человека, а дым висел над кварталом два дня, и лишь потом сильный ливень его разогнал, или что доктор Гильотен признал старого настоятеля невменяемым и сам отвез его в экипаже в богадельню Сальпетриер.

О шахтерах достаточно было сообщить, что благодаря их бдительности и мужеству значительное количество имущества удалось спасти от огня, а после пожара они усердно работали на расчистке территории. Пять недель они ломали то, что все еще упрямо возвышалось среди пепла, отделяли кости — там, где это было возможно, — от перемешанной горелой массы других предметов, их напоминавших… Еще девятнадцать раз вереницы телег отправлялись на каменоломню, прежде чем он, начальник, не объявил, что все оставшееся можно использовать в качестве строительного щебня под новой булыжной мостовой, класть которую будет месье Саньяк: каменщик получил официальный заказ на перестройку всей территории и превращению ее в рынок Невинных…

Ибо именно такое решение было принято и подтверждено специальным указом. Новый

рынок на старой, некогда пожиравшей людей кладбищенской земле! Сутолока мелкой торговли, крики шумных теток там, где когда-то звучали лишь колокол настоятеля да удары лопаты пономаря. У Жанны будет свой прилавок. Она сказала, что хотела бы торговать. Цветами — засушенными цветами и травами. Хотя сначала ей предстоит выносить то, что спрятано в большой ровной выпуклости, приподнимающей над землей ее юбки. Гильотен не забыл о своем обещании быть акушером. Он часто навещает ее и рассказывает остроумные и полные нежности истории о том, как течет жизнь в квартире на Рю-Обри-Буше: об умиротворенной девушке, старом могильщике и горняке. Последний раз он поведал им — Жан-Батисту, Элоизе, Арману, Лизе Саже — о колыбельке, которую смастерил Ян Блок. Кроватка с качалкой в форме двух полумесяцев, по словам доктора, сделана изумительно: в изножье вырезана роза, а в изголовье маленькая птичка, похожая на воробья.

Что до остальных собратьев Блока, то недели две назад они ушли, хотя не совсем ясно, куда. Последний разговор Жан-Батиста с лиловоглазым шахтером состоялся в саду за церковью Гроба Господня, где рабочие разбили новый лагерь

после пожара. Легкий туман стелился в сумерках над последними летними цветами — георгинами и геранью. Жан-Батист принес горнякам жалованье. Деньги были приняты — шахтер быстро взвесил кошель на ладони, — после чего, несколько смягчив обычный официальный тон, сообщил инженеру, что завтра утром они уходят.

— В Валансьен?

— Нет, не туда.

— Но вы уходите все вместе?

— Да.

— Тогда желаю вам… я вам благодарен. Всем вам.

Кивок.

— Ты Хоорнведер?

— Ламсен.

— Значит, Ламсен.

— Моэмус.

— Моэмус?

Сэк, Тант, Осте, Слаббарт…

На следующее утро сад был уже пуст. Лишь примятая трава говорила о том, что здесь недавно стоял чей-то лагерь. Странное, тревожное чувство, что он с ними никогда больше не увидится — ни здесь, ни где-нибудь еще. Элоиза винит его в том, что он скучает без своих шахтеров, и хотя он

смеется — как можно скучать по таким людям! — доля истины в ее словах есть. Он зависел от них, очень зависел. Без присущего им особого сочетания самообладания и бунтарства, кто знает, быть может, церковь кладбища Невинных до сих пор отбрасывала бы свою тень на Рю-Сен-Дени?

А от кого он *не* зависел? На кого не взвалил часть своей ноши? Даже отчет он не смог бы написать без Элоизы, которая сидела рядом за столом в его бывшей комнате и помогала составлять страницу за страницей. Когда он не мог отыскать в памяти нужное слово, она подсказывала ему, а при необходимости писала на бумаге, чтобы он мог скопировать (грамоте Элоизу научил похотливый церковник, а Жан-Батисту ее вбили розгами братья-ораторианцы). На отчет ушло три дня — сентябрьская жара накатывала в открытое окно, над городом грохотал гром без единой капли дождя. Потом, когда дело было сделано, они принялись собирать вещи. Жан-Батисту хватило часа, чтобы сложить свой сундук. Элоизе с ее книгами и шляпами, булавками, тапочками и лентами потребовалось на час больше, хотя она управилась бы быстрее, если бы на кровати не сидела Мари, вся в слезах, и не надо было утешать ее каждые четверть часа, напоминая, что скоро

домой должна вернуться Зигетта.

Инженер не собирается встречаться с Зигеттой Моннар, во всяком случае, намеренно. Конечно, маловероятно, что та захочет его увидеть — что бы они могли сказать друг другу? — но ее ждут только к концу месяца, а в это время они с Элоизой уже будут в Белеме, а потом — в их новой квартире на Рю-дез-Экуфф.

Но что будет после? Кладбище что-то отняло у него — жизненные силы, которые понадобится восстановить, чтобы продолжить существовать дальше. Некоторое время ему надо будет стать чем-то вроде покойника, а еще лучше — вроде тех семян, что так долго, спящие и нетронутые, лежали в земле кладбища. Затем, когда Жан-Батист почувствует, что готов — и когда закончатся припрятанные ливры и золотые луидоры министра, — он мог бы навестить своего старого учителя Перроне и попросить его о каком-нибудь заказе, небольшом, но достойном, который не поставил бы его в зависимость от тех, кого он не уважает и кто не уважает его…

Он смотрит на дверь министерского кабинета. Не странно ли, что все закрытые двери непохожи друг на друга, что они бывают по-своему выразительны точно так же, как человеческие

спины? Эта, например, говорит ему, что даже если он просидит тут до скончания века, она ни за что не откроется, разве только он откроет ее сам. Инженер встает, закладывает за ухо выбившуюся прядь, под мышку одной руки сует шляпу, а под мышку второй — отчет, подходит к двери, дважды стучит, прислушивается и берется за холодную изогнутую медную ручку. Комната пуста. Разумеется, пуста. Письменный стол на месте, большой письменный стол, но на нем нет бумаг, нет крошек миндального печенья, за ним нет министра. Был ли кто-то здесь за последние недели? Месяцы? Он аккуратно кладет отчет на середину стола, закрывает дверь, выходит через приемную в коридор, поворачивает, спускается на один пролет лестницы, идет по второму коридору, опять спускается по лестнице и оказывается в начале еще одного широкого и тускло освещенного коридора с дверями по обе стороны и тут вдруг понимает, что следует по тому же маршруту, по которому шел прошлой осенью, что повторил все те же самые ошибки и точно запомнил лишь дорогу, идя по которой тогда заблудился. Вот за *этой* дверью польские господа играли в карты. Через *эту* он видел, как несут женщину, словно какой-то удивительный корабль. А здесь чер-

ная винтовая лестница с узкими ступеньками, спустившись по которой год назад, он набрел на солдат, прачек и мальчиков в синей форме. Сегодня, если не считать двух спящих на скамье собак, он один.

Он открывает дверь в оранжерею с лимонными деревьями. Деревья тоже унесены в другое место. Стоит несколько терракотовых горшков (таких больших, что в каждом может спрятаться человек), лежит скатанный войлок, вдоль одной из стен на крючках висят в ряд грабли, мотыги и лопаты… Он подходит к окну, тянет вверх влажную раму, забирается на подоконник, потом перелезает на бочку с водой и спрыгивает вниз.

На этот раз за спиной не слышно боя часов — минутная стрелка еще не дошла до двенадцати — но тропинка, появившись под ногами, как и тогда, ведет его к беседке, скамейке и каменному амуру над ней. Инженер садится. Почему бы и нет? День почти теплый, и в ближайшее время он вряд ли будет частым гостем в Версальском дворце. Тень амура падает ему на колени. Он закрывает глаза, вдыхает, ненадолго его охватывает ощущение — достаточно отчетливое, — что этот миг длится вечно. Может, он спит? Маленькие птички прилетают его разбудить. Они прыгают у

его ног, но ему нечего им дать. Они подскакивают все ближе и ближе, кажется, вот-вот взлетят к нему на руки, но неожиданно, услышав топот бегущих по тропинке тяжелых сапог, разлетаются в разные стороны. Появляется какой-то человек, приостанавливается у беседки, глядит на Жан-Батиста поверх шарфа, закрывающего нос и рот, произносит несколько заглушенных шарфом нечленораздельных слов и бежит дальше. Через пару секунд появляется другой — он тоже бежит, и тоже с закрытым лицом. Потом третий. На этом нечто вроде кожаного капюшона с острым носом, какие надевали «чумные доктора» во времена эпидемий. После четвертого Жан-Батист поднимается и бежит следом. Это как следовать за пчелами к улью. Всякий раз, когда он подбегает к тому месту, где тропинка разветвляется, и не знает, в какую сторону двигаться дальше, ему достаточно лишь подождать, когда появится очередной бегущий. Минут двадцать он играет в эту игру, продвигается, то останавливаясь, то вновь мчась, по лабиринту высоких боскетов, пока не оказывается перед воротами в кирпичной стене, а потом и на покрытом песком внутреннем дворе за ними. На другой стороне двора он видит большую каменную постройку, какую, наверное,

можно было бы использовать для собственных очень дорогих экипажей, а таковых в Версале немало.

Жан-Батист стоит спиной к кирпичной стене и наблюдает. Люди в масках исчезают в открытых двойных дверях этой постройки. Некоторые вновь появляются, выбегают из дверей и прислоняются, задыхаясь, к стене, а потом устало плетутся назад. Один, юноша в синей форме, спотыкаясь, подходит к лошадиному корыту, срывает маску, и его начинает рвать.

Ясно, что пора уходить. И столь же ясно, что уйти нельзя, пока не узнаешь, что там, внутри постройки. Он подходит ближе. То кругами, то бочком пробирается к дверям, затем вступает в сумрак за ними. В центре, где скопились суматошные тени, люди в масках тянут за веревки. Четыре группы людей, четыре толстые веревки. Концы веревок привязаны к чему-то серому, огромному и одинокому. Всякий раз, как люди тянут за веревку, серая масса колеблется и раздается звон, словно гремят сотни маленьких колокольчиков. Руководит всем человек, сидящий на перевернутом ведре. Он не замечает Жан-Батиста, пока тот не подбирается достаточно близко, чтобы наконец понять, *что* пытаются сдвинуть с ме-

ста эти люди — огромную распухшую мертвую тушу, лежащую среди пустых винных бутылок. Тусклый глаз размером с суповую тарелку, край уха с тонкими прожилками, загнутый желтый бивень… Тот, кто руководит подъемом, в ярости кричит на инженера, и от его дыхания надувается закрывающая рот ткань. Он показывает на ближайший конец болтающейся веревки. Молотит в воздухе руками: отчаяние, перешедшее в ярость. Несколько секунд Жан-Батист смотрит на него, испытывает настоящее братское сочувствие, настоящее братское отвращение. Затем отворачивается, и, согнав с лица мух, торопится назад, к той тонкой полоске над дверями, где начинается свет.

От автора

Этот роман — плод воображения, произведение, сочетающее в себе реальность и выдумку, хотя церковь и кладбище Невинных действительно существовали, и во многом они были такими, как описано в этой истории. Сегодня, конечно, ничто не напоминает о кладбище, кроме маленького сквера, окруженного ресторанами и закусочными с фастфудом рядом с подземным торговым комплексом «Ле-Аль». Старый итальянский фонтан в девятнадцатом веке был перенесен в центр сквера, где он служит теперь местом встреч или местом, где можно отдохнуть после магазинов. Кости с кладбища Невинных вы увидите в парижских катакомбах, где позже к ним добавились кости с других кладбищ: бесчисленные человеческие останки, сложенные на протяжении тысяч метров в сырых туннелях глубоко внизу, под шумными городскими улицами. Говорят, в старой каменоломне также упокоились и жертвы революционного террора, начавшегося через несколько лет после уничтожения кладбища. Над входом в катакомбы вырезана надпись: «Остано-

вись! Перед тобой царство мертвых».

Рынок, возникший на месте кладбища, рынок Невинных, был закрыт в 1858 году.